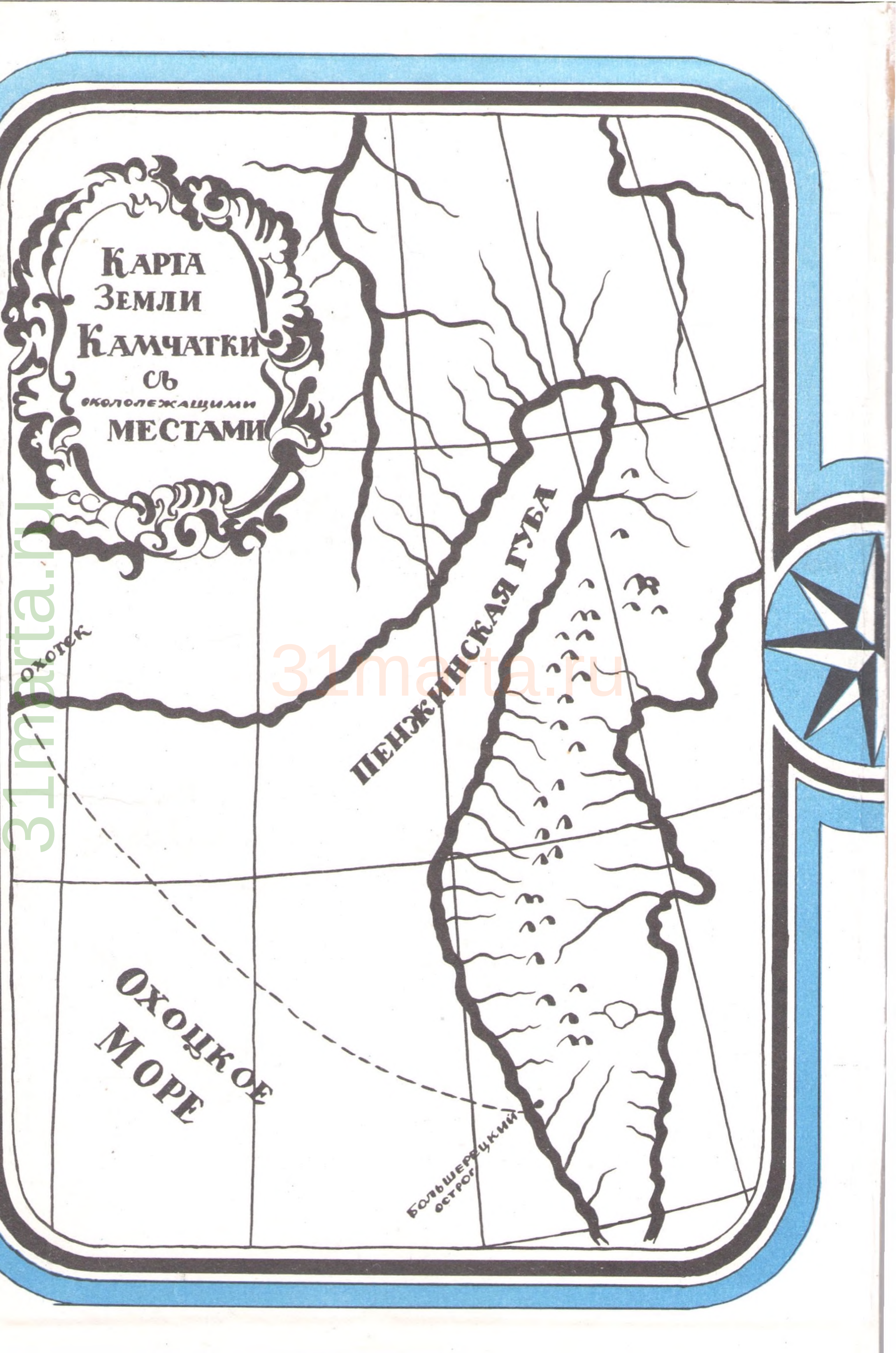

Илья Миксон
Человек, который...



Карта
Земли
Камчатки
съ
окололежащими
местами
Охотск
Пенжинская губа
Охоцкое
Море
Большерецкий
острог


ПЕНЖИНСКАЯ ГУБА
о. Карагинский
м. Крашенинникова
Сопка Шивелуч
Усть-Камчатск
Командорские острова
Ключевская сопка
Кругогорово
Толбачик
о. Беринга
Верхне Камчатск
Кроноцкая сопка
о Корякская сопка
о Авачинская сопка
Усть-Большерецк
Петропавловск
Берингово море
м. Лопатка

Камчатка — страна печальная, гористая, влажная. Ветры почти беспрерывно обвевают ее. Снега не тают на высоких горах. Снега выпадает на три сажени глубины — и лежат на ней почти 8 месяцев. Ветры и морозы убивают снега; весеннее солнце отражается на их гладкой поверхности, причиняет несносную боль глазам. Настает лето. Камчатка, от наводнения освобожденная, являет скоро великую силу растительности — но в начале августа уже показывает иней и начинаются морозы.

А. С. ПУШКИН

Из конспекта книги «Описание земли Камчатки». 20 января 1837 г.

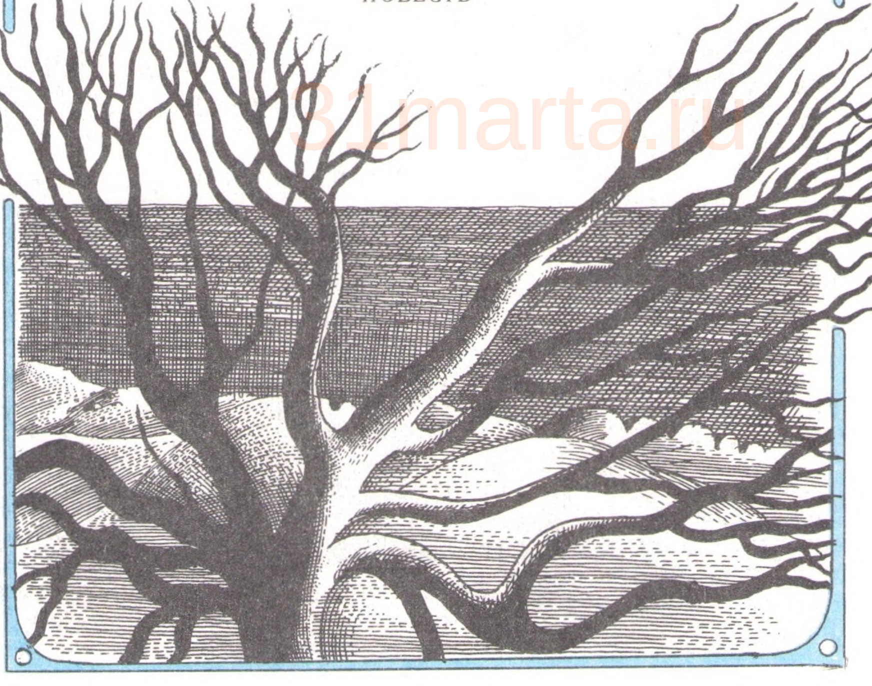


ИЛЬЯ МИКСОН



ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ...

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПОВЕСТЬ



Ленинград
«Детская литература»
Ленинградское отделение
1989

Р 2
М 59

Научный рецензент —
доктор исторических наук
Ч. М. ТАКСАМИ

Рисунки и оформление
О. ЯХНИНА

Миксон И. Л.
М 59 Человек, который...: Повесть/Рис. и оформл. О. Яхнина. — Л.: Дет. лит., 1989. — 208 с., ил.
ISBN 5—08—000166—6

Историческая повесть об исследователе Камчатки С. Крашенинникове.

М $\frac{4803010102—108}{М101(03)—89}$ 242—89 Р 2

ISBN 5—08—000166—6

ГЛАВА ПЕРВАЯ

ФОРТУНА



Октября 4 дня 1737 года в два часа пополудни от пристани Охотского порта отчалил корабль.

У казачьей караульной сторожки ударила сигнальная пушка. Из бронзового жерла с огнем и дымом вылетел многослойный пыж. Вверху обугленный ком распался на черные ошметки и осыпался в реку. Гром выстрела прокатился над избами и амбарами, что стояли вразброс в плоской низине, тарарахнулся о скальную твердь островерхих сопок за дальним извивом реки и размножился эхом. И тотчас, будто вспугнутые пушечным грохотом птицы, взлетели над толпой провожающих шапки, колпаки, малахаи. Офицеры отдали честь, поднеся к треугольным шляпам два сомкнутых пальца.

— Ура! Счастливого плавания! Доброй вам поветери! Храни вас господь! Привет Камчатке! — всяк по-своему напутствовал с берега.

С борта отплывающего судна кричали свое, прощально махали, стрельнули из трех ружей.

Столь скромный салют объяснялся не только бережением пороха, но и обыкновенностью самого отхода корабля. Да и чрезмерно именовать кораблем небольшое перевозочное судно, одномачтовый бот «Фортуна». Иное подобное суденышко не удостоилось бы и таких проводов. «Фортуна» же была своего рода знаменитостью. Десять лет назад здесь, в Охотске, сработали ее корабельных дел мастера-поморы. Переселили их сюда из Архангельска по указу царя Петра строить флот для нужд Первой Камчатской экспедиции. Бот «Фортуна» и стал первым судном, сошедшим со стапеля новой Охотской верфи, первым, хотя и вспомогательным, кораблем экспедиции Беринга. Теперь он же, капитан-командор Витус Беринг, возглавлял Вторую Камчатскую экспедицию, а «Фортуна» по-прежнему возила грузы и людей из самого восточного порта России на западное побережье Камчатки, с материка на полуостров.

Сейчас капитан-командор был на причале в окружении своих помощников. Все в черных треуголках и черных суконных плащах-накидках. Запахнутый в епанчу, Беринг выглядел еще более тучным и грузным. В стороне, непримиримо обособленно от Беринга, провожал судно командир Охотского порта Скорняков-Писарев с многочисленной свитою.

«Фортуна» отрывалась от бревенчатого причала медленно, словно противясь разлуке с родным портом, где впервые ощутила быструю прохладу воды и нетерпеливую дрожь парусов. Тяжело нагруженную, ее влекло сперва лишь течение, но заскрипели деревянные блоки, поползли вверх по мачте реи с парусиной, вспузырились, наполнились ветром паруса, и вот уже «Фортуна» набрала ход, резво побежала по реке Охоте к морю.

Толпа на берегу поредела. Прежде других удалился Скорняков-Писарев. Беринг отпустил помощников, сам же не торопился уходить. Вскоре на опустевшей пристани остались только сбившиеся кучкой жены и дети моряков да величественный и сиротливый в своем одиночестве капитан-командор. Молчаливый, задумчивый, смотрел он вослед «Фортуне», пока серые паруса не слились с серым небом.

Прохладный ветер выдул с открытой палубы всех лишних, не занятых делом. Пассажиры спустились по лесенке в кормовом люке вниз, на среднюю палубу, протиснулись по одному между ящиками, бочками, тюками к нарам в жилом отсеке, где тоже полно было всяческой клади.

Наверху хлопотали матросы. У фальшборта стоял горбоносый молодой человек выше среднего роста, в бараньем полушубке и якутском лисьем малахае, в поношенных, но еще крепких яловых сапогах. Он неотрывно глядел на отдаляющийся берег и тучную, беззащитную, казалось, фигуру капитан-командора. Затем жадно и внимательно наблюдал за работой моряков, пристально вглядывался в низкие речные берега.

Молодого человека звали Степан Крашенинников, был он студентом императорской Академии наук. Он впервые отправился в море, все было внове и чрезвычайно интересно. Настроение его было приподнятым.

Штурман Мекешев время от времени посматривал на одержимого пассажира, думал про себя: «Мне бы твою вольность, господин студент, тотчас завалился бы спать».

До выхода в открытое море об отдыхе и мечтать нельзя. Из реки Охоты выбраться можно лишь при большой воде, в прилив, да и то с немалым трудом и осторожностью, иначе сядешь днищем на песчаный грунт, или

опрокинет и расшибет в щепу грозная бара. Устье реки перегорожено наносным валом из песка и гальки, могучий прибой, ба́ра, беснуется на отмели, грохочет убийственными волнами. Командиру судна и кормщику при всей их опытности и доскональном знании местных особенностей плавания надо быть начеку. Штурман третий год водил «Фортуну» из Охотска на Камчатку, и судьба покамест миловала его.

«Фортуна» шла под двумя прямыми парусами, Мекешев придерживал судно, по интуиции и опыту определил скорость, чтоб подойти к устью в момент наибольшего подъема воды, ни раньше, ни позже. Всякое промедление и поспешность в морском деле чреваты несчастьем, а то и гибелью судна и людей. Строгое и неукоснительное правило имеет особую важность и силу закона в здешних широтах, где и в самое жаркое время года студеная купель Пенжинского моря [1] неотвратимо смертельна.

Штурман пребывал не в лучшем настроении. Вернувшись с Камчатки, сразу же получил распоряжение опять идти в рейс. Пришлось доказывать, убеждать, что сие невозможно: слава богу, до Охотска добрались, всю дорогу освобождали трюм от забортной воды, не чаяли в живых остаться. Износилась «Фортуна», вконец состарилась. Командир порта и слушать не стал, накричал хмельным голосом: «Перечить вздумал?! У меня нет других кораблей, а навигация на исходе!» Спасибо капитан-командору, самолично произвел осмотр «Фортуны», велел ремонт сделать. Вытащили прохудившийся бот на сушу, подлатали наскоро, подшпаклевали мхом, обмазали, не скупясь, горячей смолой. И — в путь! Мекешев не то что с семьей не побыл, но и не отоспался толком. Вся стоянка в работе, хлопотах, заботах, увещеваниях и ругани.

Загрузили судно — больше некуда. В трюме до по́дволока и на верхней палубе гора. Кроме съестных припасов, оружие, порох, инструменты, прочая казенная кладь. Товары государевым людям, подарочные вещи для поощрения князьков-тойонов [2], имущество экспедиции. Да еще купеческое добро, личный багаж пассажиров. Самим людям и головы преклонить негде, по два на одно место...

Перед устьем берега сузились, справа и слева виднелись юрты тунгузов и рыбаков-россиян. Штурман, не оборачиваясь, негромко повелел:

— Лево не ходить.

Рыжебородый кормщик то ли не расслышал, то ли отвлекся, тоскливо оглянувшись на Охотск: жилые и служебные строения давно скрылись, высматривался лишь крест и острый конус церковного шатра.

Не услышав повтор команды, Мекешев круто развернулся назад, зыркнул из-под косых нависающих век.

— Лево не ходить!

— Лево не ходить! — поспешно отрапортовал кормщик и навалился на рукоятку прави́ла. Без резкости, чтоб не занесло в другую сторону.

Нос «Фортуны» с длинным заостренным бушпритом плавно развернулся.

— Так держать!

— Так держать! — эхом повторил кормщик и целиком отдался своему строгому делу.

---

[1] Охотское море. Здесь и далее примечания автора.

[2] Россияне называли на Камчатке старших племен и селений князьками или, на якутский манер, тойонами.

«Фортуна» шла по невидимой линии главного фарватера. Впереди нарастал прибойный грохот бары. Уже наблюдалась белая изменчивая полоса над низким горизонтом, сдавленным с боков охряного цвета берегами. Но чем ближе подходили к границе устья, тем делалось тише и белые лохмы бары теряли высоту. Значит, прилив набрал силу.

— Всем по местам! — раскатился штурманский бас.

Распустив парусиновые крылья, прямые на мачте, косой топсель за ней, к корме, и два треугольных кливера от бушприта до верхушки мачты, «Фортуна» вынеслась на морское раздолье.

Море было спокойно, ровно дул благоприятный курсу ветер. Туго пузырились паруса, над верхней реей трепетал ласточкиными хвостами капитанский вымпел с косицами. Державный, андреевский стяг, белый, наискось перекрещенный голубыми полосами, поднят на кормовом флагштоке. Бот резво бежал на юго-восток.

Редкие облака допускали просияние солнца, и вода была густой синевы с фиолетовым отливом, как оружейное масло. От дубового форштевня на штилевой глади моря расходились белоснежные усы. Туго закрученные у носа, они расширялись, распушивались за кормой, исчезали в отдалении.

Верхняя палуба заполнилась людьми. Вышли вдохнуть свежий воздух, полюбоваться морской картиной. Не бывавшие прежде в плавании наслушались в Охотске ужасных историй, приготовились терпеть муки и страхи, но стихия явила щедрое гостеприимство. Как тут не радоваться!

В тесной поварке в носовом отсеке вскипятили чай, поужинали с полным удовольствием. С заходом солнца опять легли спать, намыкались, натрудились перед выходом в море. На опустевшей палубе бессменно, словно караульный солдат, находился только студент Крашенинников. Рядом с ним стоял у борта и его помощник, пищик-копиист Аргунов.

— А что, Осип, — сказал Крашенинников, — не «Святой Гавриил», не какое иное судно, а «Фортуна» везет нас к Камчатской землице. Латинское слово «фортуна» означает — «судьба». Судьба, само провидение несет нас к прекрасному и неизведанному, подобно тому, как несла Колумба, первооткрывателя Америки. Нет, в отличие от португальца, мы точно знаем, куда плывем!

Аргунов согласно кивнул, однако перекрестился и невнятно пробормотал: «Не оставь, господи, милостию своею».

— Какая от того польза, когда знают, что делается в Америке и Индии, а о своем отечестве имеют самое малое понятие. Даже о том месте, где живут, почти ничего не ведают. Так ведь, Осип?

— Истинно так, господин студент, — кротко ответил Аргунов.

— Не величай меня полным титулом, не по службе общаемся, — дружески сказал Крашенинников, оборотившись к Аргунову.

Пищика знобило. Худая одежонка — заношенный зипун, шапчонка-выворотка, разбитые катанки — плохо оберегала от холода. Из верховья моря, Пенжинской губы, несло зимним морозцем. Там, в северных широтах, у корякских берегов уже настаивались льды.

— Ступай вниз, погрейся, — велел Крашенинников.

Аргунов благодарно кивнул, но не спешил уходить.

— Ступай-ступай. Я еще постою, звезды смотреть буду.

Было новолуние, узкая девичья ладошка месяца целилась ловить алмазы в черном небе.

В недоступной выси просверкивали бессчетные самоцветы, где ярче, где слабее, каждый сам по себе или вкупе с другими, в широком потоке Млечного Пути.

Звезды притягивали, околдовывали Степана Крашенинникова с малолетства. Тринадцатилетним отдали его в Заиконоспасское монастырское училище, Славяно-греко-латинскую академию, или, как проще и короче называли ее, Спасскую школу, навсегда оторвали от родительского дома. Для семьи это было великим благом и гордой надеждой: хоть один из них станет ученым человеком, выйдет в люди. Спасибо царю Петру Алексеевичу за его попечение о науках и просвещении России, за милость к отставным солдатам и их сыновьям!

Степка был слишком мал, чтоб в полную меру оценить выпавшее на его долю счастье, тосковал по отчему дому. Тогда-то и пристрастился глядеть по ночам в небо через узкое оконце монашеской кельи. Звезды успокаивали, манили, завораживали. Особо будил фантазию Млечный Путь. То чудилось, будто небесная река течет, парит и дымится и под толщей синевы проблескивают на дне затонувшие звездочки. То казалось, не река это, а людское шествие, грандиозное переселение небожителей. Идут они по глубокому распадку меж темными горами, каждый со своим огнем. Кто с факелом, кто со свечой или плошкой, и клубится над ними белесо-голубая пыль. Движение это вечно, безостановочно, в дневное время скрытое от простых смертных туманами, облаками, слепящим солнцем.

Однажды ночью Степка по обыкновению сидел у окна, поджав под себя босые ноги. Вдруг он увидел падающую звезду. Множество их сгорает, не долетев до земли, обращается в небесную пыль. Но эта!..

Звезда упала в монастырский двор. Куда точно — не определить из окна. Степка выбежал на волю.

Вокруг лежала глухая тьма. Но звезда была где-то здесь, должна быть здесь. Где же?

Холодная земля обжигала голые ступни, сердце гулко стучало. Степка кружил по двору, пока не вспомнил о колодце. Может, туда угодила? Колодец глубокий-преглубокий: уронишь нечаянно камешек, всплеска не услыхать. Трепеща от страха и стыни, он подошел к срубу, лег грудью на осклизлую доску и заглянул в бездну.

Далеко-далеко внизу, на черно-маслянистом блюдце тихо посверкивала звездочка, небесный уголек. Горит! Не потухла, не испепелилась.

Степка потрясенно ахнул, самозабвенное чувство первооткрывательства переполнило все его существо. С трудом дождался он утра, кинулся к учителю-монаху, с восторгом рассказал о своем открытии. «Ты где этакое вычитал?» — подозрительно спросил монах. «Не читал, сам видел!» — горячо подтвердил свой рассказ, свою исповедь о необыкновенном счастье Степка. Монах осенил его и себя крестом: «Померещилось». — «Нет-нет! Она там, в колодце. Горит! Светит!» Тогда монах схватил его ухо и стал больно, до слез, мять и вертеть, приговаривая: «Не подглядывай за господом нашим, не вникай в тайны всевышнего. И других не смущай ересью».

Не сумел Степка удержать в себе опасную тайну, поделился с однокашником Лешей Горлановым, и они вместе подкрались в сумерки к монастыр-

скому колодцу. Там, на месте дерзкого преступления их и захватил учитель. Потащил в экзекуторскую и собственноручно высек. Ведерки с замоченными березовыми прутьями всегда стояли наготове.

«Не подглядывайте за господом нашим, не вникайте в тайные тайны!» А Степке сказал еще отдельно: «Токмо примерного доселе послушания и стараний твоих в учении ради, не смертным грехом полагаю твою дерзость. В противном разе изгнал бы тебя из академии. Ведаешь, как сие свершается...»

Мальчики знали как. Ослушников и святотатцев постарше отдавали в солдаты, кто возрастом не вышел, сполна получал батогов. Полуживых, а то и бездыханных выносили за монастырские ворота или увозили, накрытых рогожей, на телегах и дровнях.

Они больше не приближались к запретному колодцу, но для Степана чудесное видение отраженной звезды осталось неизгладимым. Та звезда зажгла в нем огонь первооткрывательской страсти. И он подумал сейчас: «Быть может, Камчатка и есть моя заветная Звезда?»

МОРСКИЕ ТРЕВОГИ



Крашенинников стоял на палубе «Фортуны», любовался звездами, наслаждался соленым воздухом. Какое блаженство плыть под парусами! Не сравнить с изнурительной полуторамесячной дорогой от Якутска до моря, с бесконечными мытарствами в порту. Наконец-то каждый час, минута каждая близит встречу с Камчаткой.

Почему-то он был уверен: вся его жизнь, сегодняшняя и грядущая, неразрывно и счастливо связана с этой землей.

Единственно что омрачало — разлука с друзьями. Верным Лешей Горлановым, рассудительным и добрым Ильей Яхонтовым, даже со сникшим душевно в сибирских странствиях Васей Третьяковым. Ну, ничего, через полгодика весь научный отряд прибудет туда же, на Камчатку. Столь громадный край научно изучить и описать одному человеку никак не по силам...

— Угоститься не желаете? — спросил за спиной предупредительный голос.

Крашенинников обернулся. Перед ним стоял громадный мужик в тяжелой волчьей дохе, посланец богатого иркутского купца Игнат Онуфриев. Или просто Игнашка — в Охотске он с одинаковой готовностью отзывался на «Игнат» и «Игнашка». Держал себя скромно, избегал скандальные и буйные сборища картежников; портовые службы и те, казалось, стороной обходил. А поди ж ты, все уладил, утряс, поместился со всеми товарами на последний рейс в этом году.

«Фортуна» шла за рыбными припасами, заготовленными для людей экспедиции, за древесной смолой, нужной охотской верфи и кораблям, что поплывут к берегам Америки.

Из всех купеческих, кто томился в Охотске, один лишь Онуфриев и проник на «Фортуну». При этом ущемлен был и Крашенинников: личные вещи его сложили на верхней палубе. В трюмном укрытии, загодя и таинственным образом, оказалась торговая кладь иркутянина.

Игнат протягивал туго набитый кисет:

— Угощайтесь, милости просим.

Крашенинников отрицательно покачал головой:

— Спасибо.

— Не жалуете? А я так заместо печки дымлю. — И сам же рассмеялся. Смех у него был коротким, точно начинался и заканчивался по чьему-то велению. Где-то Степан уже слышал этот особенный смех. Не в Охотске. Еще прежде где-то, а где — не вспоминалось.

Игнат запустил руку во внутренний карман, достал ганзу, азиатскую медную трубочку с деревянным чубуком, плотно утрамбовал щепотку табаку, высек кресалом искру, жадно вдохнул дым и выпустил его через редкие зубы и треугольные ноздри.

— Признаю токмо черкасский лист. От китайского в горле першит и ценою дороже. Китайский, он для торга выгоден. Особливо, сказывают, на Камчатке. Там сей шар выше злата-серебра.

О драгоценных металлах на полуострове ничего не было известно. Рудознатцы Первой экспедиции не отыскали там ничего примечательного. Горючего камня угля и того не нашли.

— Не знал о золоте камчатском...

— Оно там и не водится, золотишко. Зато мягкой рухляди — бери, не хочу! Морской бобер, котик, соболь, лисы, прочего зверья, морского и лесного, ценный мех. И все почти задаром! В Иркутске, к примеру, за бобра самородок дадут. Редкостный мех, красоты необычайной, и сносу ему нет. А окромя камчатских берегов больше, говорят, нигде не водится, потому и цена особая. На Камчатке же шкурку за топор без топорища, за усольский нож сменять можно. У них, у камчадалов [1], заместо денег мягкая рухлядь в ходу. Одна лиса — один рупь! — Игнат засмеялся.

Где же Степан слышал этот странный смех?

— По отчеству вас как?

— Это нам пока не обязательно, господин студент. Вот ужо развернусь на Камчатке, ворочусь в Иркутск, заведу собственное дело, тогда и батюшку поминать велю. Пока токмо бороду приобрел. Оттого и не признали меня. В позапрошлом году наведывались в Верхоленск? И я в ту пору был там. Хозяин мой, Лямин, на торг посылал. Теперь Камчатку доверил. Муку везу, железные и протчие вещицы, табак.

Крашенинников по своему опыту знал: в Сибири, и чем дальше от мест, где в обращении деньги, тем выше цена табака. Проводники, лодочники, возчики в первую очередь просили за труды «шар». Так они называли табак, привозимый из Китая.

Теперь Онуфриев вспомнился. В Верхоленске, куда студента направили профессора изучать жизнь и быт «братских и протчих ясашных мужиков», местную флору и фауну, неведомых науке птиц и зверей, из которых сам же Крашенинников изготовлял чучела, приходилось расплачиваться табаком. Его и выдавали вместо казенных денег. Платил Степан честно, по совести.

---

[1] Так собирательно называли всех коренных жителей Камчатки, а потом и русских, казаков и крестьян, переселившихся на полуостров в XVIII веке.

Тогда-то и сказал ему приезжий купеческий человек: «Зазря, господин студент, добром раскидываетесь. На вашем месте ой сколько и для себя выиграть можно!» Да, да, то и был этот самый Игнат Онуфриев. Без усов, без бороды, без роскошной волчьей дохи.

— Наказов мне хозяин цельный короб насыпал, токмо и у нас не тыква на плечах! — Он перехватил взгляд студента и откинул меховую полу. — На ето Лямин не ссудил денег, надоело, однако, в зипунишке мерзнуть!

В снастях посвистывал ветер, рея верхнего паруса елозила по упору и мачте.

— Подтянуть бром-марсель! — донесся с кормы штурманский бас.

Игнат заговорщически понизил голос:

— Не угадаешь, где лучше, сохраннее. Наверху мокрядь, внизу сушь, но ежели течь, не приведи господь, али вообче судно покидать!.. Я загодя договорился. Под хороший процент. Ежели чего, мое чтоб добро в первую голову спасали. И вам такое советую, господин студент.

«Такой всех локтями отобьет, через мертвого переступит», — неприязненно подумал Крашенинников и опять вспомнил погрузку в Охотске.

— Пекитесь уж о своем, о себе.

Игнат мгновенно уловил перемену в отношении. Униженно залепетал:

— Для вашего же блага. Изволите чего, всегда рады... Не так, извиняюсь, истолковали... Мы ведь люди подневольные, хозяйские...

«И впрямь, — смягчился Крашенинников, — такие только что называются приказчиками. Не они приказывают, им велят. Случись пропажа или порча хозяйского добра, батогами не отделаться».

— Пора и голову преклонить, — сдержанно сказал он и, не прощаясь, ушел.

— Приятных сновидений, господин студент! — пожелал вдогонку Игнат.

В низком межпалубном пространстве воздух был тяжелым, смрадным от потных овчин и онучей, солонины и прогоркшего масла. Крашенинников опять поднялся на открытую палубу и устроился подле своих вещей.

Казенное имущество лежало в трюме. В Охотске пришлось выдержать неприятный разговор со штурманом. Мекешев поначалу велел оставить весь багаж на верхней палубе: «В трюма напихано, аж бортовые доски трещат!» Крашенинников, однако, настоял на своем, документ от профессоров показал. А в том документе ссылка на высочайшее императорское повеление оказывать всемерную помощь научной свите.

Штурман уступил на шаг: «Государево — вниз, а уж собственные вещички, господин студент, на верхнюю палубу. Все!»

У Мекешева без студента хлопот сверх всякой меры было, ни сил, ни злости не осталось.

Около полуночи вспыхнул переполох. Шум, топот; высокий, звучный голос кричал:

— Вода! Тонем!

Из трюма выскакивали перепуганные люди, ошалело озирались. Те, что ночевали наверху, и вовсе ничего не могли понять. «Фортуна» по-прежнему скользила под всеми парусами по штилевому сафьяновому



морю с зыбкой лунной дорожкой; за низким бортом журчала вода, лениво полоскались на ветру флаги, но звонкий, срывающийся от страха голос не замолкал:

— То-онем! Вода-а!

— Ти-иха! — гаркнул морской солдат Никифор Саламатов.

Его сторонились, побаивались. Мрачный, насупленный постоянно, резкий.

— Тиха!

И стало тихо, лишь пофыркивали ослабшие косоугольные паруса в носовой части.

Путаясь в долгополой волчьей дохе, выбрался из люка Онуфриев:

— Братцы, вода в трюме! Вовсю хлещет!

— Тонем! — опять взвился, полоснул по сердцу утихший было голос. — Спасайся кто мож...

Крепкий удар свалил мужичка на палубу.

— Не паникуй!

В темноте и неразберихе никто не заметил, когда появился штурман.

— Слушать всем! Не тонем, не гибнем. Течь всего-навсего. Плотники, конопатчики, за дело! Остальным — на откачку!

Толпа рванулась к кормовому люку.

— Да не скопом, не все одним разом!

Люди безропотно подчинились.

Налегке, с грузом небольшим, щадящим усталые боковые доски, нашитые по северному, беломорскому типу к цельному днищу ивовыми прутьями, шестидесятифутовая [1] посудина, быть может, и выдержала бы еще один переход чрез Пенжинское море. Но груз, что навалили в Охотске, был «Фортуне» уже не по силам. В нескольких местах разошлись швы, вымыло моховую конопатку, через образовавшиеся щели сочилась ледяная забортная вода.

Два деревянных насоса работали безостановочно, люди на рычагах сменяли друг друга через каждые сто качков. Остальные черпаками, кружками, мисками — чем могли — наполняли медные котлы, выносили наверх, опорожняли за борт.

Мастеровые, скорчившись в низком подпалубном промежутке, с красными от холода руками конопатили днище. Глухой стук дубовых молотков, всхлипы и скрип насосов, тяжелое, загнанное дыхание людей — все сливалось в один тревожный, угрожающий шум.

Крашенинников с Аргуновым работали в одной паре. Портянки напитались влагой, облепили ледяными компрессами ноги. А тело дымилось, и сердце норовило выскочить через разверстый, хекающий рот.

— Не... не могу боле... — прохрипел Аргунов.

— Можешь, Осип. Моги! — подбодрил и потребовал Крашенинников. Он и сам едва держался на ногах, мышцы сводило.

Кое-как дотянули до смены. Короткий отдых, за ним опять на рычаги.

Вверх — вниз, вверх — вниз...

Пока надрывались в работе, в мозгу билась одна мысль, одно желание: устоять, выдержать. Освободились от дела, сразу накатилась

---

[1] Восемнадцать метров. 1 фут равен 0,3 метра.

муторная горечь, закружилась голова. Студент и пищик свалились от морской болезни.

Невидная в сером предрассветье зыбь, плавная, размеренная, перекладывала «Фортуну» с борта на борт. Сквозь шпигаты, прорези в опоясывающем дубовом брусе, шипя и пенясь, вливалась вода. Палуба накренялась, вода соскальзывала через шпигаты противоположного борта обратно в море. И беспомощно катались туда-сюда на дощатых нарах несчастные страдальцы.

Штурман Мекешев еще раз спустился в трюм. Чавкали, всхлипывали насосы. Десятки рук зачерпывали мутную, в щепе и мшаных патлинах воду, наполняли котлы. Дубовые молотки, чудилось, вколачивали гвозди в крышку гроба. Под ногами хлюпала вода; люди уже выбились из сил, но уровень воды не снижался.

Расталкивая богатырскими плечами матросов и пассажиров, штурман вернулся на кормовую надстройку.

Солнце еще не взошло, румянило небо из-за горизонта, спереди, по курсу «Фортуны». Позади, на северо-западе было по-ночному темно, непроглядно. Разворачиваться на обратный курс — не спасение. С такой течью до Охотска не доплыть...

— Облегчить судно! Все лишнее — за борт!

С груды вещей на палубе стянули брезент и остановились в нерешительности.

— Всё за борт!

Началась неразбериха: одни ретиво исполняли команду, другие выискивали, тащили из общей кучи, а то и вырывали из чужих рук свое добро, прятали его в канатных бухтах, под мачтой, у стенки кормовой надстройки.

Мекешев выхватил пистоль:

— Уложу! Каждого, кто!.. За борт! Всё! Живо!

Стрелять не понадобилось.

Летели, плюхались, как неразорвавшиеся бомбы, пузатые бочки с солониной, пеньковые тюки, сумы с провиантом, ящики с драгоценными скобяными изделиями, сработанными на новом железном заводе в Якутске, уходили в стылую воду мешки, пассажирские пожитки.

Никифор Саламатов, отделавшись от сундука с инструментом, наклонился над очередной кладью, а когда с натугой выпрямился, увидел: двое, ухватившись за ремни, раскачивают пухлый чемодан из телячьей кожи. Солдат хотел крикнуть, остановить, спасти вещи студента, но не успел. Описав крутую дугу над фальшбортом, чемодан бухнулся в море.

— Верп за борт!

Следом за чемоданом студента ушел на дно и запасной якорь, дубовый крест с подвязкой из камней.

Почти три с половиной ласта [1] поглотило Пенжинское море и в благодарность за принесенную жертву пощадило «Фортуну».

Штурман опять подумал было поворотить назад, но отказался от такого решения.

— Так держать! — Зыркнул на кормщика, добавил для всех, кто мог услышать: — Не раки, задом не пятимся.

Нарочитая, к а п и т а н с к а я удаль могла ввести в заблуждение кого угодно, только не Федора.

---

[1] Семь тонн. 1 ласт равен 2 тоннам.

«Как же, не раки... Оно бы надо безоглядно назад удирать, да стихия не позволяет. Ветер сник, парусы трепыхают, обвисли, а треклятая зыбь в сторону Камчатки несет. Оттого и — «Так держать». Ничего, бог даст, дойдем. Не впервой! Кабы ночью крепко задуло, не дожила бы «Фортуна» до зари, со всеми потрохами рыбам на корм ушла...»

Мекешев еще постоял на корме и, наказав «глядеть в оба», сошел по лесенке на палубу, а оттуда — в трюм, в единственную на судне каюту, двухместную кормщицкую.

Внизу по-прежнему стенали насосы, стучали молотки. Из люка выносили и выносили наполненные до краев медные котлы.

Штурман опять поднялся на корму. Хмуро охватил взглядом море. От бортов до самого горизонта пологие, без гребней волны, мертвая зыбь без конца и края. Будто от одной стороны света до другой исполосовали Пенжинское море бороздами, размежевали плугом.

Федор боковым зрением поглядел на Мекешева. Совсем очей не видно: сверху прикрыты и снизу набрякло. А щетина, ровно неделю не брился. И плечи богатырские обвисли, умаялся...

— Пойду сосну часок, — будто услышав мысли кормщика, сказал Мекешев. — Один постоишь.

Кормщик согласно кивнул.

— В случае чего, сам знаешь, как поступить.

В полдень отбили рынду, пришел черед отдыхать и Федору. Обычно, сдав вахту, он с удовольствием вступал в долгие беседы, отводил компанейскую душу после четырех часов безмолвной работы. Сейчас не до говорильни...

На подсыхающем, курящемся брезенте, раскинутом на палубе, спали вповалку несколько человек. Федор постоял, подумал и улегся тут же.

«ЗЕМЛЯ!»



ертвая зыбь жестоко мотала «Фортуну» восемь суток. Восемь ночей и дней вычерпывали и откачивали воду. На рассвете 13 октября впередсмотрящий на мачте закричал срывающимся от счастья голосом:

— Земля! Земля-я!

Все, даже больные, высыпали на верхнюю палубу. Крестились, посылали хвалу небесным спасителям, всем — от Варвары-великомученицы до Николы-угодника, покровителя мореплавателей. Радовались до слез. Но снизу, с палубы еще не скоро удалось своими глазами удостовериться, что земля близка, увидеть гористую страну над горизонтом. Над, ибо непроясненные, зыбкие очертания вершин начинались не с линии окоема, а маячили как бы сами по себе, оторванные от земных оснований.

Горы медленно, но неуклонно приближались, вздымались все выше, обретали цвет и объем. К полуденному часу плоские лиловые силуэты уже смотрелись как серебряные рифленые шишаки на синем оплечье.

— Ледяные горы, — пояснил кормщик. — Большая Ипелька и Опальная. На них и в летнюю пору снег лежит, не тает. Вот кабы с востоку плыть, по Восточному окияну [1], по другую сторону Камчатки, так и вовсе чудеса чудесные. Горящие горы есть.

— Это как понимать? — бодро спросил Игнат Онуфриев. Поклажа его, купеческая и собственная, осталась в полной сохранности, земля — рукой подать.

Федор вознаграждал себя за долгое молчание.

— Так и понимать. Дым над теми горами беспрерывно курится, а то, ровно из преисподнии, высокий огонь извергается.

— Адское пламя! — усилил впечатление матрос со шрамом на лице.

Солдат Никифор Саламатов, человек бывалый, служил и на Белом море, и на Балтике, но в здешних краях новичок, как и большинство из слушавших кормщика, усомнился:

— Небылицы, матроз, плетешь.

— Вот те крест! Я еще безусым ходил, когда с Берингом Иван Иванычем... — Федор улыбнулся в рыжую бороду. — Промеж себя мы его Витязем прозывали. Имя его не наше, датчанское, схожее — Витус.

— Вконец запутал! — оборвал Никифор. — Суть говори.

Кормщик не последний человек на корабле, гордое звание. Федор понимал свое достоинство и оскорбился от грубости солдата.

— Нету охоты слушать, так и мне без нужды. Суть так суть. Горящая гора, она и есть горящая. Конец разговору!

— Осерчала дева красная, — едко сказал Никифор, но против него ополчились.

— Не цепляйся, солдат! Все тебе не так! Не любо — не слушай! Сказывай дальше, Федор.

Кормщик дал себя поупрашивать и опять пустился по извилистому фарватеру воспоминаний.

— В обчем, ходил я на «Святом Гаврииле» в первый камчатский поход. Плыли близ Камчатки, весь Чукотский нос обогнули, забрались в Студеное море, за шестьдесят седьмой градус норда...

Крашенинников стоял, бессильно навалившись на планшир, лечился свежим воздухом от морской болезни. Рассказ кормщика был ему интересен, хотя знал он и то, что не мог еще знать бывший матрос «Св. Гавриила». В Якутском архиве Миллер обнаружил поразительный документ, «Отписку» казака Семена Дежнева. Оказывается, он еще в 1648 году морем прошел из Колыми до устья Анадыря, обошел с товарищами на кочах «непроходимый Чюкотский нос»! Доложить об этом удивительном открытии Дежнев смог лишь пять лет спустя, но еще восемьдесят три года весть о великом подвиге томилась в архивной пыли якутской приказной избы...

«Сколько их, открытий и прозрений, иные из которых ценою жизни достигнуты, еще находятся в безвестности, а то и утрачены навсегда, — подумалось Крашенинникову. — И все же, и все же — слова улетают, написанное остается. Verba volant, scripta manet».

Меж тем кормщик «Фортуны» продолжал свой рассказ:

— Никакой Америки не увидели, зато отыскали иные земли и острова. Срисовали их на карты, окрестили, как и полагается. Беринг, он имена

---

[1] Тихий океан.

святых или кораблей предпочитает или нашенские, простые. Схоронили, к примеру, на безвестном острове матроса Шумагина, так остров и поименовали — Шумагин.

— Вконец заврался, — опять не сдержался Никифор Саламатов. — Где это слыхано, чтоб солдату вечный памятник ставить!

Федор и сам понимал исключительность такого события, не обиделся.

— Истинно говорю. Хош Беринга, хош капитана Чирикова, который в лейтенантах тогда ходил, хош Шпанберга спроси.

— Лучше уж к капитан-командору, нежели к Шпангеру, — ввернул матрос со шрамом на лице. — Мореход Шпангер дельный, командир же очень даже злобного нрава. Ругатель большой и рука тяжелая.

«Да, — мысленно поддержал матроса Крашенинников. — Что верно, то верно».

В Охотске, согласно предписанию профессоров, надлежало устроить пункт для наблюдений за приливами и отливами, а также ведения других метеорологических обсерваций. Грамотного человека, способного быстро усвоить дело, и бревно для футштока выделили сразу. Термометр, флюгер и компас Крашенинников дал из своих запасов, но песочных часов, морской четырехчасовой склянки у него не было. Пришлось идти к помощнику Беринга, сам командор отсутствовал.

Шпанберг владел русским прескверно.

— У меня без наука полный заботный рот! Часы достаточно есть, который повиснул на мой изба!

Под навесом крылечка действительно висели морские часы, склянка, сдавленная посередке, с мелким песком внутри. Так столб же мерный в целой версте от капитанского жилья! Как же одновременно примечать уровень воды и засекать время?

Ничего, кроме брани, Крашенинников не получил в ответ.

Удалось пробиться к командиру порта. Озлобленный на всех и вся, Скорняков-Писарев строчил доносы на Беринга, а заодно и на его людей. Студент был как бы на особом положении, от Академии наук человек. То ли в пику Берингу и Шпанбергу, то ли из хмельного благодушия, а к спиртному Григорий Григорьевич пристрастился еще в Сибири, студента принял и начертал на его прошении — «Исполнить немедля».

В тот же вечер песочные часы были выданы, но оказались негодными...

Земля Камчатка, что на восходе солнца казалась близкой, недосягаемо виднелась на горизонте и в исходе дня. Ветер же незаметно, исподволь усиливался. Море зарябило мелкими волнами, там и сям закурчавели белые барашки, точно снежные заструги на синем поле.

— Беляки пошли, — озабоченно сказал кормщик. — Не ко времени...

Кто-то с задором отозвался:

— Пока шторм разгуляется, мы уже в Большерецком кабаке угощаться будем!

Федор хмыкнул в рыжую бороду:

— Скорый ты шибко. До Камчатки идти и идти. Да от устья Большой реки два дня грести супротив течения на лодках-долбленках. Батами назы-

ваются. Да за этими батами еще в острог на ялике сходить, вызвать. Только не это главная трудность. Не во всякое время в устье войти можно. Отгорожено оно косой от моря, как речка Охота. Камчатская же кошка в сто крат зловредней. Не дай бог в лапы к ней попасть!

— Ничего! — звонко и неустрашимо сказал тот же голос. По нему и признали Желтухина, мужика, который истошно верещал, когда течь обнаружилась. — Ничего, — сказал он и тут же переиначил пословицу: — Бог не выдаст, кошка не съест!

— Как знать, — неопределенно произнес кормщик. В его недосказанности предугадывалась беда.

Ночью ветер из сильного сделался жестоким. С левого борта забухали тяжелые волны, с грохотом рушились на обезлюдевшую палубу. Пришлось убрать паруса, но и без них «Фортуну» гнало к земле.

Было девять часов до полудня, 14 октября. Камчатская земля, отороченная кружевом прибоя, расстилалась на десятки верст [1]. За блеклой осенней долиной отверделыми волнами застыли многорядные цепи холмов и сопок. В южной стороне высились горы в зимних колпаках. Сопки и нижние части гор были охряного и серого цвета.

Береговая линия выглядела сплошной и ровной. Губу, образованную двумя слившимися реками, Большой и Озерной, закрывали две косы. Длинная, тридцативерстная, тянулась от северного мыса до устья. Другая отстояла в море саженях [2] в ста, пересекала путь в губу. Эта, вторая коса, именуемая образно «кошкой», и была главной преградой. В прилив, в большую воду, она утапливалась, даже военные корабли свободно проплывали над нею. В малую воду кошка выступала над поверхностью моря или коварно скрывалась в пенных сугробах прибоя. Горе тому, кто неосмотрительно или бесшабашно совался в устье.

Сейчас, в новолуние, как и должно, стояла малая вода. Штурман «Фортуны» попытался отойти в открытое море, обезопаситься. Не удалось. Шквальный ветер с норда препятствовал маневру, опасно заваливал судно на правый борт. Того и гляди, изорвет паруса, сломает мачту.

До кошки была еще целая миля [3]. В этом месте, как знал штурман, надежная якорная стоянка. Глубина девять саженей, мелкий песок на дне, весьма быстро засасывает якорь. Случилось, правда, здесь же лет семь тому назад «Св. Гавриил» оборвал канат, выбирая десятипудовый якорь. Но на «Фортуне» якорь куда легче и канат новый, только в Охотске полученный.

— Отдать якорь!

Канат ушел в воду на три четверти. Натянулся, загудел струной. Однако не прошло и минуты, как судно опять потащило к берегу.

— Трави! — сорванным басом крикнул Мекешев.

Боцман откинул стопор. Ворот бешено завертелся, канат заскользил через клюз в море. «Фортуна», обретя свободу, рванулась грудью вперед, но канат снова напружинился, резко дернул судно назад — и остановил.

Не успели перекреститься, волны и ветер возобновили натиск. Якорь волочился по песчаному грунту, не успевал зацепиться как следует. «Фортуну» неумолимо гнало на пагубную кошку.

---

[1] 1 верста равна 1,067 километра.
[2] 1 сажень равна 2,134 метра.
[3] Морская миля равна 1852 метрам.

— Право руля!

Судно отказалось подчиниться кормщику.

Положение стало критическим. Бот предсмертно трещал. Последний и единственный шанс — как можно скорее, преднамеренно выброситься на косу.

— Руби канат! Канат руби! — отдал команду штурман.

Боцман давно сжимал острый топор, но взмахнуть им не успел. Канат сам лопнул, точно услышал приказ.

Теперь уже ничего не сдерживало «Фортуну». Могучая волна подхватила ее и понесла к берегу.

— Все наверх! Держись!

«Фортуна» в пене и брызгах со скрежетом и костяным хрустом врезалась в черную спину кошки.

Кормовая часть судна глубоко засела в плотном вулканическом грунте, нос и бушприт с обрывками такелажа задрались к небу.

— Уходи! Не мешкать! Уходи-и!

Люди в спешке и страхе покидали «Фортуну». Прыгали в мутную кипень, по колено в воде неуклюже бежали от обреченного корабля на спасительный пятачок суши. К счастью, вовсю шел отлив, отмель быстро разрасталась, но вокруг бесновалось море. Грозное, безжалостное, непредсказуемое.

Первым обрел речь кормщик Федор:

— Вот и приехали на ету самую кошку...

Никто не отозвался. Сгрудились, мокрые с головы до ног, дрожащие от пронизывающего ветра, от неотжитого еще ужаса кораблекрушения. Да и наступило ли полное спасение? До земли сто саженей, а море, вот оно, в нескольких шагах, окружило со всех сторон.

Мекешев неподвижно смотрел на свой бывший корабль. Море уже не отдаст «Фортуну», довершит черное дело, разобьет в щепки, разберет на ребрышки, потом и ребрышки заглотит. Свершилось неизбежное, о чем он же и предупреждал охотское начальство. А все равно отвечать головой теперь ему, штурману. Скорняков-Писарев за одно то, что Мекешев возведен в должность капитана Берингом, с превеликим удовольствием, в досаждение капитан-командору, не помилует. Беринг же, он и за себя как следует постоять не способен.

Положение людей с «Фортуны» было незавидным. Судьба их не определилась: уже на Камчатке и еще не на Камчатке, не на земле.

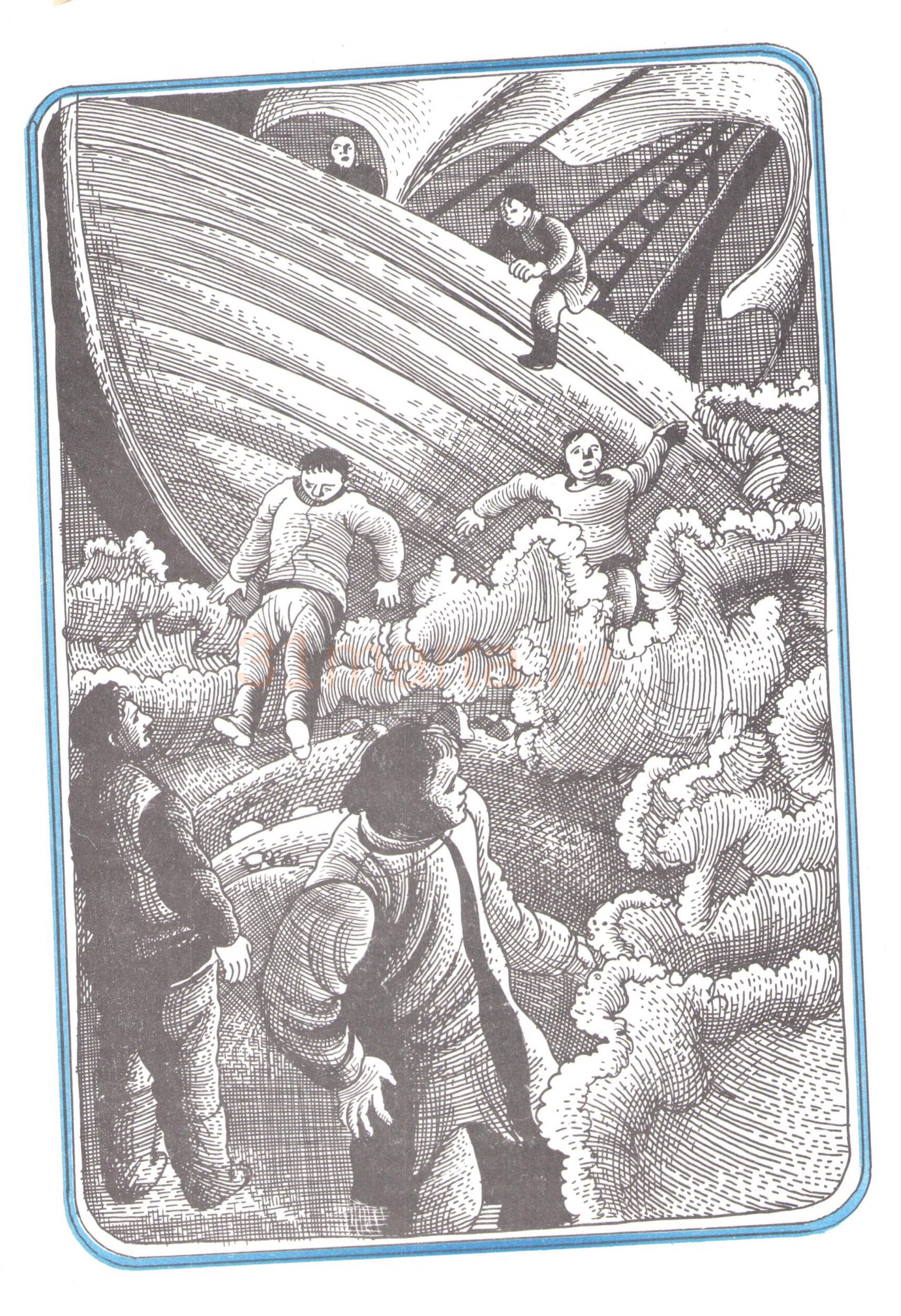
За какой-то час кошка высвободилась из водной толщи, обрела вид плоского, с горбинкой, острова, шириною в полсотни саженей. Морские волны учиняли робкие набеги, шурша, перестукивая камешками, взбегали на десять — пятнадцать шагов, истончались до стеклянной прозрачности и, обессилев, уползали обратно. На темном сером базальтовом песке высыхала желтоватая мыльная пена, чернела галька. Море выплевывало ее, как обглоданные фруктовые косточки.

«Вот и меня такая участь ждет, — обреченно подумал Мекешев, печально глядя на заваленную набок «Фортуну». — И мне конец пришел, не подняться уже...»

— Господин штурман...

«Ты больше не штурман!» — сразу же рявкнет командир порта. В матросы разжалует. И это — самое малое...»

— Господин штурман! — повысил голос Крашенинников.



Ночью, сквозь неспокойный, тревожный сон Мекешев слышал хруст и стенания своего корабля. Безошибочно улавливал его страдающий голос в общем гуле, шуршании, треске, завывании штормовой непогоды

К утру переломился килевой брус, распались бортовые щиты. Теперь лишь до конца стало ясно, каким безумством было пускаться в море на таком судне. Дерево изнутри прогнило дочерна, крошилось в руках «Фортуна» держалась на плаву только благодаря многослойной смоляной обмазке и жировой пропитке из масел, что вытекали из бочек в морских передрягах.

Мекешев завернул щепотку деревянной трухи в тряпицу, сунул за пазуху, туда, где висела ладанка с охранными травками и уже закаменевшей за двенадцать лет разлуки с Поморьем земляной лепешкой. Мекешев взял частицу корабельного праха, как родную землицу. Не в оправдание. Все едино не миновать наказания. Тут же, в Большерецком остроге начнется допрос. Походная розыскная канцелярия подполковника Мерлина, которую он же, Мекешев, доставил четыре года назад на Камчатку для расследования бунта и наказания виновных, до сих пор сидела там.

Прошли сутки, как «Фортуна» выбросилась на кошку, но на берегу не объявилась ни одна живая душа. Надо самим плыть в острог, бить тревогу, просить лодки для людей и грузов.

К счастью, судовой ялик удалось оттащить в лагерь.

Наспех сооруженные балаганы из корабельных досок, кучи имущества придавали лагерю на косе вид пристанища погорельцев. Сваленные воедино случайные вещи, просмоленные, будто обугленные доски, черные, как от копоти, лица людей.

— До спокойного места не одна верста, каждая ходка отнимет часы. А сколько их, ходок, надо... К полуночи не управиться и ялик загубить просто, а без него пропадем, — рассуждал вслух Мекешев.

Все понимали: штурман прав, но как же тоскливо и боязно оставаться на косе. Большие волны по неприметным глазу впадинам переливались через песчаный островок совсем близко от лагеря.

— Нельзя казенную кладь бросать на произвол судьбы, — поддержал штурмана студент Крашенинников. Неожиданно примкнул к ним и Онуфриев. Вчера он бормотал синими губами вместо молитвы: «Не до жиру быть бы живу». Теперь, очухавшись, Игнат громко спросил:

— Чо мы без добра своего делать на Камчатке станем? — И сам же ответил: — В нуль обратимся!

— Без одежки протянем ножки, — сострил звонкоголосый Желтухин.

— Тут и в одежде море утащит, — мрачно вставил Саламатов.

— Довольно судачить, — оборвал разговоры Мекешев. — Готовить ялик. За старшего ты, Федор.

Через полчаса ялик с шестью гребцами отошел от косы и двинулся в устье Большой реки.

Где-то за тучами солнце еще набирало высоту, а от «Фортуны» и следа не осталось. Прибойные валы поглотили последние щепки.

Пусто, дико, совсем беззащитно сделалось на песчаном островке.

— Вот какая фортуна нам выпала, Степан Петрович. Смерть тут принять, — смирившись с неизбежным концом, произнес Аргунов.

— Не спеши крест ставить, Осип, — хмуро отозвался Крашенинников.

Внезапно твердь под ногами дрогнула, вдоль кошки пробежала скрытая волна. За ней другая. Колени самопроизвольно подламывались от толчков, нарушая равновесие тела.

ГЛАВА ВТОРАЯ

БОЛЬШЕРЕЦК



Помощь пришла лишь на седьмые сутки. Уже и не чаяли в живых остаться. Море наступало с каждым часом, заливало косу, рвалось в речное русло. Едва погрузились в спасительные лодки, выдолбленные из полувековых лип, надежные и устойчивые баты, на месте, где был лагерь, забурлила, закипела вода.

— Кабы припозднились на час, не миновать вам беды, — сказал кормщик Федор. Из команды, отправленной на ялике, вернулся только он.

От Большерецка по Быстрой реке до моря в полдня доплыть можно, знай налегай на весла. И расстояние-то всего тридцать три версты. От моря вверх трижды по тридцать три считать надо: сильное встречное течение, шестами толкать приходится. И чем ближе к острогу, тем труднее двигаться, местность становится круче.

Пока шли по реке Большой, образованной слиянием Быстрой и Озерной и множеством безымянных притоков. То и дело огибали безжизненные островки, заросшие влаголюбивым кочкарником.

Остались позади широкое полноводное устье и лупоглазые нерпы, за береговыми кустарниками и деревьями скрылся горизонт, и солнце удалилось на ночь быстро и незаметно. На реку и землю опустился туман, становилось промозгло, холодно.

Лодки, как снулые рыбины, приткнулись к берегу, где стояли похожие на гигантские шлемы, надетые на торчащие пики, рыбачьи балаганы. Сейчас они пустовали; обильный ход лососевых кончился, шел к нерестилищам только кижуч, рыба отличная, но и на то, что прежде выловили, не хватало соли.

По скудости дров развели два небольших костерка. Только воды вскипятить, кое-как обсушиться.

А спали хорошо, спокойно, без кошмаров. Не качало, не трясло, не заливало. За последние две недели Крашенинников ни разу так за ночь не отдыхал. Даже Осип Аргунов воспрянул духом, размечтался:

— В баньку бы, попариться...

— Придем в острог, все будет!

Думалось: в Большерецке все враз уладится, устроится, отстанут все несчастья, опасности, тяготы. И легко, мигом исполнится то, что наказали сделать господа профессора.

НАУЧНАЯ СВИТА



сенью 1732 года из правительственного сената пришло требование направить из Москвы во вновь образованную императорскую Академию наук двенадцать лучших учеников выпускных классов. Послали в Санкт-Петербург и Крашенинникова с Горлановым; в ту пору каждому из них шел двадцать второй год.

На экзаменах, учиненных профессором Зигфридом Байером, отсеялось более половины. Степана Крашенинникова отметили особо, назвали в сенатском реестре не только по фамилии, но и по имени.

Отвергнутых распределили в подьячии и к ремесленным делам, а взятых учениками в академию включили в состав «научной свиты» Второй Камчатской экспедиции капитан-командора Витуса Беринга.

Главная цель экспедиции была, в сущности, та же, что и первой. В собственноручно начертанной Петром I за три недели до кончины инструкции повелевалось построить на Камчатке или в другом месте один-два бота с палубами и плыть на них к норду, искать, где северо-восточная окраинная земля Российской державы «сошлась с Америкой».

В начальники экспедиции Скорняков-Писарев, генерал-майор, академии морской президент, бывший обер-прокурор сената и прочая, предлагал своих людей, но Петр категорически сказал: «Витус, только Витус!»

Царь отличил Скорнякова-Писарева еще рядовым бомбардиром, но и Беринга знал два десятилетия, ценил его. Бывший датский капитан верой и правдой служил русскому флоту.

Впрочем, Миллеру именно столько понадобилось на взлет в академики. Студент из Герфорда прибыл в Петербург помощником библиотекаря в 1725 году, а в январе 1731-го уже стал профессором. Этому способствовали незаурядная трудоспособность Миллера и покровительство всесильного Шумахера, главного библиотекаря академии, советника канцелярии и фактического правителя со времен первого президента до нынешнего «главного командира академии».

Взорлив, Миллер уже не подавлял в себе дурные свойства характера. Крутой нрав, запальчивость, суровость к подчиненным, злопамятность и неуживчивость с коллегами, язвительность и колкость нажили ему множество врагов, вплоть до самого Шумахера.

Сын тюбингенского аптекаря, знатока химии и металлургии, Гмелин приехал в Россию в 1727 году восемнадцатилетним доктором медицины и, одновременно с Миллером, получил звание профессора. Внешне Гмелин уступал Миллеру, высокому, крепкому, громогласному, видному мужчине, но добрым, уступчивым характером, неизменным дружелюбием и веселой иронией вызывал к себе всеобщее расположение. Это раздражало властного и самолюбивого Миллера. Он высмеивал и упрекал Гмелина в панибратстве со студентами.

— Ты должен внушать почтение и трепет. Тебя должны бояться!

— Мне приятнее, когда любят, — мягко улыбался Гмелин. — Тем паче, инструкция предписывает «наипаче согласие и дружество между собою иметь». Более того, нам вменено «смотреть в пути, чтоб студенты сохранены были в здравии, достаточны в пище, одежде, обуви...»

— Ангел мой! — насмешливо воскликнул Миллер. — Так зови к нашему столу всех студентов! И пусть наши портные обшивают их за наш счет. И обувают!

— Увы, — вздохнул Гмелин, благоразумно умолчав, что подарил Крашенинникову добротные сапоги, — у нас нет башмачников...

— Так выпиши им обувь из Германии! И вообще, оставь свою научную работу и читай им лекции!

— Эти молодые люди так жадно впитывают знания, — выдал себя Гмелин. — Просто удовольствие заниматься с ними.

Миллер побагровел. Красивое лицо исказилось, маленькие глаза вспыхнули яростью.

— Я категорически запретил читать студентам лекции, отвлекать их от выполнения наших заданий. Почему нарушен приказ?!

— Я не капрал, господин генерал, — холодно отшутился Гмелин.

— Оставь свои шуточки!

Гмелин поморщился:

— Но, господин Миллер...

— Молчать!

В больших, навыкате глазах Гмелина отразилось негодование, нос «уточкой» вздернулся, скривились мягкие женственные губы.

— В таком тоне я не позволял разговаривать с собою даже Шумахеру.

— Шумахеру?! — взвился Миллер. — Эта свинья! Эта лиса! Эта гремучая змея Шумахер! Разбойник душит меня и здесь, за тысячи верст от столицы! — Он выхватил из кожаной папки плотный листок. — Читай! Я придерживал, щадил тебя, искал выход, но ты сам принудил до времени объявить эту убийственную бумагу! Нас упрекают, что мы засиделись в Якутске, требуют незамедлительно, не откладывая и на неделю, ехать



вал его статью о соболином промысле. Лучше едва ли сделать можно. Молодец. Как он вырос за эти четыре года. С какой радостью и великим рвением делает научную работу. И притом, скромен, исполнителен...

— Да-да, я знаю, — недовольно перебил Миллер. — Крашенинников старателен и дисциплинирован.

— И предельно честен!

— Да, и предельно... — эхом повторил Миллер. В уме его вспыхнула идея, еще не идея, а слабый проблеск ее, намек.

Даже с учетом излишне восторженного отзыва Гмелина, с поправкой на это, студент Крашенинников несомненно выделяется прилежанием и успехами в научных занятиях, отличен от своих товарищей. Выполненные им описания жизни и быта сибирских аборигенов, особенно бурятов, Аргунских серебряных заводов, ледохода на Ангаре, горячих источников вокруг Баргузина и другие отчеты можно смело включить в будущий многотомный труд о Сибири, где география переплетется с историей, бытописательство с политикой...

Как обычно в моменты напряженного обдумывания, профессор, не замечая того, энергично тер ладонь о ладонь.

Как ни опечален был Гмелин дурным известием из Петербурга, не удержался от ироничного замечания:

— Ты с такой силой трешь ладони, точно пытаешься добыть огонь.

— Да-да, Иоганн, огонь... — Миллер не обратил внимания на подковырку. В конце концов, надо не обижаться, а ценить остроумие единственного близкого человека в сибирской глуши, а может быть, и во всей России. — Да-да, Иоганн, я добыл огонь, огонь надежды и спасения!

Голос его звучал торжествующе. Миллер сел в кресло и откинулся к высокой спинке.

— Надо быть политиком, мой дорогой! — самодовольно сказал Миллер.

Гмелин, тонкий, умный, истинный муж науки, в делах житейских был наивен и беспомощен. Непрактичный и бесхитростный, он не умел изворачиваться или подлаживаться под чужое мнение, а свое, даже сомнительное, но искреннее, не маскировал дипломатическим туманом. И уж никакой не был политик.

— Я сказал, что мы будем ждать и действовать, — продолжил Миллер. — Секрет в том, ка́к ждать и ка́к действовать! — Он опять принялся тереть ладонь о ладонь, победно глядя на Гмелина. Тот опять не удержался от шутки:

— Осторожно, не дай бог, высечешь искру и подожжешь избу. Хватит нам и одного пожара на один Якутск. Столько материалов сгорело...

Последняя фраза прозвучала с горечью.

— О, этого нельзя допустить! А изба и Якутск — черт с ними, нам тут не зимовать!

— Что же ты придумал, Герард?

— Я такое придумал!.. — Миллер счастливо засмеялся.

Лунный свет, пробиваясь через слюдяные оконца, окрашивал бревенчатые стены, убогую мебель и лица в шафрановый, желто-зеленый цвет. За дощатым столом сумерничали четверо — студенты и переводчик Яхонтов.

— В общем, други мои, — говорил Яхонтов, старший и самый осведом-

ленный из них, — диспозиция сложилась такая. Все капитаны во главе с командором уже в Охотске. Новые корабли, бригантина «Архангел Михаил» и дубель-шлюпка «Надежда», спущены на воду. Перевозочные суда «Фортуна» и «Гавриил» отремонтированы. Так что морская часть экспедиции готова к плаванию. Задержка за провиантом. Толстый добряк Беринг опасается поморить голодом экспедиционное многолюдство. Он так и выразился: «чтоб такого многолюдства не поморить голодом».

— Куда как точно сказано, — поддакнул как бы самому капитан-командору Алексей Горланов. — По нам, студентам, и то судить можно. В чем только душа держится. Такой голодухи мы, однокашники, и в Москве, в Спасских школах, не испытывали.

— Там, в Москве-то, хоть подкалымить где было, — вздохнул о прошлом Третьяков.

— С калыма и пристрастился ты к проклятому зелью, Вася, — осуждающе заметил Крашенинников. — И здесь злоупотребляешь.

Третьяков, длинный, костистый, с унылым лицом, слабо оправдался:

— Скорбь заглушаю, Степушка. Живу в скудости, тупею. И в школе познанное забывать стал. Денно и нощно только и знаю, что горблюсь над перепиской для Миллера. Тебе вот посчастило, при Гмелине больше...

Горланов горько усмехнулся:

— Если и выпало полное счастье, так мне. Измерим, срисуем весь край с инструментальщиком, напарником моим Кобылиным, так, надо полагать, де-ла-Кроер приспособит нас к своей торговле, коробейниками сделает.

— Профессоры и нас, студентов, в холопы свои обратили! — выкрикнул Третьяков. — Миллер, как что, так батогами грозит.

Яхонтов насторожился:

— Придержите языки. Ходит кто-то...

В оконце дробно постучали. Яхонтов предостерегающе приложил палец к губам: «Помолчим!» Стук повторился, характерный, знакомый.

— Касьян, — определил Горланов.

— Открой, Леша, — разрешил Яхонтов.

Горланов не ошибся, пришел Касьян, столяр и посыльный профессора Миллера.

— Ваше благородие, господин студент Степан Петрович! Их высокоблагородия господа профессоры к себе требуют. Незамедлительно!

— Иду. — Крашенинников поднялся из-за стола.

— Ступай, — велел посыльному Яхонтов. — Сейчас выйдет.

— Слушаюсь, Илья Петрович. — Касьян низко поклонился, напялил затрепанную шапчонку и, пятясь, покинул избу.

— С чего это средь ночи?

Никто Крашенинникову не сумел дать ответ.

На шпилях сторожевых башен острога поскрипывали железные флажки, подлаживаясь к изменчивым воздушным порывам. В обывательских домах, на пустырях вокруг грозного палисада редко просвечивали оранжевые пятна огней. Было пустынно и мрачно. Крашенинников молча шагал за Касьяном.

Немецкие профессора жили в новой просторной избе с двумя горницами и пристройкой для служителей.

В большой комнате, освещенной трехсвечным канделябром, в приятном

Мекешев отрешенно повернулся к студенту.

— Надо спасать казенную кладь. Все научные вещи в трюме...

Крашенинников говорил быстро, отрывисто. Мекешев молча смотрел на него. Студент был без шапки, без парика; мокрые русые пряди налипли на высокий чистый лоб. Трепетные крылья массивного горбатого носа раздулись; под темными бровями темные синие глаза с искорками вкруг черного блестящего зрачка. Выступающая нижняя губа, сильный подбородок с желобком — все говорило о твердом характере, воле и решительности в действиях.

Мекешев с тем же неожиданно возникшим вниманием посмотрел на остальных. В запавших глазах людей, в иссушенных десятисуточным каторжным плаванием лицах читалась тупая покорность судьбе. Ветер быстро сушил одежду и обувку, на них бахромчатой плесенью выступала морская соль.

«Надо дать людям работу, дело, отвлечь от черных мыслей. Студент оклемался быстрее других потому, что не о своем животе печется, о каких-то инструментах и бумагах просит...»

— Я требую, наконец! Командуйте же, капитан!

Да, штурман еще оставался, обязан был оставаться командиром корабля, капитаном.

— Пока я здесь командую, — осадил студента Мекешев и решительно приказал: — Всем на разгрузку! Стаскивать сюда, на взлобок.

Не оглядываясь, он двинулся по влажному песку к разбитому судну.

Непостижимо, как много, чудовищно много вмещала в себе столь малая посудина. Не верилось, что с таким грузом переплыла Пенжинское море. А ведь часть клади, и весьма солидную, сбросили в пути.

На сухом взлобке косы росли, будто муравьиные кучи, навалы из ящиков, сум, мешков, бочек. И люди, подобно муравьям, двигались двумя цепочками. В одну сторону — налегке, в обратную — с тяжелой ношей.

Трудная работа, казалось, должна бы доконать измученных людей, но произошло обратное: разогрелись, поднялось настроение. А тут и чай в котле закипел.

До чего же прекрасен обыкновенный кипяток, обжигающий растрескавшиеся губы, пересохшее горло, саму душу! Растянуть бы такое блаженство не на глотки́ — на капли, прикорнуть бы у жаркого смоляного костра из корабельных досок.

— Кашеварам обед ладить, остальным — на разгрузку, — велел Мекешев.

И опять две цепочки потянулись от взлобка к «Фортуне» и от «Фортуны» к взлобку.

После горячего обеда штурман разрешил двухчасовой отдых. Пристроившись кто на чем, все спали мертвым сном. Пробуждение было тяжким, все тело болело и ныло, в голове будто свинец.

— На разгрузку! Живо, живо! — Капитан тормошил, тряс за шиворот, кого и пинком поднимал на ноги. — Торопись, море ждать не станет!

«Фортуна» доживала последние часы. К вечеру сломало грот-мачту. Она рухнула, обламывая рангоут, обрывая такелажные тросы и веревочные лестницы, с маху вышибла фальшборт, проломила обшивку, упала, с гулким ружейным выстрелом разделилась на два обломка. И мачта, и корпус бота стали подручным материалом для шалашей, топливом для костра.

— Трясение земли! — первым догадался Мекешев и успокоил всех: — Здесь такое дело обыкновенное. А толчки слабые, далеко где-то случилось. На Курилах или по другую сторону Камчатки, в Восточном море.

Объяснение внесло ясность, но не избавило от тревоги. Вдруг и здесь земля вздыбится!

Подземные судороги повторились и в ночи.

Сквозь тучи прорезался свет ущербного месяца, льдисто-зеленый, неживой. Сморщенная, влажная коса блестела, как отколовшаяся от берегового припая льдина с шатающимися тенями людских фигур.

ИЗ РАПОРТА СТУДЕНТА СТЕПАНА КРАШЕНИННИКОВА ОТ 14 НОЯБРЯ 1737 ГОДА

Благородным господам профессорам.
Пятой репорт.

Из Охоцка отправился я на судне «Фортуна» октября 4 дня, часу во 2 пополудни, и шли благополучно часу до 11 пополудни; а потом такое учинилось нещастие, что судно вода одолела...

... что было на палубах также и из судна груз около четырех сот пуд в море сметали, и так едва спаслися...

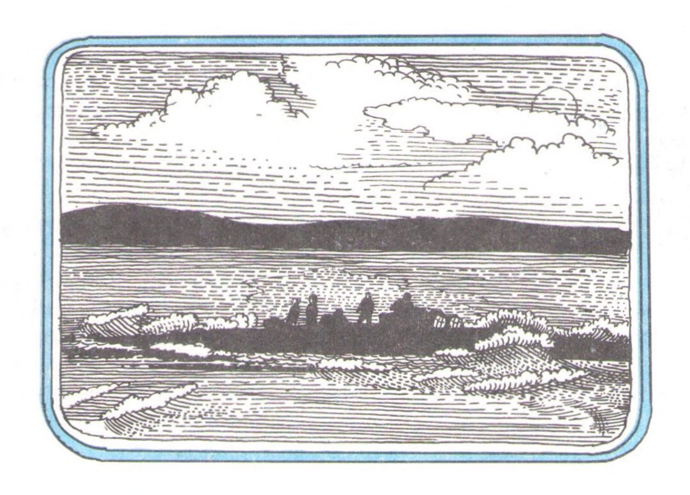
От помянутого сбрасывания я в крайнее разорение пришел:

1. Для того, что из данных мне казенных вещей несколько в море сброшено и испорчено, а имянно, одна сума в которой была серая бумага, пять дестей пищей бумаги, и данные мне семена... термометр № 16 розбит, также и ветрометр изогнут и розпаян...

2. Что провианту моего брошено в море одиннадцать сум, также чемодан с бельем, и больше у меня не осталось, как одна рубашка, которая в ту пору на мне была.

...К устью Большой реки пришли октября 14 дня часу в 9 прежде полудни, в которое за убылою водою и за боковым ветром войтить не могли, но как только взбежали в самые валы, которые беляки называются... выкинуло на низменную кошку, чрез которую в полые воды морской вал ходит.

...послали в острог людей, чтоб привели на подъем наш батов... между тем воды морские от часу больше прибывали. И так мы на вышеозначенной кошке не без великого страху жили, потому что местами вода уже через оную переливалась.



Крашенинников поместился в одном бате с кормщиком.

— Видать, в рубашке родились, господин студент, — дружественно заговорил Федор.

— В рубашке остался, — улыбнувшись, поправил Крашенинников.

— Да, море, оно такое: не знаешь, что найдешь, что потеряешь.

— Ничего, буду считать, во второй раз родился. Здесь, на Камчатке. Рубашка одна, зато счастливая. Поясняй мне все, что в пути увидим.

— Вправо кабы свернуть, до озера дойти можно. А на том озере остров есть, версты на две. Птицы на нем, уток, чаек всяких — видимо-невидимо! Большереченцы на год запасаются яйцом. Как ягоды собирают.

В желтой воде устья шныряли пятнистые нерпы ларги. То тут, то там высовывались круглые головы с шаровидными глазами, вертелись, с любопытством разглядывали лодки с людьми и кладью. Насмотревшись вдоволь, ларги опять ныряли, кувырком, через голову, выставив на миг блестящие жирные попки, золотистые, в серых разводах.

Крашенинников с восторгом наблюдал за морскими животными. Вот одно из них вынырнуло с крупной серебристой рыбиной. Щелк! — и туловище, описав крутую дугу, шлепнулось обратно в реку, а голова исчезла в зубастой пасти.

— Сколько рыбы переводят зазря! — неодобрительно отметил Федор.

Ларги съедали только головы. «А мы, люди, разве всю пользу извлекаем из того, что берем у природы?» — подумал Крашенинников.

Слева долго тянулась широкая коса. Ни дерева, ни кустика на ней, но подальше от устья косу по всему прибрежью покрывали усыхающие травы. Противоположный берег, обрывистый, с частыми закруглениями отводов, щетинился бледно-зеленой осокой, беловатым, точно выгоревшим на солнце колосняком, гигантскими стеблями кутахжи, увенчанными бурыми зонтиками соцветий. Изредка, а потом все чаще и чаще жадный взор Крашенинникова отмечал кустарники восковницы и привычные русскому человеку деревья — лиственницу и тополь.

В ботанике кормщик был темен, да и в птицах не разбирался. Для него, как и большинства моряков, серые, черные, белые чайки, рябые поморники, буревестники — все «просто чайки». Но то, что могло сгодиться плывущему по реке, Федор знал с подробностями.

— Вон, господин студент, постройки рубленые. То анбар и казарма для караульных. Справа от курса. Они на речке Шхачу стоят, где наши морские суда зимуют. Место Чекавкой называют по имени жительствующего там камчадала. Что спрашиваете?.. Нет, это мы всех камчатских людей так прозываем. А они разные. Посередке полуострова ительмены живут, на юге — курилы, а севернее — коряки. Слово «ительмен», как толмач один мне растолковал, от «ителахса» — «живу» и «мен» — «человек» происходит. Сказывают, что и в других краях подобное есть, всяк народ токмо себя настоящим людом считает.

— Да, это так, — подтвердил Крашенинников. — А что за место Чекавка?

— Лучшего тут не сыскать. Дно мягкое, когда в убылую воду и на борт завалишься, не страшно. Там и «Фортуне» стоять доводилось... — Федор протяжно вздохнул и перекрестился, будто по умершему человеку.

Море уже не было видно, слышен только шум, но и тот постепенно затих. Лишь удары весел, плеск и журчание воды вдоль длинных бортов, ворчание реки вокруг каменных россыпей островков и галечных отмелей.

Споры о том, соединяется ли Чукотский мыс с Америкой, не утихли и после плаваний Беринга на «Св. Гаврииле» в 1728—1729 годах. Потому и решено было снарядить новую экспедицию.

При Екатерине I Григорий Скорняков-Писарев лишен был всех должностей и званий и сослан в Жиганск на Лене. Герцогиня Курляндская Анна Иоанновна, взойдя на престол, ослабила наказание, перевела его в Охотск. Вообще же новая царица круто расправилась с «птенцами Петра», слепо подчиняясь давнишнему своему фавориту Карлу Бирону. Взяточник, казнокрад, учредитель жесточайшей Тайной канцелярии, страшный и презренный «временщик» фактически правил Россией.

Возглавить академический отряд Второй Камчатской экспедиции должен был профессор химии и натуральной истории Иоганн Георг Гмелин, но болезнь печени приковала его к постели. Гмелина заменили географом и историком Герардом Фридрихом Миллером. Он сам вызвался в путешествие. Добровольно поехал и француз Людовик Делиль де ла Кроер. (В его фамилии сочетались фамилии отца и матери.)

Невежественный, беспутный парижанин готовился к духовному званию, но вместо сутаны облачился в военный мундир и семнадцать лет прослужил в Канаде. Когда его брата по отцу, известного астронома и картографа Иосифа Николая Делиля пригласили в русскую академию, Людовик тоже решил перебраться в Петербург. Вскоре за подписью Делиля де ла Кроера в Записках Парижской академии появилась научная статья. Подлинным автором был, конечно, Делиль. Трудами и стараниями брата Людовик добился и звания профессора астрономии. Но уже назревало разоблачение, и липовый профессор нашел спасение в дальней и долгой экспедиции.

В ее состав включили студентов, живописцев, служителей. Каждому профессору полагался повар, портной и два мастеровых. Бесплатные слуги, двойное жалованье, сорок пудов муки на год и многообещающее путешествие — очень даже заманчиво.

В последний момент к профессорам присоединился и выздоровевший Гмелин.

Марта 6 дня 1733 года длинный обоз академического отряда выехал из Петербурга. Экспедиционные партии отправились в феврале, чуть раньше, но в Якутске капитан-командор и академики встретились только в конце 1736-го. Научная свита отстала от основной экспедиции на двадцать пять месяцев. В Сибири Миллер и Гмелин были обязаны производить географические и исторические исследования, а де-ла-Кроер — астрономические наблюдения и составлять карты.

Инструкция вменяла профессорам использовать студентов не только как помощников, но и воспитывать их, «гисторию натуральную, политическую и прочая небесная и земная показывать без отлагательств», памятуя, что русские молодые люди, «яко будучи в практике, сами в профессоры вступить» по возвращении должны.

Не сразу, естественно. Студент — молодой, начинающий ученый, ему надо подняться еще до адъюнкта, ассистента, помощника профессора. А профессор — это академик, который в отличие от просто члена Академии наук преподает самостоятельный курс и руководит научно-исследовательской работой.

Экспедиция рассчитана на шесть лет. В такой срок немыслимо из студентов в профессора выйти.

на Камчатку. Бросить все дела — и ехать! О мой бог! — простонал Миллер и схватился за грудь.

Гмелин, вздохнув, привычно пошел к столику со множеством аптечных пузырьков. Машинально отметил про себя: за несколько дней, хотя Миллер и жаловался на сердечные приступы, лекарства не убавились. «Наверное, он не пьет, а нюхает валериану. Как кот...»

Миллер слабым голосом отказался от капель.

— Уже отпускает... Прочти же бумагу, Иоганн Георг.

Гмелин поставил пузырек на место.

— Успокойся. Ты много работаешь, но еще больше тратишь здоровье на всякие раздоры.

— Терпеть не могу, когда мне перечат, — окрепнувшим сразу голосом сказал Миллер. — Прочел? Что скажешь?

Ордер правительственного сената был категоричен. Дольше оттягивать отправление на Камчатку нельзя. Да и, по совести признаться, уже недопустимо. Что уж тут говорить...

Гмелин беспомощно развел руками.

— Обратил внимание на ссылку на Мессершмидта? — ядно заговорил Миллер. — «*Понеже знатная часть Сибири уже описана доктором медицины Мессершмидтом*». Каково? Сибирь неисчерпаема для науки! Во всем! Сколько ты уже открыл неизвестных ботанике растений в Сибири?

— Больше тысячи, — с заминкой ответил Гмелин. Мысли его сейчас целиком были заняты другим, рискованным путешествием на Камчатку.

— Больше тысячи. Уже! А сколько еще неизведанного? Помимо этой тысячи и *«знатной части»*, собранной *«доктором медицины»*!

— Мессершмидт занимался лекарственными травами, — ради справедливости отметил Гмелин. — И работал один, без помощников.

Миллер злорадно хмыкнул:

— Зато теперь у него есть помощница и спутница в одном лице! — намекнул на жену доктора.

— Бедняга, — сочувственно вздохнул Гмелин, имея в виду и неудачный брак, и вообще несчастливую судьбу Мессершмидта.

В 1716 году в Данцинге Петр I познакомился с молодым доктором медицины Даниилом Готлибом Мессершмидтом. Царь заключил с ним контракт на путешествие по Сибири. Жалованье определено было весьма скромное, зато обещано солидное вознаграждение по окончании работы.

После шестилетних странствий, с 1720 по 1726 год, Мессершмидт вернулся в Петербург. Увы, Петра уже не было в живых. С трудом удалось получить только жалованье. Обиженный ученый решил уехать на родину. В пути случилось кораблекрушение, все имущество доктора ушло на дно Балтики. Мессершмидт опять вернулся в Санкт-Петербург.

Жизнь доктора теперь зависела от пособий друзей и попечительства архиепископа Феофана Прокоповича, могущественного при Петре, а ныне осажденного врагами.

— Бедный доктор...

— При такой бедности, — желчно сказал Миллер, — надо было понимать, что девица столь необузданного нрава и расточительных привычек, как Бригита Елена Блеклер, ему не по карману.

Гмелин поморщился:

— Зачем так грубо...

— Грубо? Ах, наша прославленная немецкая сентиментальность! Сейчас ты расскажешь романтическую историю, сказочную легенду. Когда Мессершмидт встретил Бригиту Елену, он был потрясен. Именно она явилась ему в Соликамске в вещем сне. Знак судьбы! Указание свыше... Но что мы все об этом медике? С этим! — Миллер потряс сенатской бумагой. — С этим! Нам! Что делать?! На кой черт мне Камчатка, у меня здесь работы по горло. И какой! Сибирские архивы— бесценный, неисчерпаемый клад! Старинные документы, летописи, столбцы, указы, «скаски» втуне пылятся в каморках приказных изб, гибнут от сырости и мышей. А сколько их превратилось в пепел и станет еще пеплом от пожаров! Моих рук мало даже для переписывания наиважнейших бумаг. Местные пищики и наши студенты копируют днями и ночами, а все не успевают, канальи. Глупо, обидно бросить такое великое дело наполовине!

— И мне жаль, — искренне признался Гмелин. — Сибирская флора такая удивительная, замечательная. Дай бог, чтоб жизни хватило описать то, что уже найдено и еще, я уверен, будет открыто. И потом, Герард, я просто боюсь плыть через холодное Пенжинское море. До сих пор не могу забыть ужаса на Байкале, когда мы чуть не утонули с тобой...

— Да, воспоминания не самые приятные. Только Пенжинское море лишь начало жестоких испытаний.

— Как же быть, Герард? — беспомощно спросил Гмелин.

И Миллер клятвенно объявил:

— Мы не поедем на Камчатку.

— Но это невозможно!

— В России все возможно. Во-первых, один шаг уже сделан. Я давно отправил прошение освободить нас от подчинения Берингу, вывести академическую группу из состава экспедиции. Уверен, сенат не откажет в этом. Во-вторых, — Миллер ходил по комнате и, казалось, шагами отбивал такт своим словам: — Я напишу в сенат и лично барону Корфу. Главный командир академии поймет нас, поможет. В крайнем случае вышлет замену. А в-третьих, между Якутском и Петербургом десять тысяч верст!

— Почта идет годами...

— И прекрасно! Мы будем ждать. И действовать, работать. Я, наконец, серьезно болен, у меня гипохондрия! — Он ухватился за последний довод как за главный. — Я болен, я не могу еще куда-то ехать!

— Но я-то вполне здоров, — сказал со вздохом Гмелин. — У меня нет никаких причин...

— Так будут! Не отчаивайся, мой дорогой, все образуется. Образуем! Вопреки и назло всем шумахерам! — Вдруг, жалуясь, возвал к сочувствию: — Ну почему меня не любят, третируют, чуждаются? Я хлебосол, я гостеприимен, подолгу кормлю и пою постояльцев, протежирую новичкам! Разве не так, Иоганн?

Гмелин неопределенно кивнул.

— Откуда же такая неблагодарность? Я требую взамен лишь уважать мое звание и положение!

Гмелин опять промолчал, и Миллеру это уже не понравилось.

— Конечно, я бываю строг, резок, не заигрываю со студентами, как ты. А к Степану Крашенинникову ты даже слабость питаешь!

— И не скрываю. Талантливый человек, а то и больше... Я редактиро-

березовом тепле пахло настоящим чаем и свежей выпечкой. Миллер сидел в своем, из Петербурга, кресле, в покойной и властной позе, закинув ногу на ногу. Гмелин скромно устроился на стуле, сработанном Касьяном.

С минуту царило молчание, затем Миллер произнес что-то не очень длинно по-немецки. Крашенинников слабо знал родной язык профессоров, но понял: о нем речь. Гмелин, как и Миллер, свободно владел русским, по-русски и ответил:

— О лучшем и мечтать нечего, — ободряюще улыбнулся Крашенинникову и — опять Миллеру: — Лично ручаюсь.

Степан терпеливо ждал. Упаси бог перечить или просить разъяснения. Глава научной свиты в упор, пристрастно разглядывал студента, будто впервые видел его.

Черты лица сильные, энергичные. Высокий лоб, ложбинка на подбородке. Темные дуги бровей разделяет широкая переносица, точно специально излишне широкая, чтоб еще больше раздвинуть кобальтово-синие глаза, расширить горизонт поля зрения. Нос крупный, основательный, изогнутый по-орлиному; чуть выпяченная нижняя губа не портит красивый рот с четко обрисованными губами.

Горбатый нос и выпуклые скулы заявляли о наличии в крови славянина и крови иных предков, восточных, азиатских. Так во всяком случае подумалось Миллеру. Он еще раз, уже общим оценивающим взглядом, окинул стройную, высокую фигуру, отметил физическую крепость, заключил, подытоживая внешний осмотр, с удовлетворением:

— So.

— Так! — подтвердил Гмелин и незаметно подмигнул Крашенинникову. Дескать, так, все идет так, как надо, Степан! Сейчас все узнаешь, поймешь и, убежден, обрадуешься.

Миллер встал с кресла, заходил по комнате и торжественно заговорил, объявляя решение профессорского триумвирата. Де-ла-Кроер еще не поставлен был в известность, но в согласии его сомнений и не могло быть.

— Правительственный сенат и командование академии требуют безотлагательно ехать на Камчатку, — Миллер сделал паузу. Он любил и умел произносить возвышенные и благородные речи. — По ряду важных причин и обстоятельств всем отрядом сейчас, немедленно ехать возможности нет. Но! Будучи верными слугами ее императорского величества и обязательными в своих обещаниях и клятвах, мы решили сделать первый шаг: направить на Камчатку полномочного представителя. Человека абсолютно надежного и добросовестного, дисциплинированного и волевого.

Студент Крашенинников, мы рассудили за благо послать тебя! Ты поедешь наперед нас. Для учинения на Камчатке некоторых дел, дабы там, по приезде своем, меньше времени медлить профессорам и остальным. И в сию поездку выбрали тебя тем наипаче, что можно тебе поручить отправление всяких наблюдений. Ты не единожды делал описания географии и истории натуральной в местах, в которые мы не заезжали. Уверены, что и на Камчатке проявишь свое искусство!

У Крашенинникова от радости перехватило дыхание. «Наконец-то близка заветная цель! Еду на Камчатку, еду!»

— Взгляни на него, — сказал, сияя, Гмелин. — Степан расцвел от счастья.

— От счастья и оказанного доверия, высокой чести! — веско уточнил Миллер. — Он поедет в страну, в которой пока никто не был. Никто из тех,

кто способен сообщить миру точные известия об этой стране! «Скаски» пятидесятника Атласова, необразованного, хотя и весьма наблюдательного казака, рассказывают о Камчатке не полнее, нежели записки м-м... некоего доктора медицины о Сибири.

Он остановился перед Крашенинниковым, вперил острый взгляд.

— Я познакомлю тебя с бумагами Атласова и другими полезными для начала документами.

— Что и как чинить на Камчатке, мы подробно опишем в инструкциях, Степан. И мы еще побеседуем с тобой! — вставил Гмелин.

Миллер недовольно повел бровью.

— Я еще не закончил, герр профессор. М-м... Ты поедешь не один, о нет! Мы определили тебе для вспомоществования пищика. Его фамилия Аргунов. Ничего предосудительного за ним не замечено, но при всем том надо иметь его под батожьем.

Профессор, очевидно, хотел сильным выражением подчеркнуть необходимость держать своего подчиненного в строгости, но «иметь под батожьем», даже сами эти слова прозвучали крайне неприятно.

— Порядок прежде всего! — припечатал Миллер. — Покамест можешь быть свободен. На размышления — ночь. Все остальное завтра. В семь часов тридцать минут утра.

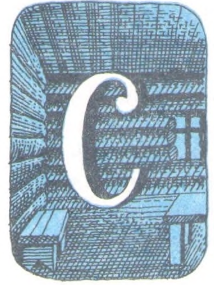
Крашенинников заволновался:

— Ваши высокоблагородия, господа профессоры, мне и раздумывать нечего. Согласен. Великое, сердечное вам спасибо!

Он не шел, а бежал, летел к своей избе. Все вокруг было волшебно красивым. Редкие оранжевые оконца, зубчатый частокол крепостной стены, флюгеры на башенных шпилях, луна и звезды в черном небе. И пела, ликовала душа: «На Камчатку, на Камчатку!»

И вот он уже на Камчатке, на загадочной и чудесной земле.

В ОСТРОГЕ



тепан проснулся от удушья. Густой едкий дым разъедал глаза, терзал до боли в груди легкие. Степан закашлялся, откинул полушубок и свесил ноги с лавки. Сидеть было еще хуже.

В темноте скрипнули деревянные задвижки, открылись вальковые оконца. Сквозь узкие, в толщину бревна, щели дым устремился на волю.

— Задохлись, поди, с непривычки-то, — с веселой подковыркой сказал хозяин. — Не в петербургских палатах, а?

Крашенинников вытер заплаканные глаза, ответил сдавленным от кашля голосом:

— В палатах не живал, да и странствую четыре года, Тимофей.

Рыжов шумно вздохнул:

— И я без малого столько добирался до Камчатки, а всего десятый год здесь. Давненько с Русью в разлуке.

Огонь в печке-каменке раздухарился, тусклым румянцем заиграл в единственном окне, затянутом пузырем какой-то животины. За печью, в бабьем куте светился жировой каганец. И виднелась расплывчатая в дымном тумане женская фигура.

Сквозило. По ногам гулял холод из дверных щелей, а телу и лицу делалось жарко. Крашенинников огляделся.

Потолок и бревенчатые стены черны от многолетней копоти. Щербатый, затоптанный пол из тесин, такие же грубые, сработанные топором и скобелем, лавки вдоль стен — сиденья и ночные лежаки. А стол в углу, под иконой в посеребренном окладе и лампадкой, чисто выскоблен скребком, точно на праздник.

И на дощатой столешнице, как в большое торжество, да и не у каждого барина: розовые пласты горбуши, красная икра, подсоленная и сухая, моченые ягоды, травки на кружке́, заменяющем блюдо, вареные яйца, утиные и другие, в редких крапинках, ржаные лепешки, еще какая-то невиданная прежде Крашенинниковым снедь. И над всем возвышалась большая, плоская бутыль зеленого стекла.

Тимофей огладил курчавую бороду, заострил казачьи усы и торжественно взялся за штоф.

— Вчера, господин ученый, вас и пищика вашего, как младенцев, из баньки вынесли. Такого, видно, натерпелись в море, ни на что силов не осталось. Так что заодно отметим счастливое прибытие, легкий пар и знакомство.

— Спасибо, — поблагодарил Крашенинников, но деревянную чару накрыл ладонью. — Спасибо, добрая душа.

— Да вы этакое винцо сроду не пили! Чисто нашенское, камчатское. Из сладкой травы. Небось, и не слыхали о такой?

О «сладкой траве» Крашенинников кое-что знал, в Охотске рассказывали, но пить, пригубить даже отказался.

— Или вовсе не кушаете? — Тимофей постучал ногтем по бутыли.

— Не приучен.

— Вона как, — протянул разочарованно хозяин. Спросил со слабой надеждой: — А Осип?

— И он, — строго ответил за Аргунова Крашенинников.

Тимофей поскреб бороду, затем с досадой махнул рукой:

— Где наше не пропадало! — И опрокинул в себя душистое вино. — Закусывайте, что бог послал. — Сам же кинул в рот щепотку сушеной икры, похожей на сморщенные давние ягоды недозрелой рябины.

Студент и пищик с аппетитом налегли на рыбное изобилие.

Потом долго пили чай. Густой, кипрейный.

Хозяин еще дважды наливал до краев свою чару.

— Удалось винцо! Фрося...

Жена возилась в стряпном углу. На лари, где ночью спал Аргунов, сидели двое ребятишек. Смотрели круглыми с раскосинкой глазами на незнакомых людей за столом.

— Фрося! — по-хозяйски позвал Тимофей.

Из кути в горницу вышла молодая скуластая камчадалка в рукавчатом сарафане и меховой телогрейке. Остановилась, молча ожидая распоряжений.

— Ступай, — махнул Тимофей, и женщина опять скрылась.

— Женка у меня из местных, но крещеная! — похвалился хозяин.

Опять выпил, договорил недосказанное: — Удалось винцо! Фрося все по моей указке сделала. Крепости в нем, — постучал ногтем по штофу, — железо травить можно!

Вино, очевидно, было действительно крепким. Тимофей захмелел, разоткровенничался:

— Вот вы, господин ученый, меня доброй душой назвали. А я вам в удовольствие, но и себе в прибыль угостить хотел. Столоваться у меня будете, с винцом-то в три раза больше выручил бы. Ну да и так не обеднею, а вы не обидите. Что касательно женки, то я без греха на душе. Все по-доброму, по-христиански сделал. — Засмеялся, помотал кудлатой головой. — Хотя у нас с Фросей курьез вышел. Два года обвенчаться не могли.

— Как же это?

— А вот так! — довольный, что поразил ученого человека, ответил Тимофей. — Я тогда в ином месте обитал, в Нижнем остроге. А там с год священника не было. Церковь во времена бунта спалили. Потом уже тут, в Большерецке, опять же с год ни попа, ни дьячка. Но я отцу Фросиному, тестю, честную записку дал, что все по совести устрою. И устроил, только через два года. Привел в один день жену в нашу веру, обвенчался и дите первое окрестил. Так что женка моя по закону Ефросинья Рыжова и дети Рыжовы. Вот разбогатею, белую избу с дымоходной трубою поставлю, как у господ в острожке.

Домостроительство Крашенинникова крайне заботило. Господа профессора наказали в первую голову возвести для них жилье, а также амбары и прочие вспомогательные здания.

— Есть тут добрые плотники?

— Не густо, но найдутся, — сказал Тимофей. — С лесом трудность. Окрест на многие версты вода, болота, пустошь. За избяным лесом далече плыть, а более десятка за лодкой не утащишь. Дай-то бог, половину доставить в целости. Разносит плоты. Такие крутоверти, быстрины! Три дня и три ночи в доставке, три — пять бревен здесь. А на избу, самую малую, четырехстенку, не меньше сотни надо! Вот в Нижнем Камчатском остроге, там иное дело. Лес под боком. Из него и церковь, и казенные палаты, избу, анбар, даже судно мореходное строить можно. Там и людей больше нашего живет.

— Отчего же вы сюда переселились?

— Не переселился, а перевели, — поправил Тимофей. — Более того, сам хлопотал. Не с пустыми руками, понятно... Здесь, в Большерецке, своя выгода, господин ученый. Перво-наперво, суда морские из Охоцка прямиком пристают, так что товары с первых рук принимаем, в большем числе достаются и дешевле. Приезжих, как вас вот, на квартиру ставим, довольствуем столом, отчего опять же немалая прибыль. Третье, что на своих собаках клади отсюда во все места поднимаем. И главного камчатского товару, морского бобра поперед других получаем и продаем купеческим людям. Опять же рыбы у нас в излишестве даже. Кабы дрова были, насушить-накоптить в одно лето и осень на три года возможно. И соли из морской воды выпарить сколь надо. А так... — Он хмельно помычал. — Гноится, на нет изводится богатый улов, к весне все закрома пустеют, голодом мучимся.

— А вялить, солить? — не выдержал молчальник Аргунов.

— Сказано же: соли мало! Вот есть у меня солило, камняга. Яма шести

аршин[1] длины, два ширины и глубины. Камнем выложена, каменным гнетом и засолку придавливаем. А сколь на такую ямищу соли надо!

— А вялить? — не отступал Аргунов. — Ветер, солнце, малость соли.

— Вялить... Соли, конечно, скромнее надо. Ветра не занимать, а вот солнышко, оно тут не частый гость. Иногда из тысячи рыбин, для сушения повешенных, и одной не снимаешь. От беспрерывной мокряди червь заводится, до кости объедает.

— Да, трудно, — сочувственно произнес Крашенинников.

Тимофей горестно покивал и вдруг задорно вскинул кудлатую голову:

— А все ж другое житье-бытье!

Казак Тимофей Рыжов попал на Камчатку с Первой экспедицией Беринга. Нес караульную службу, валил лес для постройки «Св. Гаврила», а в судовую команду не зачислен был, оставлен на полуострове, да так и застрял в далеком краю. Видно, уже навечно. Попервости нет-нет да взгрустнется по родным местам, только ничего доброго, счастливого не вспомнить. На Камчатке, при всех трудностях, жить вольготнее и зажиточнее.

Крашенинников поднялся из-за стола, поблагодарил за хлеб-соль.

— Надеюсь, поговорим еще, Тимофей. Мне про все важно и интересно. И про историю, и про обычаи.

— А вы не только со служивыми разговоры разговаривайте, — посоветовал Рыжов. — Иные камчадалы больше поведать могут. Из наших же полезен старший старожил Михайло Кобычев, из иноземцев добро бы свидеться вам с тойоном, князьком, значит, его Тырылкой зовут.

— Они здесь, в Большерецке? — загорелся Крашенинников.

— Михайло здесь, а Тырылка на Аваче-реке проживает. Еще бы Игура с реки Островной призвать надо.

Крашенинников взял имена на заметку и, прихватив официальные бумаги, промемории от господ профессоров, отправился к подполковнику Мерлину, нынешнему управителю всея Камчатки.

Солнце яичным желтком висело над ледяной горой. До нее было верст с полсотни, не меньше. Казалось же, что совсем рядом — за пологими сопками, за пойменной низменностью, за лесистыми, голубыми сейчас отрогами.

В селении — ни деревца, ни кустика. Три десятка срубов под кубоватыми, в шесть — восемь граней, крышами. Впритык к избам — амбарные клети, черные баньки, нежилые пристройки. Все на один манер, выделялась лишь пятистенка кабака с винокурней.

В стороне и отдельно от обывательского жилья возвышался острог, четырехугольная крепость весьма скромных размеров — каждая сторона о двадцати саженях. С востока и севера острог защищал однорядный палисад из стоячих, заостренных вверху бревен, скрепленных прошивным брусом. Южную и западную стену составляли деревянные строения, непременные для каждого камчатского острога: ясачная изба, куда сдавалась дань, собранная с местного населения; хранилище ясачной казны; чулан для заложников — аманатская казенка; амбар со съестными припасами для тех же аманатов.

---

[1] 1 аршин равен 0,71 метра.

Крашенинников с Аргуновым прошли через небольшие воротца и очутились на тесной площадке: куда ни шагни — сразу и крылечко.

Церковка, что с реки виделась внутри острога, была вне его, за оградой.

В белой приказной избе с дымоходной трубой и «красными», слюдяными оконцами располагалась канцелярия; в отдельной горнице проживал сам приказчик Камчатской земли.

Чем дальше от Санкт-Петербурга, тем проще и естественнее одевались люди. Платья немецкого и французского покроя сменяли русские кафтаны, мало кто носил напудренные парики, не считалось зазорным отпускать бороду. Чем ее, щетину, скрести, кто в глухомани заводит брадобрейни?

Подполковник Мерлин одет был по-столичному. Фиолетовый кафтан, стоячий ворот шит золотом, под кафтаном долгий жилет, камзол атласный. Вытянутое лицо с колючими глазами и щегольскими усиками обрамлено белыми кудельками накладных волос. Предстать перед таким вельможею — мигом душа в пятки соскользнет.

Для того и облачился в парадное Василий Федорович, что наметил учинить допрос капитану за утраченное судно, определить судьбу всех вновь прибывших на «Фортуне».

Походная розыскная канцелярия, возглавляемая Мерлиным, расследовав причины и последствия бунта 1731 года, сурово наказала виновных. Имя подполковника наводило страх на камчадалов и русских. Власть его была безгранична.

— Неужели высокое научное положение так ничтожно вознаграждается? — отметил Мерлин неказистый вид представителя академии. — Наряд ваш желает много лучшего.

— Смею возразить, господин подполковник Василий Федорович, — ответил Крашенинников, — звание студента начальное, и его жалованье весьма скромно — сто рублей на год. А понеже случившегося на море несчастья пришел я в крайнюю скудость...

— Виновные в кораблекрушении будут наказаны! — резко отчеканил подполковник. Вперил льдистый взор. — Как такое произойти могло?

Беседа сразу перешла в допрос. Крашенинников понял: ответы его могут иметь роковое значение в судьбе Мекешева, сказал сдержанно:

— Полагаю, мореходы не узнали: убывает вода или прибывает.

— И сунулись на погибель судна и казенного груза! — Мерлин ударил кулаком по столу. — Удостоверяете?

— Господин подполковник, ни я, ни кто другой по совести утверждать сие не могут. За белыми валами у берега кошки, и в силу ветра прилив и отлив определить весьма затруднительно. Обсерваций же здесь пока не вели, режима морского не знают, оттого и случается всякое. Считаю неотложным установить мерные столбы в устье...

— О столбах потом, — перебил подполковник. — Стало быть, полагалось отойти в открытое море, а не лезть на рожон!

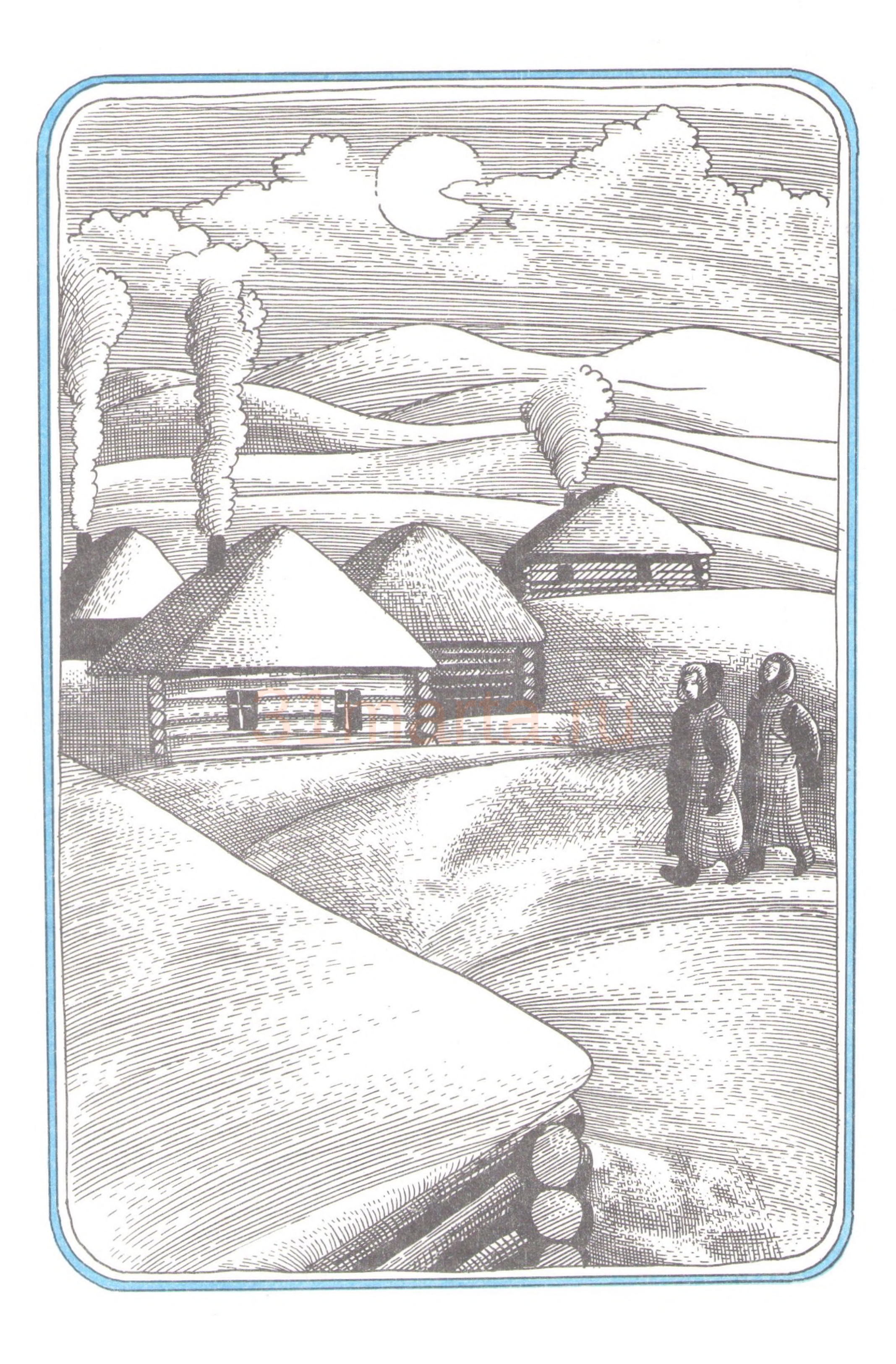
— Пробовал, да не вышло. И к лучшему, что не вышло. Судно утлое, дерево дочерна прогнило, погибли бы неминуемо.

Мерлин криво усмехнулся.

— В общем, судна лишились, груз наполовину утрачен, а виновных нет.

— Нельзя было «Фортуну» пускать в море, — твердо и убежденно произнес Крашенинников.

— Про то не нам судить, — строго отрезал подполковник. Он еще раз перечитал промемории от профессоров, сухо объявил: — По силе



возможности содействие будет оказано, представьте ведомость на необходимое. Что до хором и прочего строительства, наперед обещать не могу. Нужда в лесе здесь превеликая.

— Как же быть? — Из восьмидесяти девяти пунктов инструкции и сонма устных наставлений первостепенным было возведение жилых и служебных помещений для научной свиты. — Куда я профессоров приму?!

Мерлин откинулся на высокую спинку кресла, заверил с усмешкой:

— До торжественной встречи господ профессоров на Камчатке времени, полагаю, предостаточно будет. Сюда не очень торопятся, да отныне и сложнее добраться. Основное перевозочное судно разбито, нет его. Стало быть, штурман не виновен в случившемся? На ваш, разумеется, взгляд.

— На мой взгляд и по справедливости, — подчеркивая каждое слово, ответил Крашенинников, — лишь мастерство и распорядительность штурмана Мекешева сохранили жизнь людей и часть груза.

— Готовы подтвердить сие под присягой? — быстро, с непонятной интонацией спросил Мерлин.

— Готов, — не колеблясь ответил Крашенинников.

Подполковник помолчал, затем велел изложить обстоятельства кораблекрушения и частное мнение по этому поводу письменно.

— Незамедлительно!

«Ох, скоры и круты вы на расправу, господин подполковник Мерлин!» — подумал Крашенинников, но тут вдруг услышал:

— Полагаюсь на вашу помощь в справедливом решении участи Мекешева.

Слова, то, как они были произнесены, и взгляд Мерлина, неожиданно скорбный, никак не вязались с тем впечатлением, которое производил всемогущий правитель Камчатки в продолжение всего разговора. Впрочем, подполковник тут же опять сделался холодным и недоступным, сухо, кивком головы отпустил студента.

На колоде у дровяника, будто на плахе, сидел Мекешев. Подбородок уткнулся в могучую грудь, широкие плечи обвисли.

— Не отчаивайтесь, — негромко сказал Крашенинников. — Нету на вас вины, нету.

Штурман глухо пробасил:

— Шестеро у меня. Пропадут без отца...

Хотелось поделиться своей догадкой о добром расположении Мерлина, но мало ли что могло показаться? И что такое справедливость в разумении подполковника Мерлина?

— Не отчаивайтесь, — только и произнес Крашенинников.

Из двери высунулась мохнатая голова писца.

— Мекешев! К его высокоблагородию!

Штурман вздрогнул и рывком поднялся с колоды.

— Прощайте.

Он перекрестился и тяжело ступил за порог приказной избы.

Расследование катастрофы бота «Фортуна» заняло полторы недели. Специалисты морского дела из команды Беринга пришли к заключению о невиновности штурмана. Подполковник Мерлин, выполнив со всей добросовестностью свою часть работы, отпустил с миром человека, но окончательно судьбу его предстояло решать охотскому начальству. Пока же Ме-

кешева и его людей отправили в Нижний Камчатский острог. С жильем там проще и сгодятся умелые руки на судоверфи, где строятся корабли для нового плавания к Америке.

Путь предстоял длинный, восемьсот тридцать три версты.

— Спасибо за участие и защиту, — сказал Крашенинникову, прощаясь, штурман Мекешев. — Дай вам бог здоровья и благополучия.

К морякам примкнули несколько казаков и торговый человек Онуфриев. Всю подмоклую муку Игнат сбыл здесь, в Большерецке, меновой товар: ножи, топоры, иглы, бисер, медные наперстки, малые зеркальца, шила, табак — собирался обратить в мягкое золото. Тканей он не привез. И не было у кого другого купить себе на рубашки ни шелковой фанзы, ни простой крашенины, лощеного холста обычного синего цвета. «А я и не отдал бы за деньги ни аршина, — бесстыдно признался Крашенинникову Игнат. — Токмо на шкурки меняю!»

В копотном желтушном свете карандашная скоропись в дневниковой тетрадке различалась с трудом, пришлось зажечь еще один жирник.

— На чем остановились? — спросил Крашенинников.

Аргунов прочитал окончание фразы:

— «...для примечания прилива и отлива морской воды».

— Так, о заготовке весною мерного столба сказано.

— И про определение вам служивых, караульных и толмача, — напомнил Осип. — И чтоб русских и иноземческих старожилов прислали для выспрашивания о прежних годах, местных зверях, птицах и рыбах.

Первые дни в Большерецке только и делали, что строчили требования в приказную избу. Толку пока из этого мало было. Дали служивого Ивана Шангина и Никифора Саламатова, твердо обещали еще лишь толмача, знающего ительменский.

— Продолжим наш пятой репорт. Пиши: «Ноября четвертого дня...»

Остроочиненное гусиное перо выводит буковку за буковкой, то легко касаясь бумаги, то с нажимом, оставляя на ней жирные черточки.

Лист кончился. Пищик присыпал рыжие чернильные строчки речным песком, сдул его, легонько тряхнул бумагу и отложил в сторонку. Начал следующую страницу.

— ... посылал я требования к повелителю Нижнего Камчатского острогу Максиму Латышеву да к повелителю Верхнего... которые ныне в здешнем остроге обретаются, и скоро в помянутые остроги отправятся...

— Пальцы стынут от холода, а лоб в испарине. Испить бы, Степан Петрович.

— Прервемся. — Крашенинников тоже мучился жаждой. Непривычно питаться почти одной рыбой.

Напились ледяной воды из кадки, опять взялись за дело.

— Из всего вышеописанного видеть можно, что ни в коем остроге к прибытию вашего благородия хоромы построены не будут...

Аргунов, в какой раз, сменил перо. В гусином пере недостатка здесь нет.

— Пиши с красной строки: «Через пришедших с Курил со островов и с Лопатки, также и с Авачи, людей известился я, что там великое трясение земли было, которое во всех помянутых местах началося в одно время». От него и у нас коленки подгибались на кошке. Помнишь, Осип?

Аргунов остановил бег пера, перекрестился, заново и задним числом страшась пережитого на косе.

— До гроба тех ужастей не забыть.

Но вот и землетрясение описано, других новостей нет. И неизвестно, когда и как переслать рапорт и письма в Якутск.

— Чернила вышли, — сообщил Аргунов. — Цельный штоф извели.

— Разведи новые, купоросных орешков у нас в избытке. Дай-ка репорт.

Крашенинников внимательно прочел его и заверил подписью:

Студент Степан Крашенинников.
В Большерецком остроге. Ноября 14 дня 1737 году.

Правитель канцелярии, дьяк Андрей Шергин возмущался:

— Три недели, как объявился сей ученый диявол, а житья от него никакого. Что ни день — требования свои в нос сует!

Крашенинников подавал в приказную избу письменные прошения не из пристрастия к бумагам. За годы работы в Сибири понял: устные обращения — глас вопиющего в пустыне. От бумаги же не отвертеться, ее не «запамятовать», да еще когда ссылаются на царский указ.

Только и Шергин был стреляный воробей.

— Со всею душой и удовольствием, господин студент. А где изыскать? Вот когда зимники откроются, снежные пути, а еще вернее — по весне, когда реки потекут! Ныне ни то ни се: болота не замерзли, по рекам шуга идет...

Ну, а в бумажной казуистике состязаться студенту с прожженным крючкотвором-канцеляристом, что месячному щенку против медведя идти. Когда желание отсутствует, всякая причина для отказа сыщется.

При всем при том рвение и страсть в порученном деле, проявляемые студентом, дьяк не мог не отметить и даже грозил своим подчиненным:

— Вот отдам тебя, ленивца, академику, он из тебя душу вынет! Денно и нощно заставит перо в чернильницу макать!

Осип Аргунов строчил с утра до ночи. Перебеливал черновые записи Крашенинникова, снимал копии с документов, выдаваемых на срок из приказной избы. Угроза Шергина воздействовала и потому, что служивого Ивана студент уже требовал заменить по причине худого письма. Дьяк, конечно, знал, от кого избавиться. Почерк Ивана невозможен для прочтения.

— Где ж их, каллиграфов, сыскать, господин студент! — сокрушался Андрей Шергин, щуря подслеповатые глаза с белыми ресницами. — Грамотеев тут — на пальцах считать, одной руки хватит. В остальном же Иван мужичишко тихий, угодливый.

— Мне не угодник — работник надобен. — И Крашенинников шагнул к двери в горницу.

Шергин поспешно загородил дорогу.

— Их высокоблагородие отдыхают еще. Не велено тревожить.

Взял осторожно и ласково студента под локоть, отвел подальше от комнаты подполковника Мерлина.

— Что по пустякам их высокоблагородие беспокоить, сами разберемся. Не нынче, так завтра человека подыщем вам. Есть у меня один на примете. Кудесник, не писец! Такие завитушки выводит, кружева плетет — загляденье. К тому же понятлив, толков, фамилия ему — Плишкин. Очень довольны будете. Лучшего каллиграфа во всей Камчатке нет!

Он так хвалил Плишкина, что Крашенинников заподозрил подвох: дьяк неспроста и не по доброте отдает такого человека.

Шергин, расплывшись в угодливой улыбке так, что белые ресницы совсем укрыли хитрые жуликоватые глаза, произнес со вздохом:

— Повезло вам, ох повезло! — Многозначительно кивнул на дверь горницы, прошелестел: — Кабы не озлобил Плишкин его высокоблагородие, не отпустил бы вовек.

— Чем же он неудовольствие к себе вызвал?

— Сам не ведаю, а только велено убрать с глаз долой. Так что сегодня же пришлю, не сомневайтесь.

Обещание Шергин сдержал и, кажется, не наврал о способностях Степана Плишкина. Умен, грамотен, не писец, а художник. Видом, правда, не очень чтоб. Лицо припухшее, вислый нос с лиловыми прожилками, тощее тело, ну да не для красы, в работники даден.

Пришла зима. В здешних, близких к морю, местах морозы были несильными, но реки заковали в лед, затвердили болота. Выпал и залег снег, неглубокий, однако вполне годный для санной езды. В остроги и селения разъехались сборщики за ясаком и податями.

Крашенинников отправил своего рассыльного на Авачу и Островную доставить оттуда знатоков камчатской старины, а заодно и приобрести за табак всякого зверя и птиц для чучел. Диковины надлежало высылать в Петербург, в императорскую кунсткамеру, музеум, основанную самим Петром Великим.

Рассыльного Евлампиева строго предупредили не делать никаких обид и разорений местным жителям.

Метеорологические наблюдения чинил Плишкин, обученный Крашенинниковым этому делу. Сам же он погрузился в изучение истории Камчатки.

СТАРОДАВНИЕ ДЕЛА



оздев невидящие глаза к потолку, седой как лунь Михайло Кобычев, некогда бравый казак, а ныне согбенный и немощный старец, тихо, нараспев, говорил:

— Кто первой из российских людей был на Камчатке, достоверно не могу сказать. По всем же изустным известиям сие приписывается торговому человеку Федоту Алексееву, по которого имени речка Никул, в Камчатку впадающая, народом прозывается Федотовщиною.

То, что рассказывал Кобычев, почти в точности совпадало с тем, что докладывал в «Отписке» Дежнев. Крашенинников мысленно похвалил себя, что догадался снять копию с удивительного документа и взять ее на Камчатку.

Холмогорец Федот Алексеевич Попов упоминался Дежневым неоднократно. Они вместе шли на семи кочах из устья Колымы Ледовитым океа-

ном, доплыли до Чукотского носа, высадились на берег. «На пристанище торгового человека Федота Алексеева Чухочьи люди на драке ранили, и того Федота со мною Семейкою на море розернесло без вести, и носило меня Семейку по морю после Покрова Богородицы всюду неволею, и выбросило на берег в передний конец за Анадыр реку...»

Коч Федота Попова тоже выбросило на сушу, возле устья Камчатки. Попов с семнадцатью товарищами поднялся по реке до впадения в нее Никули. Там и остановились.

— Зимовья два было, — сказал Кобычев, — сам видел... Ох-хо-хо, за какие грехи тяжкие господь меня бела света лишил!

Из невидящих глаз потекли слезы.

Дежнев писал, что в другом походе отбил у коряков жену Федота, которая сообщила, что Попов умер от цинги, остальные кто погиб, кто на лодках удрал.

— Словам той бабы веры быть не может. — Слепец помотал белой копной. — На Тигиле он голову сложил.

— По другую сторону Камчатки, у Пенжинского моря? — не сдержал удивления Крашенинников. — Так ли, Михайло Иванович?

— Так-так. Сказывают, на другое лето Федот опять в море пустился, обошел югом Камчатку и поднялся к Тигилу. Иноземцы, тамошние коряки, за богов их почитали, выше смертных, кои огнем небесным из своих палиц стрелять могут. И было так, пока один россиянин другого ножом не порешил. Тогда и осмелились коряки покончить со страшными гостями. Сами себе вред наносим, беду накликаем. Разве не сам же Володимер Атласов в собственной гибели повинен?

— Ну, его-то казаки убили, — сказал Крашенинников.

— А это без разницы, — убежденно возразил Кобычев. — Своих ли, чужих притеснять да грабить, обиду и несправедливость чинить, конец один. Терпенье людское не без границ. Потому и восстали мы против Атласова.

— Как, и ты в том участие принимал? Самого Атласова знал?

Первый вопрос Кобычев пропустил мимо, об Атласове же рассказал охотно:

— Большим человеком стать мог, кабы не разбойничья душа его!

О деяниях Атласова, подвигах его и преступлениях, Крашенинников читал в якутских архивных бумагах. Но тут — живой свидетель, современник знаменитого первопроходца и разбойника!

— Знавал я ево недолго, — со вздохом облегчения произнес Кобычев. — С июля одна тысяча семьсот седьмого, когда он вдругорядь на Камчатку прибыл...

Казачий пятидесятник Владимир Атласов в 1695 году был назначен приказчиком в Анадырский острог, что стоял у морского залива [1], между Чукотским и Камчатским полуостровами. Следующим летом направил он Луку Морозко с шестнадцатью казаками за ясашным сбором к опукским [2] корякам. Морозко же не ограничился этим, проник гораздо южнее, дошел почти до бассейна реки Камчатка. Удачливый поход подвигнул Атласова

[1] Берингово море, северо-западная часть Тихого океана.
[2] По реке Опука. Современное название — Апука.

лично возглавить большой отряд «для прииску новых землиц и приведения в подданство неясачных людей», проживающих в глубинах Камчатки.

В начале 1697 года шестьдесят служивых и промышленных людей из Анадыря и столько же юкагиров двинулись на оленях в дальнюю и опасную дорогу, в богатый и неведомый край.

Где ласкою, где боем приводил Атласов туземные племена под государеву руку. Нападая и обороняясь, терпя измену от юкагиров, отряд достиг реки Каланки.

— В точности сказать трудно, — продолжал Кобычев, — докуда дошел к югу Атласов. Реки с таким именем не знаю. Может, разумеется Игдыга, или, по-нашему, Озерная, что совместно с Большой в Пенжинское море впадает. А Каланкою могли ее наректи за то, что там морского бобра промышляют, коего в прежние времена звали каланом.

На обратном пути Атласов основал Верхний Камчатский острог и возвратился в Анадырь с богатейшей пушной добычей: восемьдесят сороков (три тысячи двести) соболей, два десятка каланьих шкур, двести лисьих, сиводушных и красных. Еще с полтысячи соболиных шкурок Атласов считал личной собственностью, как якобы вымененных на свои товары.

С ценной казной и добрыми вестями якутское начальство отправило Атласова в Москву. Там за службу и вновь открытые земли его пожаловали в казачьи головы. Велено ему было царским указом набрать в Сибири сотенный отряд и с пушками, барабанщиком, под полковым знаменем править Камчаткой. Туда он, однако, не скоро попал. Угодил в тюрьму.

По пути из Москвы Атласов ограбил на реке Верхняя Тунгуска купеческое судно, за что был судим и заточен в Якутске. Лишь через пять лет сняли с него цепи, восстановили в прежнем звании и для полного искупления вины отпустили на Камчатку. Тогда-то и увидел его впервые Михайло Кобычев.

— Человек он был, Атласов Володимер, в науках не очень сведущий, но зорок, приметлив и все на бумаге отмечал. Где как живут, что произрастает, в кого веруют. Характером же дерзостен, крут и жестокосердечен. Даже своих казаков в черном теле держал, наказывал безвинно. Своевольством и обидами довел он людей до крайности. Челобитные до Якутска не доходили, молитвы не облегчали положения. Тогда и решились на бунт. Сперва засадили Атласова в казенку, но оттуда он сбежал и укрылся в Нижнем Камчатском остроге. Там в генваре одна тысяча семьсот одиннадцатого и закололи ево. Царство ему небесное, злодею Володимеру Атласову.

— Какое же царство небесное злодею?

— Злодей злодеем, а все ж многое свершил для познания и овладения Камчатской землицей, — не обеляя Атласова от черных деяний, но отдавая ему должное, твердо произнес Кобычев.

Крашенинников подготовил новую тетрадку для записей.

— Михайло Иванович, припомни подробности о заговоре против Атласова, вообще о бунтах камчатских. Знаешь ведь.

— Отчего не знать — не помнить. Про найпоследний бунт, одна тысяча семьсот тридцать первого, достоверностей сказать не могу. Только ухом наслышан, не видел в ту пору уже ничего. Стародавние же дела будто пред глазами стоят, как вчера было...

Из долгих многодневных бесед с Кобычевым, другими стариками, с князьком Тырылкой, которого привез Петр Евлантьев, из архивных свидетельств сложилась постепенно история покорения Камчатки, бывших в разные времена бунтах и изменах, возник образ Атласова, сильного и слабого в своей противоречивости человека. Кобычев же повествовал об Атласове народную легенду, в которой быль и выдумка слились воедино.

...Из красного зева печи, где калились клещи, несло приторным запахом горелой крови и железа. «Лучше смерть принять, нежели опять мучения терпеть, — в смраде и страхе подумал Атласов. — Повинюсь, покаюсь в грехе за разбой и самочинство». Но тут скрипнула низкая дверь, в застенок вошел рослый человек в голландской куртке и высоких, за колени, сапогах чужеземной работы, подступил к дыбе, обжег Атласова бешеными глазами.

«Вор! Сволочь! — задыхаясь от гнева, закричал Петр. Атласов ни разу вживе не видел царя, но сразу признал его. Щека царя дергалась, а с нею вместе и подбритые кошачьи усы. — На китайский товар польстился, своего же! Русского купца ограбил!»

Петр замахнулся палкой, но отбросил ее со стуком, произнес устало, сожалеючи: «Ду-рак».

«Истинно, что дурак, — жалобно подхватил Атласов. — Несметные камчатские богатства препоручил ты мне, государь, а я!..» Царь остановил его речь: «Молчи. За разбой на реке ты уже получил свое. Пытки вынес, в тюрьме отсидел. Вдругорядь, можно сказать, родился. Выпустили тебя, черта, опять власть дали, а как ты распорядился ею? На что потратил недюжинный ум свой и волю? Тебе что сказано было? Даем тебе прежние преимущества в надежде, что искупишь вину свою крайне ревностным приисканием новых земель и неясашных людей. Наказали никому обид и налогов не чинить, строгости против иноземцев не употреблять, когда можно лаской обойтись. И что людей своих от беззакония удерживать должон, а ежели сам нарушишь, смертная казнь тебе предписана. Так было?» — «Так, государь Петр Алексеич», — спекшимися губами промолвил Атласов.

Усы царя опять задергались, лик сделался страшным. «А ты?! Еще дорогою на Камчатку служивых мордовать стал, на место прибывши, вконец осатанел. Своих же, своих! Съестных припасов лишал, сумы добром набивал, всю подарочную казну в собственную пользу употребил! Подбивал камчадалов на убийство неугодных тебе казаков, самолично заколол насмерть Данилу Беляева, да еще похвалялся, что по моему царскому указу не только батогами и кнутом бить намерен, но я тебе, вору, разбойнику, сволочи, душегубу, ничто в вину не поставлю, хотя ты и прирубишь всех! Так?!» — «Так», — чуть слышно прошептал Атласов.

Под ногу Петру попалась его же дубина. Откинул ее со стуком.

«Всех ты против себя восстановил, дурак, — с презрением выдохнул царь. — И чего добился? Пожитки твои в казну обрали. А награбить успел вдосталь. Лаком, жаден ты сверх всякой меры, бывший казачий голова и приказчик Камчатки!»

Атласов осмелился возразить, что покамест должности своей он никому не передал, хотя после побега из казенки и утратил власть, живет в Нижнем остроге тихо-мирно.

«Мирно?! — вскричал царь. — Да знаешь ли ты, что не всех жалобщиков перехватил, что челобитные на тебя дошли до Якутска и Москвы? Вослед тебе тотчас, в том же году, вместо тебя приказчиком направлен боярский сын Петр Чириков с пятидесятником, четырьмя десятниками и пятьюдесятетьми рядовыми. Спустя два года и другой пятидесятник, Осип Миронов, с отрядом на Камчатку выехал. Враз три приказчика на полуострове объявились!»

«Два...» — мрачно уточнил Атласов.

«Не перечь! — взвился царь. — Без тебя знаю, что было. И что будет! Миронова подло убили, Чирикову казнь отсрочили, помолиться дали, но и ему не жить. Как и тебе».

Атласов вскинул испуганные глаза на Петра.

«Не смей глазеть на меня! Да, близок, скор конец твой бесславный. Казачья дума из семи человек приговор тебе вынесла». — «Какая дума, кто?» — холодея, спросил Атласов. «Анцыфоров Данила, Козыревский Иван, Березин Харитон, который Миронова... — Царь хрипло засмеялся. — Березина потом грядущий приказчик Колесов повесит, Анцыфорова же камчадалы побьют до смерти». — «А остальные кто, великий государь? Ты сказал семеро...»

Петр откинул носком сапога палку, усмехнулся, кошачьи усы перекосились: «Сам узнаешь. Думу невдолге в действие произведут. За протокою Камчатки-реки, под острогом, где ты ныне спишь под собольим одеялом, атласом подбитым, тайным лагерем встали уже твои недруги».

Атласов лишился речи, а царь, стуча палкой, вышел из подвала.

Атласов проснулся в холодном поту, скинул с головы жаркое одеяло. Кто-то тихо, заговорщически стучал в дверь. Она была заперта на щеколду и подперта толстым колом.

Схватив палаш и пистоль, Атласов неслышно приблизился к входу в горницу. В тяжелой, с похмелья голове ворочались чугунные ядра мыслей. Он еще не проснулся до конца, страшный сон мутил явь.

— Кто? — осевшим до шепота голосом спросил.

— Свои, — также шепотом ответили из-за дубовой перегородки.

— Кто — свои? — Атласов взвел курок над кремнем.

— Шибанко Григорий да Посников Алексей.

— Чего надо? — грубо спросил Атласов. Этих он не боялся, чей верх, за тем и пойдут, а он, Владимир Атласов, покамест никем по закону не низложен из приказчиков и казачьего начальства.

— Отвори, Володимер, с грамоткой к тебе от Анцыфорова.

— Ха! — сразу возрадовался Атласов. — Сам убоялся на поклон прийти, вас наперед послал!

— Точно так, атаман...

— Не атаман я, а приказчик и ваш казачий голова!

— Прости на неверном слове, — повинился Шибанко.

— Силой нас идти с грамоткой принудили, — добавил жалостливо Посников.

Атласов отложил палаш, мешал дверь отворить, запоры снимать. Он сразу же отскочил от входа и наставил пистоль.

— Входи! Без оружья только! Иначе — сами знаете, рука не дрогнет.

Послышался стук и бряканье ружей и сабель.

— Можно теперь? — робко спросили из-за двери.

— Нет, сперва огонь задую.

На дощатом столике горела толстая сальная свеча. Атласов не погасил ее, а перенес на лавку, к двери, сам отступил в тень.

— Входи.

Два казака в заиндевелых шапках и бедных тулупах смиренно переступили порожек. Низко поклонились, чуть не касаясь закуржавевшими бородами медвежьей шкуры, разостланной на полу.

— Давай грамотку! — Атласов переложил пистоль в левую руку.

Посников остался у двери, а Шибанко вытащил из-за ворота пакет, запечатанный ниткой и воском, почтительно протянул Атласову. Тот присел на лежанку, ближе к окну. Ночь была лунная, но не разобрать при таком свете.

— Подай огонь, Григорий.

— Слушаюсь. — Шибанко взял с лавки подсвечник и услужливо поднял над головой.

— Ближе, мне дай, — велел Атласов и, отложив на колени пистоль, протянул левую руку за свечой. — Теперь у двери постой.

— Слушаюсь. — Шибанко повернулся спиной, но тут же, когда Атласов уже не чаял подвоха, крутанулся назад и молниеносным ударом нечаянно вонзил в грудь Владимира двухвершковый ножик.

— О-ох, — протяжно выдохнул Атласов. Из рук выпали ложная грамотка и подсвечник.

Шибанко на лету поймал горящую свечу.

— Все...

Посников трижды осенил себя крестом.

— Грех какой, — дрогнувшим голосом произнес.

Атласов опять увидел Петра. Царь смотрел на него завораживающим немигающим взглядом. «Прости, великий государь...» — хотел в последний раз покаяться Атласов, но царь жестко сказал: «Дурак».

— Дурак, — хмуро отозвался Шибанко. — За свои злодейства ему все равно не сносить головы.

Кобычев прервал рассказ.

Из незрячих глаз по изрытому оспинами, морщинистому лицу скатывались слезы. Они исчезали в густой белой чаще бороды и усов, как светлая капель в сугробе.

— «Мне отмщение, и аз воздам»... Шибанко Григорию на другой год палач голову отрубил. Многие потом животом поплатились.

— А ты-то сам какое участие имел в том деле? — спросил Крашенинников.

Кобычев не сразу отозвался.

— Бунтовщики меня неволею к себе в партию взяли. Потому и прощен был. Многие же... — Кобычев вконец расстроился и замолчал.

ИЗ ПОСЛАННОГО ПРИ РАПОРТЕ СТУДЕНТА СТЕПАНА КРАШЕНИННИКОВА ОПИСАНИЯ «О ЗАВОЕВАНИИ КАМЧАТСКОЙ ЗЕМЛИЦЫ, О БЫВШИХ В РАЗНЫЕ ВРЕМЕНА ОТ ИНОЗЕМЦОВ ИЗМЕНАХ И О БУНТАХ СЛУЖИВЫХ ЛЮДЕЙ»

...в то время при Володимере Атласове никово не случилось, и так оным убийцам к прочим бунтовщикам без вреда уйтить удалося. ...А чтоб за вышеописанное убийство от смертной казни освободиться, ...собравшись до 75 человек, пошли в марте месяце 1710 году на Большую реку для построения вновь там острога и для приведения по-прежнему в ясашный платеж большерецких изменников...

Мая 22 дня приплыло под новопостроенный острог сверху и снизу Большой реки великое множество батов, а в них... иноземцов числом около трех тысяч...

...бились на копьях до самого вечера и иноземцов множество побили, а большая часть их потонула в Большой реке... оставшиеся... без бою покорились и стали ясак платить по-прежнему.

Авачинские иноземцы, уведав о походе к себе Данила Анцыфорова, зделали к прибытию его крепкий балаган и потайную дверь, ... и как он, Анцыфоров, к ним приехал, то они его приняли честно[1] *и обещались ясак платить... Анцыфоров со всеми служивыми выбрал себе оный балаган, который иноземцы следующей ночи зажгли...*

С самого взятия Камчатки по 1733 или 1734 год камчадалы каждый платил от себя в казну ее императорского величества одного соболя или лисицу, да четыре чащины, то есть четыре соболя или лисицы ясашным зборщикам. С них же летом и осенью збирали юколу, гусей, траву сладкую, кипрей, нерпичьи кожи и прочее, где какой промысел бывает, которое они с прикащиками по себе делили... Камчадалам разорение немалое было, и они ясашных зборщиков, нестерпя обид, часто побивали, а в 1728 году вздумали... всех перевесть, только ждали к тому удобного времени.

---

[1] С честью, с почетом.





ГЛАВА ТРЕТЬЯ

В СТРАНЕ ИТЕЛЬМЕНОВ



айор Дмитрий Иванович Павлуцкий за неимением другого свободного жилья обитал в казенной избе.

— Вот, Степан Петрович — посмеивался над собой майор, — будто присяжный человек, целовальник, при хранилище состою, ясашную казну оберегаю.

Через бревенчатую стену от майорского жилья помещался склад мягкой рухляди и другого государева имущества.

— Будь на вашем месте, — в тон пошутил Крашенинников, — выжига, как Петриловский, первой же ночью воровской ход сделал бы.

— Ну, этакий не мелочился бы, все разом прикарманил. — Павлуцкий, оставив шутливость, заговорил с гневом и возмущением: — Ненасытные, не имеющие меры в граблении, выжиги и мучители один вред Камчатке и всей России приносят. Особо же, когда злодей и вор у власти стоит. Дурной пример, что черная оспа вокруг расходится.

— Себе и другим в погибель.

— Да, что поразительно, так это небоязнь возмездия! — подхватил майор. — Петр Великий, престолонаследники его не единожды особые указы объявляли, воспрещая под страхом смертной казни чинить обиды и разорение местным народам. И сколь разбойников головой поплатились за попрание государевых законов, а все ж другие опять за старое. Оттого и последнее возмущение произошло.

Крашенинников осторожно спросил:

— Некоторые связывают бунт с пребыванием здесь экспедиции. Так ли было?

— Враки, — решительно отверг Павлуцкий. — Людей экспедиции я сам знал, собирался на «Гаврииле» к Чукоцкому носу со штурманом Генсом. И к тому времени капитан Беринг со своими людьми уже два года как отбыл с Камчатки. Главные виновники нестерпимых обид и разорений были Новгородов, Сапожников, Штинников, Родихин. Следовало и Михайлу Шехурдина повесить, да своевременное покаяние его спасло.

В именном Указе от мая девятого дня тридцать третьего года прямо говорилось, что первою причиной бунта были злые разорения дикого народа, которому в такой дальности некому бить челом, а может, и не знают как. Суд по справедливости и воздал численно камчадалам меньше, нежели нашим служивым. А что верно сделали, тому нынешнее положение на Камчатке подтверждением служит. Тихо стало, мирно. Ясак платят токмо по одному зверю с человека, других сборов не знают и старых долгов требовать казакам не велено. А суд над камчадалами вершат, кроме дел криминальных, их же тойоны.

Все, кого в холопах держали, отпущены на волю, и впредь кабалить их запрещено накрепко.

Майор явно гордился участием в наведении порядка. Он не завышал собственные заслуги, хотя идиллическое представление его о восстановленной справедливости и воцарившемся на Камчатке покое было преувеличено.

— Так что, дорогой Степан Петрович, — опять весело заключил Павлуцкий, — можете отправляться в свои поездки безо всякого опасения. Здесь-то, в остроге, все до тонкости, верно, в дневники записали, всему реестры составили, а Тырылку-камчадала и о вере иноземческой выпытывали?

— Кое-что удалось сделать.

— Кое-что! Скромник вы и труженик великий, Степан Петрович.

— Захваливаете вы меня, Дмитрий Иванович — засмущался Крашенинников.

— Нисколечко. Гордился бы таким сыном, — серьезно сказал майор и о чем-то задумался, машинально теребя белый галстук. На обветренном лице с жесткими морщинами заблуждала грустная улыбка.

Семья Павлуцкого жила в Якутске, сам же он бывал последние девять лет дома лишь наездами. То к чукчам, то на Камчатку снаряжали.

— Родня моя вся в Тобольске, — опять заговорил майор. — Одна племянница с нами живет, Степанида. Мила, шустра и умом не обижена. И вот спрашивает: «Отчего вы, дядюшка, все воюете? Нешто добром сговориться нельзя, бескровно, без жестокости?» А я и отвечаю: «Век такой, лютый, жестокий». Возражает: «Нет, милый дядюшка, не век, а люди жестокосердечны». Откуда в ней такие суждения? И четырнадцати лет не исполнилось еще...

Коротко постучавшись, вошел долговязый денщик. Одет в городское, в красных чулках.

— Обед готов, вашблагородие.

— Ну так и несите, да гостю миску не забудь поставить. В самый раз трапезничать. — Подмигнул светлым дерзким глазом Крашенинникову. — Так ведь?

— Н-не знаю. Спасибо, я пойду... Меня у Рыжова обед ждет.

Майор жестом выслал денщика, хмуро сдвинул кустистые брови.

— Никаких средств на частной квартире жить не хватит. Тем паче у Тимофея. Эх, Степан Петрович, голубая, чистая душа! От настырности вашей по служебной части не только дьяк, уже и подполковник стонет. Что до личных нужд — младенец беспомощный, всяк вокруг пальца обведет. Жениться надумаете, такую девку берите, чтоб и за вас, мужика, постоять могла. Шуструю, бойкую, вон как наша Степанида. — Рассмеялся вдруг от шальной и нежданной мысли: — А что, сведет нас господь когда-нибудь в Якутске, непременно познакомлю. Возьмете в сваты?

— С радостью, — в тон веселому предложению ответил Крашенинников.

Денщик Иван и повар принесли обед. Иван в белых перчатках, с подносом. Повар горячую дужку котла обнаженной рукой держит.

Майор покачал головой.

— Пальцы жжет, а перчатки натянуть не заставишь. Прапорщиков кашевар и тот в перчатках служит, майоров же как у рядового казака.

Повар привычно оправдался:

— Зато кулинарию ево один прапорщик и способен проглотить. Камчадалы собак вкуснее кормят.

В этом повар майора был прав, сам он готовил превосходно. Обед удался на славу, и самым главным кушаньем был свежий каравай.

Тимофей Рыжов скупился на хлеб, придерживал муку к голодной весне. Русские камчатские старожилы спокойно обходились без хлеба, новички к рыбному рациону привыкали трудно.

«Нужда всему научит, господин студент, — с полным основанием говорил Рыжов. — И мы поперваx страдали без мучицы, потом обвыкли. По-камчадальски жить приспособились. Ну, и они от нас многое перенимают. Как же иначе, взаимное проникновение. А паки всего жизнь заставляет и природа здешняя требует».

— Это верно, — подтвердил Павлуцкий. — Не притерпишься, не притрешься — пропадешь. Сколь на моей памяти в Камчатском и Чукотском краях смертей было — не пересказать. И не от копий и стрел иноземческих, от собственной промашки, от лихачества, лени, бездумья, неподготовленности. Тут всяческие несерьезности и шутки с природой прямиком ведут к напрасной погибели. Про это всегда помнить надо. Особливо в дальних походах. Вы вот всю Камчатку задумали изъездить вдоль и поперек. Хорошее, нужное дело. Ведь по сию пору никто из нас не знает толком эту страну. Побережье еще туда-сюда, обплавали, на морские карты нанесли, главные речные устья обозначили. А что в середке? Горы без цифр и названий рисуем, два-три острога и с десяток камчадальских селений надписываем. Великую реку Камчатку и ту на точном плане не имеем.

— Камчатку-реку я непременно исследую, от истока до впадения в море, — уверенно сказал Крашенинников. Рот его плотно сжался, и нижняя губа упрямо выдвинулась вперед.

— Добро, как свершится. И все, что напланировали, во благо общее пойдет. Только мой вам совет, Степан Петрович, не наскоком, не штурмом дело делайте. И начинайте с малого, с недальнего путешествия.

— Я и хочу с малого, скромного. Обследую горячие ключи на Баане, оттуда поеду к Аваче. Столько наслышан о знаменитой сопке, что не терпится своими глазами увидеть и описать подробно.

— Ничего себе с малого, — улыбнулся Павлуцкий. — До Баани-то близко по местным меркам, а сопка Авачинская... Через горный хребет к ней добираться.

— Доберусь, Дмитрий Иванович. Если поможете, конечно...

— Экипируем в лучшем виде, это возьму на себя. С Шергиным у вас, знаю, не очень отношения заладились. Он, конечно, шельма, но тоже не все от его власти и хотения зависит. Не к тому говорю, чтоб сочувствие к нему вызвать или вам уступчивость навязать. Нет, без настырности, без требований тут и на шаг не сдвинешься. Так что напирайте на Шергина, трясите его. Долбите. — Прибавил с улыбкой: — Если позволите, перескажу жалобу на вас Шергина. «Студент, — говорит, — своим орлиным носом любую плешь до мозгов продолбит!» — Майор рассмеялся. — Не обижайтесь только на меня, Степан Петрович, не мог не рассказать.

— Какая может быть обида, — заулыбался и Крашенинников. — Сомнительно лишь, что до мозгов достучусь...

Павлуцкий сделался серьезным:

— Недооцениваете вы Шергина. Мужик он не шибко образованный, не мудрый, но хитрый и ушлый беспредельно.

Под новый, 1738 год Крашенинников отослал от себя Михайлу Кобычева, отпустил на Авачу-реку иноземца Тырылку, проэкзаменовал Плишкина в его познаниях метеорологической обсервации, в способности продолжать самостоятельно наблюдения и измерения. И целиком отдался подготовке к первой поездке в глубь Камчатки.

Майор Павлуцкий, как и обещал, помог истребовать ездовые упряжки с санями. Каюры, погонщики собак, подобраны такие, что могли служить и вожами, и проводниками. Загвоздку щепетильный Крашенинников усмотрел в расчетах с ними. Каюры дорогу знали не повёрстно, считали по дневным переездам и ночевкам. Как такую меру соотнести с расценками экспедиционных инструкций?

Шергин принял хитрое решение:

— Пишите, господин студент, справки, а мы уж тут сами разберемся.

Не было точных сведений и об острожках, которые встретятся им на пути.

— Вот вы и составьте нам полный реестр, господин студент. Где сколько юрт и балаганов, сколько там ясашных людей и кто их князек. Очень вам благодарны будем, господин студент!

Подьячий и писцы хихикнули.

— Ну, вы! — оборвал Шергин. — Давно сказано было про все это знать. Так лень заела, на других уповаете!

Канцеляристы мгновенно затихли, усердно застрочили перьями.

— Так что езжайте, господин студент. С богом! — Добрым голосом напутствовал Шергин, а сам подумал с облегчением: «Хоть на сколько-то избавлюсь от тебя, передохну».

КЕНИЛЛЯ



Выехать удалось только семнадцатого января и только в пять часов после полудня. Издергавшись в хлопотах, истомленный бесконечными проволочками Крашенинников просто не рискнул дожидаться следующего утра. Вдруг новая задержка получится. Десять, шесть верст отъехать от Большерецка, но начать наконец путешествие.

На передних нартах устроились люди, за ними везли поклажу: продовольствие, корм для собак, всякие научные вещи.

Помимо каюров маленькую экспедицию составили вместе с Крашенинниковым верный Осип Аргунов, веселый молодец, сын большереченского казака, толмач Михайло Лепихин и двое служивых, в помощь и для обережения. Без охраны отдаляться от острога все-таки боязно.

Каюр головной нарты взмахнул ошталом. На конце длинной кривой палки звякнули, затарахтели бубенчики и погремушки. Негромким гортанным голосом подал команду:

— Тах-тах.

Мягкие медвежьи ошейники вдавились в густую шерсть собак, натянулись лямки, распрямился ременный потяг, сани дернулись и заскользили по твердому насту.

— Тах-тах!

Крашенинников впервые ехал на легких камчатских нартах. Они рознились от сибирских. На длинных, почти трехаршинных полозьях шириною в полтора вершка [1] и толщиною с мизинец, с некруто выгнутыми носками, стояли торчком копылья, распорные дуги из каменной березы. К ним приторочен полутоинаоаршинный лоток, решетка из деревянных ребрышек и тонких ремешков.

Сани были узкими, в два вершка, сиденье высоко, без сноровки не всякому удержаться. К тому же ехать надо боком, свесив ноги справа. Только женщинам и детям разрешалось лежать в лотке или оседлывать его. Для мужчин такое считалось зазорным.

Четверки мохнатых собак весело неслись по снежной дороге. Каюры бежали рядом, лишь изредка и ненадолго присаживались на край решетки. Собаками управляли голосом и ошталом. Стукнут ошталом в передний копыл, побороздят ногами, скомандуют: «Хна, хна, хна!» И собаки подадутся вправо.

На ухабах и раскатах, при резких поворотах ездоки, потеряв равновесие, вываливались из саней. Тут уж не зевай, не упусти нарты! Умчат ее собачки до самого дома, а тебе пеши топать.

— Тах-тах!

Белые, серые, черные лайки с загнутыми кверху пушистыми хвостами дружно несли санный обоз навстречу ночи.

Уже совсем стемнело и звезды в небе замерцали, когда подкатили к

---

[1] 1 вершок равен 4,44 сантиметра.

Сикушкину острожку. На острове, посреди замерзшей Большой реки, стояло маленькое зимовье служивого и две земляные юрты ительменов.

Тут и заночевали, а рано поутру двинулись дальше.

Дорога теперь пролегала по тундре, неспокойная, по кочкам. Почти сорок верст нещадно тряслись, пока не спустились опять на речной лед. Лишь к вечеру дотянули до Каликина острожка. Здесь русских не было. В двух землянках и четырех летних балаганах жили охотники с семьями, предводительствовал тойон Апача, новокрещенный Василий..

Апача-Василий понимал русский, общаться с ним можно было и без помощи толмача, в затруднительных же случаях Крашенинникову помогал составленный им вокабулярий. Вот только произносить чужие слова было не просто. Говорят ительмены тихо, протяжно, сопровождают речь мимикой и жестами.

— Сдраасс, — поздоровался тойон.

Из опушенного белым собачьим мехом капюшона выглядывало приплюснутое, скуластое лицо с черными щелочками глаз под короткими, редкими бровями; толстые губы улыбчиво растянуты.

Оленья кухлянка ниже колен укорачивала и без того невысокую коренастую фигуру ительмена. В напряженной позе и натянутой улыбке присутствовала настороженность.

— Ясак весь плати. Тжи соболь, шесс лиссиса! — Сразу доложил тойон.

Как все ительмены, вместо «р» он выговаривал «ж». Число шкурок повторил на пальцах: три и шесть.

Каликин острожек, Крашенинников знал о том, был одним из самых малочисленных: всего-навсего девять ясашных душ мужиков. Остальные — женщины, дети. Апача, отец, был главой рода.

Михайло Лепихин успокоил тойона:

— Мы не за тем. Переночуем и дальше айда.

Крашенинников, заглядывая в тетрадку, слепил фразу из камчадальских слов «завтра», «рано», «ехать на собаках», «вперед»:

— *Бокуаг мокочуш ушашишь коазаку*. А сейчас поесть и спать. — Отыскал слова в своем вокабулярии. — *Дангу чихышкик тынгыкушик*.

Апача-Василий радостно закивал и поправил русского:

— *Тынгыкушик* — сплю. — Он ткнул себя в грудь и зажмурился. Затем обвел рукой всех, обобщая: — Спать, *тунгукулакшк*.

— Понял, понял. Не я один, вся команда спать будет. Заночуем, *тунгукулакшк*.

Тойон предложил любую землянку для гостей, но по совету Лепихина выбрали холодный балаган.

— Вольготнее и спокойней.

— Конечно, — согласился Крашенинников. — До утра лишь.

Прожить в острожке пришлось, однако, дольше. Проверяя инструменты, обнаружили, что термометр от немилосердной тряски разбился. Ехать к теплым водам, не имея возможности замерять температуру, — зряшное дело. Саламатов отправился обратно в Большерецк за новым прибором. Крашенинников написал, чтоб упаковали термометр в мягкую бумагу и суму для него полностью набили хлопчаткой, больше чтоб не рисковать.

— Несчастье какое, — никак не мог успокоиться Крашенинников. — Вот уж несчастье.

Ночь провели в балагане, между землей и небом. На девяти столбах

высотою в два с половиной человеческих роста помещался островерхий шатер. Помост из кольев и травы служил полом. Летом здесь, наверное, было уютно и прохладно, сейчас, зимой, хотя почти и не продувало, но мороз пробирал до костей.

Под крышей висели связки лососей. Балаган потому и строился на высоких подпорах, чтоб никакой зверь не сумел добраться до съестных припасов, для того и лестницы — бревна с зарубками — убирались.

Крашенинников спал под медвежьей шкурой. Запахи пропотевшей шерсти и вяленой рыбы вызвали неприятный сон. Будто Степан, как библейский Иона, очутился в чреве кита.

Там уже набилось много народа, почему-то только женщины. Они визжали и кричали от ужаса, да так истошно и громко, что Крашенинников проснулся и рывком поднялся с меховой постели.

Голоса женщин сделались еще громче, звучали въяве. Вслед за Крашенинниковым повскакивали в тревоге и остальные. Схватились за оружие. Лепихин с пистолем наготове осторожно подполз к выходу, приоткрыл дверку и выглянул наружу.

Вовсю светила полная луна. То, что Михайло увидел внизу, на утоптанной снежной площадке между балаганом и ближней земляной юртой, вызвало смех.

— Жениха бьют!

Крашенинников подполз на коленках к двери. Перед ним открылось поле боя. Не меньше десяти женщин и девушек с криком и визгом терзали молодого ительмена. Кухлянка на нем была изорвана во многих местах. Несчастного тащили за волосы, царапали, колотили, пинали. Он отчаянно отбивался и все норовил вырваться и дотянуться до странного, неподвижно лежащего свертка.

— Невеста, невеста-то и шевельнуться не может, — подсказал хохочущий Лепихин. — Закутана, запеленута в сто одежек.

Крашенинников ничего не понимал.

— За что его? До смерти ведь забьют.

— Не наше это дело. Такое у них сватовство. Да-а, влипнул женишок!

Между тем из второй землянки спешили на помощь другие охранительницы. Жених, завидя новую рать, счел благоразумным спасаться бегством. Вслед ему кричали, улюлюкали, победно вопили. Связанную невесту подняли на руки и понесли как живую куклу в юрту.

Все опустело, восстановилась тишина. Лепихин рассказал об обряде сватовства у ительменов. Все равно не уснуть.

— Обряд у них схож с обычаем других некоторых северных народностей и для всех един. Сперва жених у невестиных родителей трудится, показывает, что́ он за охотник-работник. Старается не день, не месяц, а год или еще дольше. Пока молодые не ознакомятся, а будущие тесть да теща не скажут свое согласие. Тут и начинается главная трудность.

Лепихин замолчал, ждал вопросов.

— Калым платить, — подсказал Аргунов. — У татар такое заведено.

— Нет, — отверг ложную догадку рассказчик. — Камчадалы невест не выкупают.

— Украсть! — уверенно предположил служивый Евлампиев. — Случается, и чужих жен силой отнимают.

— Бывает, — согласился Лепихин. — Но против закона. Всяческое воровство у них до смерти карается.

— Так что же?

— Обнять невесту надо, — значительным голосом объявил Лепихин.

— Всего-то? — разочарованно протянул Аргунов.

— Что, проще простого? Не-ет, друг, — торжествующе протянул толмач. — Девку в три хоньбы, в оленьи меховые штаны с душегрейкой обрядят. Хоньбы, они с завязками, ниже колен перетягиваются и по вороту. А сверх хоньб напутаны сети да ремни. Девка, что статуя, беззащитна, куколка недвижная. И стерегут ее охранительницы-бабы пуще наших караульных солдат. Попробуй обними! Сами видели, как отмутузили женишка. Небось домой ушел царапины залечивать. Теперь ему опять с изначала дело вести, если, конечно, не передумает...

Лепихин аппетитно зевнул. И остальных на сон повело.

Не успели веки смежить — опять визг и крик. Снова сгрудились у двери.

— Неужто вернулся? — удивился настойчивости жениха Аргунов.

— Э, нет, — сказал Лепихин. — Жених не скоро очухается после ночной взбучки. Это победительницы всему острожку про случившееся рассказывают.

На заснеженной площадке происходило настоящее театральное действо. Ночная баталия воспроизводилась со всеми подробностями. Невеста, уже одетая, как и другие, в кухлянку и торбаса, освобожденная за ненадобностью от сетей и ременных пут, играла самое себя. Высокая, стройная, даже свободная кухлянка не скрывала тонкую талию, гибкую фигуру. В роли жениха выступала седовласая старуха. Она так искусно вопила и корчилась, словно ее и в самом деле нещадно терзали. Зрелище было уморительно, зрители покатывались от смеха и удовольствия. Но вот «жених», скособочившись и припадая на ногу, кинулся наутек, и актерки присоединились к всеобщему веселью. Крашенинников заметил, что чаще других звучит слово «Кенилля»

— Имя у ней такое, у невесты, — пояснил Лепихин, неотрывно глядя на юную ительменку.

Представление шло долго, уже и солнце взошло, можно было разглядеть лица. Кенилля и впрямь была хороша: смуглолицая, иссиня-черные, вороные волосы, заплетенные в тугие косички, струились поверх откинутого мехового капюшона.

Лепихин восхищенно заахал:

— Краса девка! И статью, и ликом удалась. Ах, рыбка курносенькая, бровки соболиные, зубки сахарные! — Позвал по-ительменски: — Погляди сюда, красавица!

Кенилля смело приблизилась, подняла глаза. Необычайно блестящие, цвета темно-коричневой яшмы, они выражали живое и радостное изумление. Крайнюю удивленность подчеркивали и брови: одна — стрельчатая, другая — приподнятая, «галочкой», с едва заметной просечкой в острие излома. Несимметричность, неправильность эта была неизъяснимо прелестна.

«Так смотрят на мир дети и влюбленные», — подумал Степан. В его сердце возникла горячая нежность.

И Кениллю, очевидно, что-то поразило в нем. Не отвела взор, заулыбалась, светло и обрадованно, точно давно знала или ждала его. И Степан узнавающе улыбнулся, приветствовал:

— Доброе утро.

Лепихин, раздосадованный, что не он, а студент завладел вниманием девушки, с нарочитым безразличием сказал:

— У них не принято здороваться. Камчадалы без всяких встречаются хоть через год.

— Брыхтатын! — закричала вдруг Кенилля. Лицо ее исказила гримаса ужаса. Отскочила от балагана, укрылась в толпе охранительниц.

Крашенинников смутился.

— Ох, и притвора! — с восхищением воскликнул Лепихин. — Чистая лицедейка! По ихнему «брыхтатын» — «огненный человек». Первых русских на Камчатке так только и звали. Думали, не железные палицы, а сами люди дышат огнем и дымом.

— Брыхтатын! — завопил женский хор и грозно двинулся к балагану.

— Чего доброго, на землю стащат! — включаясь в игру, изобразил испуг Лепихин.

У балагана женская рать внезапно рассыпалась, оставив перед лестницей одну невесту. И опять они, Кенилля и Степан, растерянно улыбаясь, завороженно смотрели друг другу в глаза. Это, конечно, не могло остаться незамеченным.

— Давай-давай! — смеясь, подзадоривали по-русски камчадалки.

От мужской группы, стоявшей поодаль, отделился тойон Апача. Сказал что-то не сердито, но внушительно женщинам. Те мгновенно затихли и покорно разошлись. Кенилля крутанулась на одной ноге — мотнулись тугие черные косички, побежала стремглав к плоскому холмику юрты и скрылась в ней через нижний вход.

Степан принудил себя отодвинуться от дверного проема.

Апача пригласил гостей на завтрак.

— Мужики не ходят жупаном, — предупредил Лепихин. — Через дыру в крыше лезть придется.

Спускаться в юрту оказалось не просто. Лестницу ни лестницей, ни трапом не назовешь. Обыкновенное бревно с зарубками, да такими мелкими, что едва носок входит. Ступаешь будто на цыпочках по жерди. Отполированной, залосненной жирными руками. Пальцы скользят, под ногами крошечный упор, а в лицо и глаза жаркий дым бьет.

Лепихин и Евлампиев, те ничего, привычные, благополучно сошли. Аргунов добрую половину на пузе, в обхватку съехал. Крашенинников чуть не сорвался. Хорошо, Кенилля вовремя подоспела.

— Спасибо, — задержав руку девушки, поблагодарил Степан.

Она ничего не сказала в ответ, лишь улыбнулась, затем, алмазно сверкнув глазами, быстро взбежала и спустилась по бревну, легко и просто. Не в насмешку, нет. Показала, как надо делать.

«Как белка!» — мысленно восхитился Крашенинников.

Свет из верхней двери и небольшой костер достаточно освещали юрту. Земляное жилище было прямоугольной ямой глубиною в рост человека, шириной и длиной аршинов шесть. Над головой довольно высокая кровля, похожая на усеченную пирамиду: наклонные боковины, плоский потолок с квадратной дырой. Дыра служила дверью, окном, вентиляционным каналом. Жердяной потолочный накат держали четыре столба, вкопанные посередке юрты.

Снаружи, на обрешетке крыши, трава и земляная насыпка.

Стенки ямы, широкие нары вдоль них, пол — все закрывали ковры из колосняковых рогожек. Одна стена, напротив очага, была целиком отведе-

на для посуды и домашней утвари. Там же стояли на полочках деревяшки, в которых угадывались человеческие фигурки. То были *урилыдачи*, идолы, оберегающие жилище от лесных духов.

В юрте проживало пять семей, включая и семью главы рода, тойона Апачи-Василия, равного среди равных. Главенство его опиралось только на авторитет личного опыта и мудрости. Тойону не оказывали почестей, не выражали особого уважения, но, как отметил Крашенинников, слово князька было решающим и обязательным для всех.

Апача-Василий радушным жестом пригласил «к столу». Гостей посадили в центральной части юрты, меж колоннами из кривых неокоренных стволов березы.

Перед каждым положили по пластине юколы, полоске отваренного с кореньями китового сала, поставили деревянные чаши с толкушей и берестяные кружки с холодной водой.

Приятную на вкус и сытную толкушу Крашенинников с Аргуновым уже пробовали у Рыжова, а как готовят ее, увидели впервые. Старуха, что изображала жениха, стоя на коленях, старательно толкла смесь в большом корыте. Кислые ягоды, вареные клубни сараны, всякие другие коренья и травы, кетовая икра, нерпичий жир — все там было, толклось до снежной пены. Лицо старухи — темное, сморщенное, как печеное яблоко, а руки — точно в белых перчатках по локти.

Прежде чем подать еду гостям, она задобрила урилыдача, мазнула его сараной.

Трапезничали молча, без разговоров. Народу собралось много, женщины с малыми детьми ели на лежанках. Вихрастый мальчонка вдруг засмеялся и показал пальцем на Кениллю. Она сидела напротив Крашенинникова и старательно подражала ему.

Ительмены расправлялись с китовым салом с помощью каменных ножей из дымчатого зеленого горного хрусталя [1]. Прихватив зубами длинную полоску, быстрым и безошибочным взмахом отсекали порцию острым лезвием у самых губ. Отрезанный ломтик заглатывали целиком, не разжевывая, будто чайки рыбешку. Крашенинников же кромсал сало на дощечке, подносил ко рту на кончике железного ножа по кусочку.

Нарушитель торжественной застольной тишины получил затрещину и утихомирился.

— Передразнивать для них — первейшее развлечение, — поглядывая на Кениллю, сказал Крашенинникову толмач и шепнул заговорщически: — А девку ты и впрямь приворожил, очей не спускает.

Крашенинников и сам неотрывно смотрел на Кениллю.

Рука с длинными тонкими пальцами с природным изяществом поднимала к белым зубам чуть желтоватое от кореньев, похожее на старое свиное китовое сало. Припухлые губы нежно брали ломтик, снимали с прозрачного лезвия. А необыкновенно лучистые глаза Кенилли как бы спрашивали: «Правильно, хорошо ем?» Он незаметно для остальных, легким движением ресниц отвечал: «Хорошо, верно, прекрасно, Кенилля». И оба чувствовали себя счастливыми маленькой, связывающей их тайной.

Весь день Кенилля кружила вокруг русских, растерянно и смиренно ожидая условного жеста или слова. Изредка слышался ее тонкий голосок, точно синичка пела: «Синь-синь!»

[1] Так называли обсидиан, вулканическое стекло.

Он ловил хрустальные звуки и робкие призывные взгляды девушки, заполненный нежностью и еще чем-то ласковым и восторженным, чему не было названия или было, но Степан не знал его, впервые в жизни испытывал такое. Все это мешало сосредоточиться, отвлекало, он даже сердился на себя, пытался отделаться от расслабляющей, обволакивающей сердце бархатной нежности, однако противиться ей было выше всяких сил и, главное, вопреки подлинному желанию. Он понимал бесполезность насилия над собою, но упорствовал и этим лишь выдавал себя.

Отнюдь не загадочное поведение молодых людей обращало внимание окружающих. Они понятливо переглядывались, улыбались хорошо и сочувственно. Старуха, которая была в острожке и первенствующей стряпухой и ведуньей, о чем-то пошепталась с Лепихиным. Выбрав удобный момент, толмач сказал Крашенинникову:

— А жених-то, оказывается, не кто иной, как Кешлея, новокрещенный Гришка.

Имя это ничего не сказало Степану.

— У нас в Большерецке жил, аманатом.

Заложников держали в каждом русском остроге. Пленники и как бы не пленники. Камчадалы сами привозили юнцов, как правило, сыновей тойонов, оставляли их на год, на два, в залог мира и покорности. Сборщики ясака брали аманатов в поездки, как гарантов своей безопасности. Свобода и жизнь самих аманатов зависели, таким образом, от свободы и благополучия казаков и других служивых людей. Впрочем, случалось, и погибали вместе. Так, Анцыфорова с казаками сожгли в балагане вместе с заложниками. Те сами пошли на самопожертвование, кричали своим: «Не жалейте нас, жгите!»

При всем при том долгое пребывание в аманатах приносило юным ительменам пользу. Многие из них обучались начальной грамоте и русскому языку, получали навыки в неведомых камчадалам ремеслах, приобщались к русским обычаям.

— Старуха сказала, что девка противилась замуж за Гришку-Кешлею идти. Оттого и побили его жестоко, прогнали из острожка. Думаю, однако, дело этим не кончится. На все парень способный.

— Разбойник? — с невольной тревогой спросил Крашенинников.

— Разбойник не разбойник, а голова отчаянная и хитер как лис. Да ты его встретишь еще, не разминетесь. Он часто и поныне в Большерецк наведывается. Так что учти.

— Что учесть? — неумело притворился непонимающим Крашенинников.

— А то и учесть, — хмыкнув, ответил Михайло Лепихин.

День, как по заказу, выдался ярким и безветренным. Над земляными холмиками юрт висели белесые дымы. Тихо, мирно, на привязи у столбиков сонно валялись ездовые собаки.

Охотники ушли на промысел. Женщины портняжили и сучили нити из крапивы. Под балаганами с осени хранились большие связки вымоченной и ободранной крапивы. Из крапивных нитей плели рыболовные сети. Они получались недолговечными, много их надо было запасти на лето.

Оставшиеся мужчины занимались кто чем. Поддерживали огонь в юртах, готовили еду для собак, мастерили. Крашенинников целый час наблю-

дал за работой кузнеца. Сперва и понять не мог: что он кует каменным молотком на каменной наковальне? Умелец восстанавливал ушко железной иголки. И не в первый, видно, раз. От иглы один кончик остался, острый. Тупой конец ительмен расклепал, расширил и другим таким же обломком начал высверливать новую дырочку. Какое же терпение и ловкость надо иметь для такого дела!

Всякий железный кусочек считался кладом и находил себе применение. Лепихин обстоятельно рассказывал:

— Железо и медь до нашего прихода на Камчатку были почти неведомы. Разве что на южной оконечности, на Лопатке. Туда редко, а заплывали японские бусы, ну и торговали на обмен железными иголками, посудой глиняной. Сами ительмены не знают обжига и куют по-холодному. Котлы негодные, ржавые гвозди, пряжки, шомпола, а то и добытые по случаю ружья переделывают в домашние вещи или в снаряжение: боевые наконечники для пик и стрел, к примеру. А так у них в обыкновении свои, местные материалы. Яшма, зеленый горный хрусталь, кремень, рога и кости, китовые ребра, лопатки медвежьи, дерево, конечно. Соображению и терпеливости камчадалов пределов нету! Три года лодку строят. Они ж не из досок шьют, не выжигают даже, а выскабливают каменными орудиями из цельного дерева!

— Все бы дивные вещи скупить для кунсткамеры! — горячо сказал Крашенинников. — Истинный клад для науки. Подумать только: живые, теплые еще от рук владельцев предметы каменного века!

— Извини-прости, Степан Петрович, на всякую диковину никакого табаку не напастись.

— То-то и оно. — Крашенинников сожалеюще вздохнул, закончил упрямо: — Но костяной топор, иглу каменную, деревянные огнива пренепременно заполучу.

Тойон вступил в торг неохотно. Русскому — диковина, курьез, любопытная вещица, ительмену — жизненная необходимость, предмет для повседневного существования. Топор — основной инструмент, незаменимый в быту, оружие для охоты; каменной иглой пускают дурную кровь; дощечкой и заостренной палочкой добывают огонь. И как обойтись без кухонной утвари? Каждая посудина на счету.

— Но эта для красы ведь? — Крашенинников указал на маленькую фаянсовую пиалу, расписанную синим кобальтом. — Ценинная, из белой глины сработана, и птицу такую на Камчатке не знают.

— Извини-прости, Степан Петрович, — вмешался Лепихин, вглядываясь в рисунок на пиале. — Видал я подобную птичку у юкагирского побережья, меж нашим полуостровом и Чукотской землей. Нырковая утка это, морянка. Окрас у ней черно-белый, клюв короткий, а хвост у самца длинный и вострый, и вкруг глаз белое пятно листиком. В точности — морянка. А голос у ней громкий, звонкий: «О-а-алулы-ы, о-а-а-алулеу!» Далеко на воде слышно, аукает вроде. Морянки все больше парами и стаями держатся, а на зиму к югу летят. Сказывают, до самой Японии добираются. Может, и надпись какая есть? — И Лепихин протянул руку к заморской чашечке, но тут Кенилля, целиком, казалось, занятая шитьем, вскочила с лежанки, схватила пиалу и спрятала у себя на груди под телогрейкой.

— Да ты что, девка? Никто и не думает отбирать!

— Ладно, Михайло, оставь, — смущенно велел Крашенинников и больше не возвращался в разговоре к японской вещице.

Кенилля же, как будто ничего и не произошло, опять углубилась в работу. Тонкая игла из соболиной косточки мелькала туда-сюда. Крашенинников украдкой поглядывал на мастерицу, любовался. «Какие поразительно красивые руки! Пальцы длинные, с нежными розовыми ноготками. Вся она — прелесть. И торбаса будут замечательными!»

Подошва из белой тюленьей кожи; яркие, выкрашенные брусничным соком, головки; ровдужьи, замшевые голенища, прозеленелые от осиновой коры; поверху широкие подзоры из горловой собачьей шерсти. Загляденье, а не обувка!

Апача-Василий, как бы извиняясь за каприз племянницы, предложил:

— Однако подажить тебе, студенталь, надо что-то. Нельзя джуга бес подажка отпускать.

Крашенинников смешался:

— Я табаку взамен дам. Не для себя, в царскую кунсткамеру пошлю, государыне императрице.

— Сажсса в гости пжиедет, свой подажок восьмет.

— Далеко она живет, — сдерживая улыбку, серьезно сказал Крашенинников. — На собаках сюда не доехать.

— Тогда олешек бежать надо, — уверенно решил тойон и опять назвал Крашенинникова студенталем.

— Откуда знаете, что я студент?

Апача-Василий удивился. Как не знать, что в главном русском остроге происходит!

— Ваши к нам пжиесжают, наши к вам ходят, видят, снают все. На Камчатке всякий новый человек шибко саметный. Э, давай чай пить. Потом Кениллю слушать будем.

Девушка замахала руками, словно крыльями отбивалась, но тойон настоял на своем.

Песня была мелодичной, голос звучал чисто, казалось, и слова все понятны.

— Без толмача ясно! Майор кукарекает, прапорщик еще и козлом блеять умеет. Павлуцкий и его Иван, один в галстуке, другой в чулки наряжены!

— Похоже, студенталь, — снисходительно похвалил тойон, а Лепихин сказал, смеясь:

— Похоже, да не совсем! Давай, Степан Петрович, в точности переведу. Она вот что пела:

> Ежели бы я был майорский повар, то б снял с огня котел с кушаньем.
> Ежели бы я был прапорщиков повар, то б всегда снимал котел в перчатках.
> Ежели бы я был Павлуцкой, то бы повязался белым галстуком.
> Ежели бы я был Павлуцкого Иван, то бы носил чулки красные.

Дальше пой, Кенилля!

Все уставились на Крашенинникова.

— Не иначе, как об вас петь будет, — предсказал Михайло. И не ошибся.

— *«Студенталь теелезик битель читеть киллизин...»*

— Ежели бы я был студент, то б описал всех девок, — подмигивая и с хохотком переводил с ходу Лепихин. — Ежели бы я был студент, то бы описал быка-рыбу... всех морских чаек... поснимал бы все орлиные гнезда... описал все горы...



Голос Кенилли сделался вдруг жалобным и оборвался. Она вскочила на ноги и выскользнула из юрты.

Поздним вечером из Большерецка приехал Саламатов.

— В полной сохранности инструмент доставил, — доложил Крашенинникову. — На совесть запаковали, хоть на лед кинь, не повредится.

Прощались с Каликиным острожком ранним утром, еще солнце из-за гор не выкатилось, на румяном небе жарко золотились подзоры редких облаков, а белые снеги в долинах лежали в густой синеве.

— Саесжай, однако, дожогим гостем будешь, — пригласил, прощаясь, Апача-Василий. Он был весьма доволен, обменяв старый костяной топор, ительменское огниво и каменную иголку на целых полфунта китайского шара. — Хожоший ты человек, шибко щеджый. А племяниссу мою так совсем счастливой сделал. Не бусы, маленькие свесды на шею повесил. Смотжи, как кжасиво.

Кенилля стояла поодаль в новых бусах поверх легкой меховой телогрейки. Нарочно не надела кухлянку, гордилась подарком. А руки ее что-то прятали за спиной.

— Морозно, простынешь, — крикнул Степан.

Она без перевода поняла его, помотала головой. «Не волнуйся за меня, студенталь. Ничего со мною не станет», — как бы услышал он в ответ. Кенилля вдруг подбежала к нему, сунула в руки торбаса и мгновенно исчезла. Крашенинников растерянно смотрел на новенькие нарядные сапоги.

— Ого! — изумился Лепихин. — Это ж не простые торбаса, а згоейнуты! Со значением дарятся. Как увидит их кто на тебе, Степан Петрович, так и откроется секрет.

— Какой секрет? — машинально переспросил Крашенинников. Он ждал, когда опять появится Кенилля. «Куда она подевалась?»

— А такой! Згоейнуты на холостом мужике означают, что у него тайна имеется, сердечная!

— В самом деле? — Крашенинников никак не ожидал услышать такое.

— Так у них принято и нам всем известно. Извини-прости, Степан Петрович, но ты с данной минуты вроде женатый, хочь и не обвенчанный.

— Довольно, Михайло! — прикрикнул Крашенинников, и Лепихин оборвал смех.

Крашенинников скосил глаза на тойона.

Апача-Василий все это время молчал, думал о чем-то сосредоточенно. Теперь он смотрел на юрту, где укрылась племянница.

— Пора... — сказал Крашенинников.

Тойон поднял на него задумчивый взор. Неожиданный вопрос прозвучал наивно и прямо:

— Женисса, однако, не хочешь на Кенилле? Шибко хожошая жена будет.

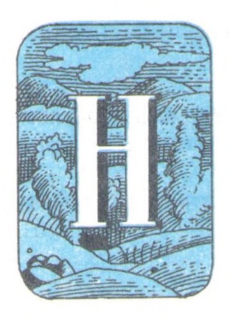
Степан, вконец смешавшись, сказал, что рано ему семьей обзаводиться и крыши своей над головой нету...

Старый тойон недоверчиво поохал. Такой важный начальник, молодой, сильный, брыхтатын, и не может себе позволить даже одну жену. У него, бедного Апачи, и то две...

— Думаю... Я подумаю, Василий, — невнятно, как бы оправдываясь, проговорил быстро Степан.

— Смотжи, студенталь, — с сожалением и одновременно предупреждая сказал тойон, — долго думать — опосдать можно.

ГОРЯЧИЕ КЛЮЧИ



арты легко и плавно неслись по заснеженной Баани. Река часто делала петли; время от времени, спрямляя и укорачивая дорогу, обоз выскакивал на тундровые участки и холмы с редкими березняками.

Дорога постепенно втягивалась в долину, стиснутую горными отложистыми хребтами. Летом здесь, наверное, стоял шум и звон: с двух сторон в Бааню вливались потоки, стремительные, бурливые. Сейчас они стыли подо льдом, иные промерзли до дна.

Горные склоны щетинил ольховник. Стелющийся кустарник образует непроходимую чащу, не пройти на санях, не одолеть пеши. А и снег сойдет, только по туннелям, проделанным медведями, пробраться можно.

Ночь скоротали на голом месте, спали вокруг скудного костерка. Со стана снялись потемну, хотелось скорее доехать до горячих ключей, отогреться и с пользой употребить весь световой день. И тут, когда уже завиднелся курчавистый, бледно-голубой дым, исходивший от зимней земли впереди, в полуверсте от цели, санный поезд остановился.

— Вперед! Тах-тах! — нетерпеливо подогнал Крашенинников, но ительмены-каюры всадили ошталы в снег. Беспрекословный, робкий даже старший каюр Ниака отказался подчиниться наотрез.

— Дальше нету.

— Почему, отчего? — насел Крашенинников.

Ниака запретно повторил:

— Дальше нету.

И остальные каюры уперлись:

— Дальше нельзя.

— Всем нельзя! — подчеркнул Ниака. — Всем шибко-шибко худо будет. Там, — он пугливо и предостерегающе показал на дым и шепотом назвал имя кровожадного беса: — Там — злой Кана.

— Не пойдут они дальше. Ни в жисть не двинутся. По их басням [1], в ключах нечистая сила водится, — растолковывал Евлампиев.

— Пускай крестом защищаются, — предложил Саламатов. — Или бога своего в помощь призовут. Как его... Кутха, что ли.

— Кутха? — вскинулся Ниака. — Кутха — тьфу!

— Ты что же это на господа своего плюешься? — поразился Крашенинников. Он не был святошей, но богохульников не любил.

— Кутха — тьфу, — упрямо и презрительно повторил Ниака. Запас русских слов у него кончился, перешел на ительменский.

Толмач переводил:

— Что толку обращаться к Кутхе! Глупее, бесполезнее нет его. Кутха далеко, на небе. Не видит, не слышит ничего. Вот дьяволы, те близко, на земле или под землей. Все знают, хитрые, изворотливые, большие обманщики. Не заметишь, глазом не моргнешь, как попадешь к ним в лапы. А Кутху, главного бога и создателя людей, мышь и та вокруг пальца обведет. Из-за глупого Кутхи и земля такая неровная. Он по всей Камчатке на лы-

---

[1] То есть сказкам.

жах катался, земля под ним гнулась, как тонкий лед, проваливалась. Потому так много озер, рек, вся страна покрылась горами и сопками.

— Э, давай чай пить, — закончил Ниака. — Дальше тах-тах нет.

Саламатов угрожающе наставил ружье, но Крашенинников резким движением откинул ствол.

— Не самовольничать, Никифор!

— Убей, не подчинятся, — сказал Лепихин. — Камчадалов никакой силой не заставить идти к горячим ключам или к сопкам горелым. Да мы, Степан Петрович, и без них управимся.

— Хорошо, — принял решение Крашенинников. — Каюры с упряжками здесь остаются. На лыжах пойдем.

Левый, северный, берег реки Баани ограничивали каменные утесы, южный, возвышенный, утопал в облаках пара. Казалось, ничего не увидеть, не разглядеть там. Когда же совсем приблизились, облако предстало не сплошной завесой, а отдельными дымящимися очагами. В одних местах вздымались клубящиеся, похожие на гигантские белые грибы столбы с облачными шляпами, в других едва курился сивый дымок, слоистый, легкий, как на дотлевающем пепелище. Чем ниже спускались по буераку, тем тоньше становился снежный покров. Вскоре и лыжи сбросили.

— Будто из зимы в лето приехали! — Крашенинников восторженно оглядывал чудесное место.

На волнистых склонах зеленели мхи и травы. Белые, желтые цветы смело раскрыли пышные венчики, в них копошились жучки с вороными, блестящими надкрыльями. Суетно, зигзагами порхали пятнистые бабочки.

Сумрачный, неулыбчивый Никифор Саламатов и тот восхищался:

— Никому не поверил бы, кабы сам не увидел.

Откинули на спину капюшоны, распахнули полушубки.

— Искупаться, что ли? — задорно предложил Лепихин.

— В Баане баню устроить! — пошутил Крашенинников. — Только сперва дело сделаем. Осип! Аргунов, давай термометр, готовь все для работы. Мы ведь не праздные путешественники! — Вспомнил, как испытывал по наставлению профессоров горячие ключи на Баргузине в Забайкалье. — Смешно обходились без инструмента. Мясом и яйцами градусы мерили.

— Это каким же манером? — спросил Лепихин.

— А очень просто. Держали по часам в воде, пробовали на зуб, до какого состояния продукты доходят. За сколько времени яйцо всмятку варится, за сколько — вкрутую... Осторожно, ртуть не разлей!

— Осторожно, Осип, — повторил за Крашенинниковым Лепихин. — А то Степан Петрович заставит сырятину кусать, желудком науке служить.

Крашенинников строго взглянул на толмача.

— Надо, так и живот за науку положу. Ясно, Михайло? Закончили смешки, за работу!

Воздух был, точно в прачечной — влажный и душный. Ключи били из ямищ, бугров, из обрывов и каменных утесов, нависших над рекой. Мелкие, едва приметные в сочной траве струйки сливались в ручьи. Другие таились в колодцах. Третьи булькали на поверхности конусов. Четвертые с шумом и свистом фонтанировали.

Скальные ключи струились по округлым золотисто-желтым и бурым валунам, как пряди волос на каменных головах. Камни и россыпи были нозд-

реватыми, испещрены раковинами и оспинами. Глинистые отложения вокруг скважин поражали многоцветьем: желтые, голубые, белые, пепельно-ржавые, алые, а то и расписаны под мрамор плавными узорами от светлых тонов до черного. Крашенинников опустился на колени у спокойного конуса, погрузил в бурлящую воду термометр.

— Ого! За восемьдесят перевалило! — Голос потонул в общем шуме.— Михайло! Михайло-о!

— Иду-у!

Лепихин пришлепал босиком; меховые штаны подвернуты выше колен, ни шапки, ни кухлянки на парне.

— Слушаю тебя, Степан Петрович!

— Спятил, Михайло. Не так уж и жарко.

— Ноги вымыл. Благодать! Чего требуется, Степан Петрович?

Крашенинников весело распорядился:

— Тащи сюда куропаток, без костра сварить их можно!

Лепихин утром удачно поохотился, взял полдюжины белых курочек.

— Извини-прости, Степан Петрович, — сказал довольный своей догадливостью Лепихин, — а они уже варятся-парятся. Подальше отсюда самый из всех горячий ручей есть. И еще один подобный, однако сильно тухлыми яйцами воняет.

— Так это же интересно! Веди туда.

В небольшом каменном кратере бурлила прозрачная бирюзовая вода. Резко несло тяжелым запахом сероводорода, и слышно было, как внизу, внутри горловины с перестуком катались камешки, будто и в самом деле в адском котле варились порченые яички, из трещин в скорлупе сочился гнилостный газ. Одолевая тошноту и головокружение, Крашенинников все-таки измерил температуру источника и взял образец наплыва с кольцевой вершины. Покачиваясь, отошел подальше, в сторону от пахучего места, продышался немного. Тяжелый газ, казалось, осел в горле и в груди.

Кусочек наплывного грунта сминался под пальцами, напоминал деревяшку, выброшенную морем. Белесо-желтый, в серых чешуйках, волокнистый. На свежем изломе мохнатилась белая веточка. Крашенинников осторожно лизнул ее. «Мох» оказался кислым квасцом. Вкрапления квасцов обнаружились и в других наплывах.

Поразили кипящие султаны, гейзеры. Ритмично, через равные временные промежутки, в круглой чаше устья, уходящего в бездонную глубь плоского конуса, вскипала вода. Бурлила, вздувалась, лопалась; с громким всхлипом выскакивали пузыри. Наконец набрав силу, с грохотом вырывался султан воды и пара. Верхушка расслаивалась, зависала облачком, а водяной столб рушился, втягивался обратно в жерло.

Пауза — и опять: всхлипы, нарастающее клокотание, пузыри, свист, пушечный гром и выброс фонтана.

Гейзеров было много, шум и пальба не стихали ни на минуту, один за другим бухали водяные выстрелы. Точно артиллерийская батарея вела беглый, но беспорядочный огонь. В воздухе, перенасыщенном горячей влагой, клубился туман, сеялась теплая морось.

Все так загляделись, чуть обед не проворонили.

— Ох! — спохватился Лепихин. — Куропаточки-то мои!

Он подоспел вовремя, мясо было готово. Все дружно налегли на еду. Один только Крашенинников ни к чему не притрагивался.

— Извини-прости, Степан Петрович, я ж предупреждал: вонь там не-

сносная, а ты пошел, — сказал Лепихин. — Заесть теперь надо, запить. Иначе не перебороть тошноту. Бери вот грудочку мягенькую.

Аргунов молча подал кружку с холодной родниковой водой.

И действительно помогло.

— Что ни говори, а камчадальский бес вкусно готовит! — даже пошутил Крашенинников.

Весело переговариваясь, в прекрасном расположении духа возвратились к нартам. Каюры таращили на русских глаза. Видно, не чаяли опять живыми увидеть.

— Шибко-шибко повезло! — выразил общее мнение Ниака. — Победили злого Кану!

— А что нам Кана! — Лепихин подмигнул товарищам. — Он в услужении был, обед сготовил, водички поднес, а мне так и ноги вымыл!

— Смотрят на нас, как на героев, — заметил Крашенинников.

— Так и есть, Степан Петрович. По их басням, только Тылвал мог тягаться с бесом. Главный их богатырь. О нем разное говорят. Ростом, в один голос твердят, невысокий был, как обыкновенный камчадал. Только очень плотный и силы необоримой.

Ниака по-русски слабо знал, но понимал многое.

— Тылвал всех побороть мог. Медведя душил. Из лука Тылвала один Тылвал стрелять мог. Лук из кость дайя.

— Из китового ребра, значит, — уточнил Лепихин.

Перед сном, за чаем у костерка, Ниака по просьбе Крашенинникова рассказал одну из легенд о Тылвале.

— Давно-давно было. Дедушка мой тогда еще жил. Он жирник хранил, подарок Тылвала. Хороший жирник, каменный...

— Светит и поныне в твоей юрте! — усмехнулся Никифор Саламатов.

— Нет, пропал, — серьезно, без тени смущения, признался рассказчик. — Сын мой, Ахтамош, выбросил куда-то. Да-а. Слух о Тылвале по всей Камчатке летал. До Немал-Человека долетел. А Немал-Человек великан был. Волосы черные, две косы на голове.

Пошел он к Тылвалу, не застал дома. «За дровами пошел», — говорит жена. Она обед готовила, мясо и рыбу варила.

Сидит Немал-Человек, ждет. Вдруг гром близко прогремел, с треском. «Что это?» — спросил великан. «Тылвал вернулся, дрова на землю бросил», — говорит жена. Выглянул Немал-Человек из юрты, а перед ней гора дров насыпана, однако у невысокого человека еще туша барана на плечах. Присмирел великан, а Тылвал его обедать позвал. Поели, стали бороться. Сдавил Тылвал великана, все кости хрустнули. Еще сдавил — порошок, как мука, сделался.

— Что это у вас все басни смертью кончаются, — поморщился Аргунов.

— Так было, — сказал Ниака. Ничего, мол, не поделаешь, все в жизни смертью завершается. — Спать, однако, надо, пока студенталь ехать не велел.

Окутанные серыми облаками вершины горного кряжа становились с каждой верстой все ближе и выше, а деревья делались ниже, отставали.

Стройные тополи с пирамидальными кронами, ветлы, даурская лиственница, деревья черемухи остались у речных берегов. Их сменили березняки. Береза в горных рощах отличалась от той, что росла в болотной низменности, была ровнее и выше. Ольховник, напротив, совсем к земле приник,

его и не видно стало под снегом, нарты свободно проходили. Невысокие рябиновые кустарники надо было объезжать: цепкие очень, густые.

Крашенинников сорвал гроздь мелких желтовато-оранжевых ягод, раскусил одну. Горькая — скулы свело.

— Здешняя рябина не то что в Сибири. Для еды непригодная, — сказал Евлампиев.

— Мог и наперед сообщить, — укорил Саламатов. Он ехал со служивым в одной нарте.

— Мог, — согласился Евлампиев. — Так студент наш все самолично испытывать и опробовать старается. Дотошный господин!

— Какой он господин, сын солдатский. Всю грамоту одолел, в люди выбился. И душа у него хорошая.

— Хороша душа, да в мошне ни гроша! — Евлампиев осклабился. — У нас тут, на Камчатке, иной темный помощник зборщика и без арифметики в богатеи выбивается.

Саламатов недобро усмехнулся:

— Потом на виселице болтается.

— Что ж, — невозмутимо ответил на это Евлампиев, — недаром пословица есть: «На Камчатке можно прожить семь лет, что ни сделаешь. А семь лет прожить, кому бог велит».

— Воровское утешение, разбойничья заповедь, — зло и презрительно сказал Саламатов.

— Какая уж есть, Никифор, а многие инде по ей живут. Вдруг кара и минет буйную головушку!

Солдат протяжно вздохнул, произнес тоскливо и мрачно:

— Мне-то за что судьба такая выпала? Не вор, не разбойник...

— А в солдаты попал как? Меня сын боярский забрил. Невеста моя ему приглянулась, вот и отделался от соперника.

— Со мной другое. — Саламатов замолчал, замкнулся.

Дорога становилась круче, опаснее. Нарты заваливались набок, застревали в цепких лапах ельника. После светлых, просматриваемых насквозь березняков опять пошли густые леса. Зеленые массивы елей и кедра угнетали вековым мраком. К тому же из серых туч посыпался снег, хлопьями, крупный. Собаки трудно шли мягкой целиной, проваливались по брюхо.

Каюры нацепили на ноги перепончатые лапки-снегоступы и торили путь. Они уходили шагов на двадцать, возвращались по своему следу, затем уже обоз делал короткий рывок по утоптанному лапками снегу. И опять нарты останавливались, а каюры готовили следующий участок.

Долго и мучительно взбирались на перевал. Спускаться с хребта было не многим легче, но вот вышли на ровное раздолье, и стало веселее. Горы остались позади, начались болота, тундра, затем белая пустыня вновь взбугрилась, зачернели скальные обнажения. На седьмом от Горячих ключей переходе прибыли в иноземческий острожек. Назывался он Паратун, хотя стоял на берегу Купхи.

Кроме юрт и балаганов была в селении рубленая изба, в ней постоянно жил русский казак, женатый на местной. У него и устроились. После многодневного пути, морозных, ветреных дней и ночей жарко натопленная изба была райской обителью. Вповалку легли на пол, укрытый шкурами.

— Сутки даю, — объявил Крашенинников. — Отоспимся вволю.

Едва забрезжил рассвет, он пробудился и тихо, не потревожить бы людей, вышел во двор.

— Что в такую рань поднялись? — спросил хозяин-казак, звали его Данила.

Крашенинников, поеживаясь со сна на утреннем морозце, ответил вопросом на вопрос:

— А вы?

Невзрачный, потрепанный жизнью человек с редкой пегой бороденкой и внешне походил на аборигена.

Готовясь к долгой беседе, Данила занялся трубкой. Действовал при этом одной правой рукой, левая — как перебитое крыло.

— Повредили? — участливо спросил Крашенинников.

— Руку-то? Не-е, утратил. В сражении, топором оттяпали.

— Где же это, как?

— Версты три отсюда, в Купхе. Там еще в тридцать втором большой острожек стоял, укрепленный. И люди не из пужливых были, задиристые, не однажды ясашных зборщиков и казаков побивали. За последнее злодеяние и сами жестоко поплатились. Острожек на Купхе-реке дотла сожгли. Во время осады я и утратил левую кисть. И стрелою, вдобавок, в грудь поразили. Вот и оставили меня здесь в Паратуне, умирать, а дева из разоренной Купхи выходила. На ней потом и женился. А поскольку калекой сделался, на службу не вернули, тут вроде смотрителя поставили. Живу себе, во всякой работе наловчился одною рукой обходиться. Можно ли на то место, где острожек стоял, попасть? Отчего ж нельзя, и сам компанию составлю.

Белый саван хранил тайну. Лишь обгорелая вековая ель немо свидетельствовала о былой трагедии. Крашенинников медленно огляделся.

За рекой Купхой и другой, Авачей, на гористом побережье царственно возвышалась знаменитая по всей Камчатке горелая сопка Авача, двойной вулкан, конус в конусе.

Из впадины нижнего, срезанного конуса, круто вздымался другой. Его острие, изорванное и выплавленное многими извержениями, иззубрилось и притупилось. Склоны изрезаны радиальными трещинами, узкими и глубокими оврагами-барранкосами. От подножия почти до вершины лежал снег; на белом поле чернели отвесные выходы скал, будто гора запахнулась в горностаевую мантию. Из жерла, окаймленного темным воротничком, ритмично, толчками выбрасывались серо-бурые облачка дыма. Словно внутри Авачи попыхивал трубкой горный ительменский бог Камуль. Он выдыхал дым то ленивой струйкой, то колечком, то полной грудью.

Клубы дыма уносило ветром, рассеивало. Затем прямо на глазах вокруг вершины начало сплачиваться туманное кольцо. Оно ширилось, уплотнялось, стало непроницаемым облаком.

— В прошлом году страх что творилось, — заговорил Данила. — Такое светопреставление было — не передать! Авача беспрерывно курится, привыкли. И трясение земли тут не редкость, и нутряной гром. В тот же раз возгорание получилось великим. От черной тучи день в ночь превратился. А пеплу выпало — окрест лежащие места на вершок укрыло. И трясло нещадно, а из-под земли — страшный шум и стенания.

Поблизости от Авачи с двух сторон вздымались еще две горы, повыше и пониже. Высокая, Коряка, тоже дымилась, но слабо и бледно. Козельская была потухшей.

— Интересно бы заглянуть туда... — подумал вслух Крашенинников.

— Куда же это? — не понял Данила.
— В кратер.
— Храни господь! — Казак даже перекрестился. — Такое и невозможно. Наши — летом! — и на три четверти не восходили, когда баранов промышляли. А зимою... — Он безнадежно взмахнул обрубленной рукой. — Что вы, господин студент!

Крашенинников все же попытался разведать путь к Аваче. Однорукий Данила оказался прав: санки застревали в глубоком снегу и частом кедровнике и к подножию сопки не пробиться. То тут, то там пытались подступиться — ни в какую. А обратная дорога чуть несчастьем не обернулась.

До острожка рукой уже было подать, каюра с упряжкой отпустили. Крашенинников и Аргунов неспешно передвигали лыжи по санным следам. Они далеко виднелись, две колеи и взрыхленная собаками широкая тропа.

— Ну-ка, срежем петлю, — предложил Крашенинников и заскользил по склону вниз, к озерной тарелке.

Он вовремя увидел темную промоину у берега и резко отвернул, но Аргунов, а он с большей скоростью и ничего не опасаясь мчался по лыжне, с ходу влетел в ледяную воду. Крашенинников вытащил бедолагу из гибельной купели, стянул с него кухлянку и отдал свою, сухую.

— Бегом! Бегом, Осип! — И сам бежал рядом, налегке, без верхней одежды.

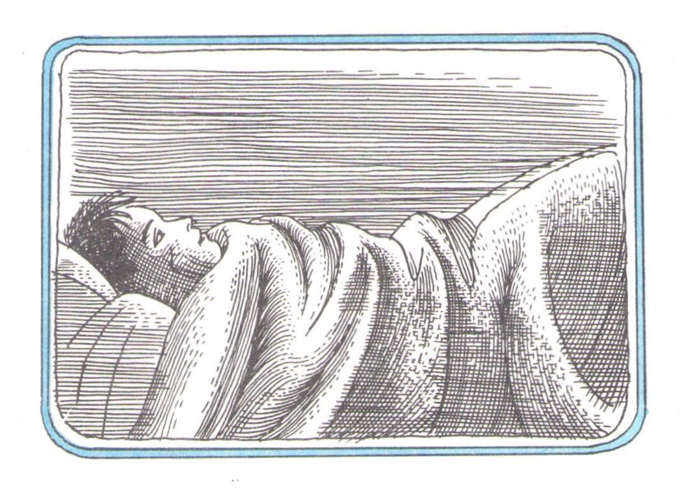
На мокрые лыжи сразу наморозился снег, шершавая корка тормозила. Аргунов быстро выбился из сил, даже лыжные крепительные путы развязать не мог. Крашенинников отсек ремни ножом.

— Становись на мои лыжи!
— А вы...
— Становись, говорю! Живо! И — бегом, бегом, Осип! Не оглядывайся!

Когда Крашенинников ввалился в избу, Осип уже лежал под медвежьим одеялом. Данила поил его горячим чаем.

Аргунов отделался легко, не зачихал даже, а Крашенинников сильно простыл, ночью жар был и кашель появился. Все ему советовали отлежаться хотя бы денька три, но Крашенинников приказал собираться: «В Большерецке дела ждут».

Тридцатого января оставили Паратун. Был мороз с ветром.





ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

КУРИЛЬСКАЯ ЗЕМЛИЦА



Зимние морозы и ветры прибили снега, они отвердели, лоснились как лед. В ясные дни солнце опаляло загаром лица, отражаясь от глянцевой поверхности, нестерпимо жгло глаза. Россияне, по примеру коренных жителей, носили берестяные наглазники со щелочками. Все будто нарядились для праздничного гуляния с «машкерадом». Кто не берег зрение, без маски ходил, дорого расплачивался за свое легкомыслие. Пострадал и Никифор Саламатов. Глаза сделались красными, не переносили света.

— Все твое упрямство, Никифор, — только и сказал Крашенинников. Что ругать, без того человек в беде.

Саламатов криво усмехнулся:

— Верно, что твердолобый, потому и забрили в солдаты, хотя женат был и деток народил. Пятнадцатый год в солдатчине.

— Домой отпустить тебя я не властен...

— А кто властен? — перебил Саламатов зло. — Хорошим людям

власть и не дается в руки. Чего там говорить. Эх! Потому и вам нелегко. Ни жить, ни дела делать. Волокитит приказная изба, как вздумается дьяку.

— Ладно о нем. Приставлю тебя сторожем к экспедиционным вещам.

— Спасибо, Степан Петрович, — голос Саламатова дрогнул, — за доброе участие, за то, что не гоните, что...

— Оставь, Никифор. Я вот лекарства тебе принес, камфару. Должна помочь.

— Не радейте обо мне, сам выкарабкаюсь. У вас и без моих невзгод забот хватает.

Работы, хлопот было предостаточно. Инструкции профессоров содержали восемьдесят девять параграфов. Устных и прочих указаний и не сосчитать. «Но главный вопрос — жилье, — думал неотступно Крашенинников. — Весна началась, лето грядет, профессора, наверное, уже в дорогу укладываются. Из Охотска скоро поплывут сюда, на Камчатку, «Гавриил» или «Надежда». А где и как устроить благородных господ? К возведению хором никто не приступил, палец о палец не ударил. Всякая малость добывается с превеликим трудом, большинство же требований остается безответным. Равняясь на дьяка Шергина, и прочие должностные лица отбояриваются. От всего! Как ни подступал к курильскому сборщику Андрею Фурману, сколько ни обращался к нему письменно, просил доставить какие-либо диковины с островов, тот и ответом не удостоил».

Прямой разговор с Фурманом все-таки состоялся. И начался, как и ждал Крашенинников, с отказа:

— Вещи для кунсткамеры собирать не моя печаль. И подарочной казны для этого нет. А понеже всего Шергин не велит. — Темные, немигающие глаза сборщика выражали непреклонность.

— Казна у меня есть, шар китайский, — в какой раз пояснил Крашенинников. — Но не могу я Камчатку покинуть на несколько месяцев. С радостью бы на острова отправился, а не могу!

— А вы человека своего пошлите, — сжалился вдруг Фурман. — Я ему полное вспомоществование чинить буду.

Выбор пал на служивого Плишкина и толмача Лепихина. Вдвоем способнее и легче будет выполнять задание, но когда Крашенинников попросил у Шергина другого переводчика, для своей поездки, получил полный отказ: «Вы уж, господин студент, как-нибудь одним толмачом обходитесь. Второго не будет». И отправился с Фурманом один Плишкин.

Путь на Курильские острова лежал через Лопатку. Так именовали южную оконечность камчатского полуострова. Вообще же и Лопатку считали курильской землицей, по живущему там народу, курилам. Они происходили от смешанных родов ительменов и айнов, исконных островитян. Смешанным стал их язык и обычаи, так что курилы мало отличались от коренных камчадалов, но не утратили связи и с островными родственниками.

Климат на Лопатке сильно разнился от других мест. На плоском безлесье зимою и летом беспрепятственно гуляли морские ветры. Пасмурное и сырое лето, обильная снегами зима, дожди, затяжные метели — особый край. О нем писал еще Атласов. Он, правда, до самого южного мыса не дошел, лишь до реки Озерной.

Крашенинников уже собирался выезжать, но вышла задержка. Целовальник, хранитель ясашной казны, позвал принять вещи для кунсткамеры, которые прислал с Авачи сам дьяк Шергин.

— Как видите, господин студент, Андрей Калистратыч и в поездке об вас помнит, — сказал целовальник Травинин, пряча вороватые глаза. — А за все вещи полагается с вас табачок в уплату. Ну да езжайте, коли в дорогу наметились, мы тут с вашим пищиком уладим.

Заподозрив каверзу, Крашенинников, хотя и обрадовался нежданному подарку, отставил выезд.

— Сам погляжу и приму. Пошли, Травинин!

— Экий вы недоверчивый, — укоризненно заметил целовальник.

— Научен уже. Пошли.

Вещи и впрямь были интересны для кунсткамеры, но, боже мой, в каком состоянии!

Крашенинников пришел в ярость:

— Я же лучшее, новое платье просил! И живность, чтоб в целости была, а это что?

— Что получил, то и отдаю, — огрызнулся Травинин.

— А я не возьму рвань!

Сусликовая, еврашья, кухлянка, хоньбы, камлеи — изношенные, в дырах. Утки и рыбы порченые, не пригодны для чучел.

— Но кошлоки-то, каланьи детеныши чем плохи?

— Кошлоков возьму.

— Извольте фунт табачку за них, господин студент, — быстро назвал цену Травинин.

— Да ты что, спятил? Фунт шара за двух кутенков!

— Не мною цена объявлена, господин студент. — Травинин сделал обиженное лицо. — И за вещи, что отвергли, мне самому теперь расплачиваться придется. — Закатил глаза, начал подсчитывать убыток: — Кухлянка четыре рубля, хоньбы рубль...

— Ладно, отдам фунт. Грабеж это бесстыдный, а деваться некуда.

— То-то что некуда, господин студент.

Пришлось срочно потрошить морских бобрят, набивать из них чучела. Работа кропотливая, тонкая и промедления не терпит. К тому же надо и описание скелета сделать, до косточки по-латыни расписать. Такую работу поручить здесь некому.

«Лешу бы Горланова сюда, — мечтательно думал Крашенинников, согревая дыханием озябшие пальцы. — Или дружка-поморца Ломоносова Михайлу. На худой конец, кого другого из однокашников по Спасской школе».

В неотапливаемой клетушке пар изо рта шел, руки стыли. Крашенинников открыл валек в простенке, но вместе с теплом из жилой избы натянуло дымом. Ни дышать, ни работать.

— Закрой, Осип, — раскашлявшись, велел Крашенинников.

Аргунов вставил деревянный отпилок в стенной вырез. Посмотрел благодарно и виновато на Крашенинникова, произнес со вздохом:

— Застудились вы из-за меня...

— Да забудь ты про то, — отмахнулся Крашенинников.

— Такое, Степан Петрович, не забывается. Жизнь вы мне спасли на Аваче.

— И слава богу. Подай-ка жилку потоньше. Не эту, вон ту.

— Между прочим, — продолжал Аргунов, — ительмены своих из воды не вытаскивают. Поверье у них: кто спасает, сам потом...

— Глупое суеверие, больше ничего. Хватит о том, Осип.

КУРИЛЬСКАЯ ЗЕМЛИЦА



Выехали на Лопатку в конце второй декады марта. Санный путь сперва лежал на юго-запад. Местность всхолмленная, но плавно и под уклон, так что и небыстрой ездой еще затемно прибыли в острожек близ устья Большой реки. Затем понеслись почти строго на юг вдоль Пенжинского моря.

Море в здешних широтах не замерзало, но в студеной воде колыхались ноздреватые, будто засахаренные, льдины, а у береговой кромки возвышалась гряда из битого льда и плавучего хлама. На приморской болотной низине укрыться было негде, две ночи провели на открытом стане.

Все дни дул встречный обжигающий ветер, пробирал даже через двойные меха. Отогрелись только на шестые сутки, в острожке на Голыгиной реке, названной в память о пропавшем там без вести казаке из отряда Атласова.

До горячих ключей на Озерной оставалось два дневных перегона. Гладкую равнину сменили холмы и отлогие хребтины недальних гор. Сами горы терялись в плотной облачности.

Каюры все чаще поглядывали с опаской на сумрачное небо. Только и слышалось: *«чихуча», «колаал», «колаал», «чихуча»!*

— Снежный буран предвещают, — затревожился и бесшабашный Михайло Лепихин. — Беда, Степан Петрович, ежели в пустом месте застанет.

— Не проскочить?

— Может, и да, может, нет. Собаки на привалах сразу в снег зарываются. Значит, не долго пурги ждать.

Каюры сказали, что все-таки есть шанс добраться до Апучки.

— Тогда вперед, *коазаку!* — приказал Крашенинников.

Над морем висела чернота. Над белой землей в мглистом небе иногда пробивалось желто-багровое солнце.

Собаки устали. Вынужденно сделали передышку. За каких-то полчаса погода резко переменилась. Иссиня-черное крыло над горизонтом заклубилось и посерело, засвистал ветер, задула поземка, наметая сугробы на свернувшихся калачиком собак. Каюры палками и криками вытянули цугом упряжки.

Вскоре земля слилась с небом, все утонуло в метельной кипени. Снежные заряды жгуче секли людей и собак.

Собаки вдруг залаяли, ожили. Каюры дали им свободу.

— Жилье учуяли, теперь не пропадем, Степан Петрович! — прокричал Лепихин.

Собаки с лаем и визгом рьяно тащили нарты, но казалось, не собаки, а разбушевавшийся буран гонит со снежными вихрями санный обоз.

Заметно потеплело: снег влажными хлопьями облеплял одежду, стекал струйками. В юрту спустились промоклые с головы до ног.

Хозяева помогли разоблачиться, развесили все на просушку. В костер подкинули мелкие сучья. Затрещало, заискрило, огонь взметнулся до самого верха, стало жарко и светло. Продрогшим и измученным путникам не задали ни одного вопроса, молча поднесли кипяток с кипрейной заваркой.

Медленно, по глотку попивая чай, Крашенинников осматривал юрту.

Внутренний вид ее ничем не отличался от обычной камчадальской землянки. Те же нарты, укрытые рогожками, костер и очаг, дыра в потолке.

Дверь в крыше оставалась неприступной даже для пурги. Дым и тепло отбивали бешеный натиск стихии. «Простейшее, нелепое вроде решение, дверь без дверей, люк над головою, а лучшего не изобрести. Гениально и просто», — мысленно восхищался Крашенинников.

Опустевшие кружки опять наполнили пахучим кипятком.

Дрожь постепенно улеглась, внутри потеплело, по всем жилам разлилась приятная истома. Крашенинников с благодарностью смотрел на хозяев. Они вернулись к прерванным разговорам, как бы не замечая нежданных гостей, деликатно давая возможность обогреться, прийти в себя.

Особо обращал на себя внимание старик, восседавший на почетном месте. В ярко-алом тонкого, кармазинного сукна русском кафтане, степенный, со спокойным и приветливым взглядом. Прямые, зачесанные наперед черные волосы ровно подрезаны на лбу, а окладистая борода в густой проседи.

Были еще мужчины с бородами и усами, явно курильского облика. На лицах ительменов растительность крайне скупа. Но и безбородые и безусые чем-то неуловимо отличались от чистых камчадалов. С женщинами было проще разобраться: одни без татуировки, другие изукрашены синими точечными узорами. Руки почти до локтей, кожа вокруг рта, даже губы разрисованы. И у каждой, молодой и старой, серебряные кольца в ушах.

«Неужто настоящие айны? — обрадовался своему открытию Крашенинников. — Вот так удача!»

Бородачи и татуированные женщины со стрельчатыми бровями и аккуратно собранными на макушке в тугой пучок косами и на самом деле прибыли к своим родичам с острова Шоумчу [1], самого ближнего к Лопатке. Гостили уже неделю, попировали, наговорились всласть, обменялись всеми новостями до мельчайших подробностей, надо уезжать, но пурга задержала, пересидеть надо.

Старшего шоумчунца, седобородого в кафтане, звали Пиканкур. Речь его лилась свободно и плавно, как у всех айнов, отвечал он без тени робости или лести. Да и тойон-курилец Кожокча держал себя гораздо независимее, нежели другие камчатские князьки. Кто-то из отдаленных предков Кожокчи был выходцем с Курильской гряды.

У всяких племен и народов свои понятия красоты, но Крашенинникову показались более приятными и лица айнов, и язык их, и взаимоотношения между собою, более дружественные, сердечные, что ли, и учтивый, особенный порядок ведения бесед. Говорили только старшие, младшие терпеливо и внимательно слушали, не смели и рта раскрыть. Лишь переглядывались смешливо, когда русский задавал совсем уж, в их понимании, наивные вопросы.

— Как же вы без собак обходитесь?

— Зачем нам, тона, собаки. У нас байдары есть, лыжи.

Морского зверя на санках не догонишь. И за красными лисицами на горы собаки не повезут. Весь остров — горы. Опять же кормить собак нечем. Шоумчу не Камчатка, там нет столько рыбы.

Выяснилось, что айны вообще мало занимаются рыбной ловлей. Главный промысел и средство существования — морские бобры, котики, сиву-

---

[1] Остров Шумшу.

чи, тюлени. Нет большей радости, чем подаренный морем кит. Гора мяса и сала, выброшенная на берег, долго кормит целое селение. А всего на острове Шоумчу жилища в трех местах, и все по берегам небольших речек. На всех островах — сколько их в Курильской гряде, никто не ведает, — люди живут. Только на Уякужаче, Высоком Камне, никого нет.

— Не об огнедышащей ли горе Алаид речь идет? Еще Атласов писал, что с Голыгиной реки видна далеко в море отдельная гора.

— Да, русские называют Уякужачу иначе, Алаид, — подтвердил Пиканкур. — В ясную погоду Алаид видна с Камчатки.

— Ее даже от устья Большой, бывает, видно, — сказал Лепихин.

Деликатный Пиканкур сделал вид, что не заметил, как толмач, слуга тона, господина, позволил себе влезть в беседу старших. Крашенинников дал знак Лепихину замолчать.

— Ничего в том удивительного, Алаид на Камчатке родилась.

— Счас басню плести будет, — опять встрянул Лепихин. Самолюбие его было задето. — А одежда на нем, приглядитесь, бабская.

Крашенинников уже строго посмотрел на Михайлу: «Толмач, дело свое делай, но языком не мели!» Лепихин, тоже глазами, ответил: «Извини-прости, Степан Петрович. Только не кафтан на нем, а бабье платье».

Добрый и дорогой кафтан и вправду был русской однорядкой, женским долгополым платьем. Крашенинников с трудом подавил улыбку.

Пиканкур расправил длинную седую бороду, прикрыл глаза под густыми бровями и, плавно покачиваясь с боку на бок, начал грустную историю горы Алаид.

— В давние-давние времена Алаид жила здесь, совсем близко отсюда. В самой середине прекрасного Курильского озера. За озером же стоят другие горы, до сих пор стоят. А в те времена Алаид закрывала от них солнце, такая она высокая, Алаид. Маленькие горы очень обижались за это на Алаид, ссорились с ней, ругали за то, что застит им свет. Долго досаждали маленькие горы великой горе, не давали ей покоя. Такое и с людьми нередко случается, верно? — обратился к слушателям Пиканкур.

И все кивком подтвердили его слова.

— Надоело Алаид каждый день выслушивать упреки и оскорбления. «Если вам кажется, что солнце вам недоступно из-за меня, — сказала Алаид соседям, — что без меня вы станете выше или что я такая высокая лишь потому, что стою близко от вас, живите одни».

В могучей груди Алаид загремел гром, вспыхнул огонь; гора поднялась из синей воды и в туче дыма направилась к морю.

Вода из озера хлынула за ней, умоляя вернуться. Алаид даже не оглянулась. Дошла до морского берега и уплыла вдаль. Тогда озерный поток сделался рекой Озерной. До сих пор бежит она из Курильского озера в Пенжинское море. Верно?

И опять все закивали: «Верно».

— Алаид живет нелюдимо в открытом просторе, отдельно от Шоумшу, от Поромусира [1], от всех других островов. Она выше их всех. Алаид могла и дальше уплыть, но иногда ей хочется взглянуть на родные места. В те редкие и недолгие часы и можно камчатским людям увидеть Высокий Камень. В другое время над Алаид всегда висит печальное облачко испепеленной разлукой души. Плохо, грустно жить вдали от места, где родился, где про-

---

[1] Остров Парамушир.

шли лучшие и счастливые годы молодости. Где осталось твое сердце. Посреди Курильского озера есть большой камень, темная от горя и одиночества округлая скала. Даже русские называют ее — Сердце Алаид. Вот и вся история о жизни Алаид, — закончил Пиканкур и вежливо осведомился: — Русский тона, наверное, устал с дороги, спать хочет?

И впрямь пора было укладываться.

— Устал, — признался Крашенинников. — Но поработать еще малость надо.

Все улеглись, а он еще долго сидел у костра, записывал события и впечатления прошедшего дня, заполнял в тетрадке страницу за страницей.

Тишина, сонное дыхание. Вот кто-то в дальнем углу вскрикнул, заворочался и опять затих. Кто-то привстал, дотянулся до берестяной кружки, долго пил холодную воду. И снова сонная тишина.

Работа завершена, все, что достойно, записано. Крашенинников лег рядом с Лепихиным, но сна нет, мысли одолевают.

Огнедышащая Алаид, Сердце-камень в Курильском озере, река Озерная — реальная действительность. Все остальное — выдумка, басня. Одушевление природы от бессилия и робости перед ней. Но страсть к познанию мира неодолима, не просвещенный еще науками человек в поисках ответов на бесчисленные «почему» и «как» начинает фантазировать, сочиняет мифы и создает божества. Небо и земля, люди и звери, вода, огонь — все в единстве и взаимопроникновении, все связано и объяснимо.

Великий Аристотель сказал, что в семени предопределена возможность рождения дерева, его будущая форма. Легенды и басни — зерна науки, предтечи истинного познания природы. Но как же достойно удивления красочное воображение темного в науке человека!

Легенда об Алаид передается из поколения в поколение, внушает необходимость взаимного уважения, любви друг к другу, а не зависти и вражды. Может, потому так ласковы, терпимы, воспитанны айны? У них приятные, красивые лица... Но Кенилля лучше, краше... В длинных, гибких пальцах искрой мелькает игла из тонкой соболиной косточки... Мысли смешались, расплылись, и Крашенинников погрузился в глубокий, приятный сон. Какой, о чем — следа не осталось, не вспомнилось утром.

Настоящего утра и не было. Пурга завывала с неослабевающей силой, метельная ночь не кончалась. Трое суток бушевало, невозможно и носа было наружу высунуть. В юрте вышли съестные припасы, а в балаганы не сходить, не докопаться до кислой рыбы в ямах. Хозяева и гости терпели голод привычно и безропотно. За весь день каждому досталась щепотка сушеной икры, зато воды из снега — вволю. Кипятили в большом деревянном корыте накаленными в костре каменьями. Так же и в том же, где прежде готовили рыбу и мясо. Чай лоснился жиром и пахнул не очень аппетитно. Потом и чая не стало, кончилось топливо.

Пиканкур поднялся к потолочной дыре, послушал правым, левым ухом. В свисте и реве ветра ловил только ему понятные сигналы.

Он легко и молодо спустился вниз, вернулся на прежнее свое место, аккуратно подоткнул алый подол платья, огладил бороду.

— Завтра можно ехать.

— Погоду обещает, — дополнил прогноз Лепихин.

— Как же он вёдро предвидит? — заинтересовался Крашенинников.

Лепихин поговорил с Пиканкуром.

— Не может он словами пояснить, но стоит на своем: распогодится не-

пременно, к полуночи, раньше чуть даже уляжется пурга. Иноземцы мало что всяческие приметы знают, у них и чутье особенное. Точно у птиц или рыб. Те загодя перемены в природе чуют. Рыба, к примеру, перед штормом на глубину уходит. И птица прячется. А буревестник, тот, напротив, радуется предстоящей буре, носится над волнами как оглашенный.

— Думаешь, Пиканкур не обманывается? — с надеждой спросил Крашенинников. Потеряно уже трое суток, поездка на Курильское озеро отпадает, но хоть к горячим ключам съездить надо.

— Не-е, Степан Петрович. В части предсказания погоды они всегда правду говорят. Так что утречком и двинем отсюда.

Выехали не утром, а в два часа ночи. Пурга, как и напророчествовал старый айн, стихла внезапно. Словно могучая рука схватила за узду бешеную тройку и остановила ее на полном ходу. Тучи разошлись, вызвездилось небо, потом и круглый лик месяца выплыл.

Хозяева помогли освободить от снежного плена нарты. Из белых сугробов вылезли голодные собаки; каюры умеренно накормили их юколой.

Мороз не успел надежно прибить снег, каюры, спешиваясь, прокладывали дорогу на лапках. Ехали медленно, урывками. Псы на каждой остановке грызлись, запутывали ременные постромки и тяги. На бегу лайки хватали снег, будто рвали острыми клыками белую землю.

И люди утоляли жажду снегом, закидывая горстями в пересохший рот. После рыбной сухомятки ужасно хотелось пить.

Двигались по узким береговым закраинам. По самой реке, как ни соблазнительна гладкая равнина, ехать опасно. На Озерной и в жестокие морозы встречаются полыньи. Провалиться, да еще вдали от жилья, — смерти подобно. Но так или иначе, а пересечь реку необходимо, чтоб добраться до Пауджи, притока Озерной.

Каюры опробовали ошталами каждую пядь, истыкали замерзшую реку поперек, как пиками. С высокого южного берега стекали теплые ключи. Они плавили ледяную кромку, размывали ее.

Лишь часам к семи утра добрались до ключей. Ительмены остались на расстоянии, безопасном для посягательств злых духов, устроились в ложбине. Скрытно от коварного беса и тальник для костра имеется. Крашенинников с Лепихиным пошли дальше вдвоем.

На высоком, плоском и чистом от снега холме восточного берега Пайджи из распестренной всеми красками твердой глинистой земли били фонтаны. Множество парящих ручейков, ветвясь, разделяли площадь на островки, заканчивались или начинались белесыми окнами ям и озерков. В одних вода стояла зеркально, в других пульсировала. Все похоже на район горячих ключей в бассейне реки Баани, но температура воды была выше. В грифоне между валунами термометр показал точку кипения, так что с чаем задержки не вышло. Но еды, кроме вяленой рыбы, никакой.

Работали до захода солнца.

Удивительную картину застали на стоянке. Костер прогорел, не дымился даже, а каюры преспокойно спали на подстеленных кухлянках. На голых спинах искрился мохнатый иней.

В острожек курильцев вернулись в полночь. Гости с Шоумчу еще на заре отправились домой, спешили. Пиканкур предсказывал новую бурю.

— Два дня еще хорошо, ехать можно, — успокоил тойон Кожокча.— Потом худо, пурга.

Обратный путь в Большерецк намечался другой дорогой, не побережьем моря. Ближайший острожек, где можно пересидеть непогоду, отстоял в трех переходах. Пришлось ограничиться коротким отдыхом.

Ледяная корочка на снегах блистала в лунном свете точно слюдяная. Нарты легко неслись по насту, но собакам доставалось, за ними тянулись пунктиром кровавые следы.

На другой день солнце разрыхлило наст, оплавило ледяные лезвия, собаки уже не ранили лапы, но быстро теряли силы: в снежной каше увязали нарты.

— Не гони, Степан Петрович, — сказал Лепихин. — Дай отдохнуть, скорее домой попадем. Сто восемьдесят верст вчера отмахали!

До Большерецка оставалось шестьдесят. Один рывок — и!..

— Извини-прости, Степан Петрович, однако последняя верста и одна за половину дороги считается. Ты себя никак в расчет не берешь, вроде двужильный, так нас пожалей. Для всех польза будет.

И Крашенинников уступил. Большой привал назначил в Брыргаче.

СМЕРТЬ ИТЕЛЬМЕНА



На подъезде еще заподозрили неладное в острожке: все население сгрудилось возле одной юрты.

— Не иначе как помер кто-то, — предположил Лепихин. — В нашу сторону и глядеть не глядят, а не могут не видеть, что едем. В аккурат на похороны попали.

— Отчего же сразу — на похороны? Может, другая беда, а то и просто толпа собралась, — усомнился Крашенинников.

— Хоронить будут, — уже уверенно сказал Лепихин. — Вон и одежду всю и обувку умершего из юрты выбрасывают.

Каюры притормаживали нарты, усмиряли собак. Изголодавшиеся лайки торопились к стоянке. От кормовых припасов мало что осталось и на людей-то — одна юкола на двоих и по горстке сушеной икры.

— Не забудь о кислой рыбе или чего-нибудь другом для ездовых спросить. Табаком расплатимся, — напомнил толмачу Крашенинников.

— Не наша забота, Степан Петрович. Каюры сами сговорятся. А может статься, для собачек иное угощение будет...

Какое — Лепихин не объяснил, лишь скривился и передернул плечами.

От толпы отделился мужчина в оленьей кухлянке с откинутым капюшоном. Подошел к русским, спросил, дальше поедут или заночуют.

— Знатный гость к тебе прибыл, сам господин студент, — важно сказал Лепихин. — Слыхал, верно, про такого? И я тебе старый знакомец, а?

Мужчина, он и был тойоном острожка, молча покивал непокрытой головой, сообщил без особого выражения:

— Брат мой Лемшинга умер.

— Лемшинга! — сожалеючи воскликнул Лепихин. — Такой молодой, здоровый был. Что вдруг?

— Сам захотел, — кратко и безразлично ответил тойон.

Лепихин в сердцах выругался.

— Что у вашего брата за пристрастие к самоубивству! Прямо-таки с радостью жизни себя лишаете! С чего ж это Лемшинга надумал такое?

— Сам захотел, — тупо повторил тойон.

— Захворал или обидел кто, почему?! — Лепихин хорошо знал умершего и сокрушался искренне. — Лемшинга! Надо же такое удумать! От кого другого, а от него не ждал этакого безрассудства! Как же он так?

— Вчера шалаш сделал, лег, ночью замерз. Сам захотел.

Лепихин в нескольких словах перевел свой разговор Крашенинникову.

— Почему же они допустили такое, дали человеку заморозить себя?

— Коли сам захотел, мешать у них не принято. Напротив, способствовать должны. Тот же шалашик смертный соорудить, а то и грудь копьем пронизать. Они ведь, живые, завидуют мертвым. Счастливец, уже в рай переселился, без беды зажил!

— Брату хорошо, — подтверждая слова Лепихина, сказал тойон.

А брат тойона лежал в нескольких шагах от юрты мертвым, обшитый поверх кухлянки травяной рогожей. Тут же валялась остальная одежда покойного, поношенная и совсем новая. Никто не посмеет взять ее себе. Носить вещи умершего — значит самому преждевременно лишиться жизни.

На молодых и старых лицах застыла глубокая скорбь. У многих текли слезы, но ни громкого плача, ни воя, ни стенаний. Спустя короткое время молча разошлись. Мертвый Лемшинга остался на прежнем месте.

«Как не похоже на наши похороны», — подумал Крашенинников и тихо спросил Лепихина:

— Земле предадут или сжигать будут?

— У камчадалов такое не принято. Малых ребят, которые помрут, тех в дупло прячут, а другие все собакам достаются. И это у них даже за благо считается, добрые упряжки на том свете получат.

Тойон спросил, какой балаган приглянулся гостям для ночевки.

— Нынче в свои дома чужих не допустят, — от себя уже дополнил Лепихин. — Придется нам в балагане померзнуть, Степан Петрович.

Крашенинников посмотрел на рогожный куль и показал на самый отдаленный балаган.

— Там устроимся.

От зоркого и понятливого глаза тойона ничего не ускользнуло.

— Разве студент боится мертвого? Лемшинга уже давно под другим небом. Там хорошо! — в голосе тойона прозвучало заветное мечтание.

Ительменское представление о рае небесном и загробном существовании было простым и бесхитростным. И крайне своеобразным.

Камчатские горы, реки, долины, озера — всего лишь изнанка Земли. Небо над Камчаткой отнюдь не главное, хотя там, в облаках, живут внук Кутхи Пилячуч с женой Тиранус. От них и молнии, и дожди, и снежные бури, и радуга, утренняя и вечерняя зори. Однако главная земля и главное небо — внизу, под камчатскими горами, реками, долинами, озерами. Все там наоборот: когда наверху лето, внизу зима, когда тут осень, там весна. А погоды всегда лучше. И зверя, птицы, рыбы больше, никто не голодает, не знает нужды и несправедливости. Тем, другим миром правит добрый и мудрый Гаечь. Кто переселится к нему в богатом платье и с хорошей

упряжкой, получает старые кухлянки и худых собак. Бедные же переодеваются во все лучшее и красивое, им отдают прекрасные охотничьи угодья, теплые юрты и просторные балаганы. В царстве Гаеча никто не смеет и обижать других. Каждый живет своей охотой, рыбалкой, своим трудом.

— Вот так-то, Степан Петрович. Из всех суеверий камчадальский рай самая большая нескладица! — заключил Лепихин.

В балагане было темно и морозно. Плетеные стенки защищали от ветра, но лишь приглушали внешние звуки. Жуткая грызня собак леденила кровь. Старались говорить громко и почти непрерывно, только бы не слышать, что творилось на юрте, в которой жил еще вчера Лемшинга.

— По их верованию, люди и мошки — всякая тварь не исчезает бесследно, токмо переходит в другой, лучший мир. Ты-то, Степан Петрович, веришь в бессмертие души?

— Я верю в бессмертие дел человеческих, — убежденно сказал Крашенинников. — Ибо грядущее не на пустом месте, не сызнова рождается. Происходит от нынешнего и предшедшего. Дело, начатое нами, передается тем, кто идет вослед, по нашим стопам. А что начато, тому, хотя и не в один век, но должно свершиться.

— Мудрено... Прямо-таки философия!

— Философия, Михайло, есть наука наук, инструмент познания истины.

— Не по зубам мне все такое этакое, — сознался со вздохом Лепихин. — И не мне одному, грешному. Не зря, видно, царь-батюшка заморских ученых мужей в Россию выписывал.

— Ничего, придет час, и народ наш своих академиков выдвинет. А что до иностранных профессоров, так ни у кого и никому не зазорно набираться уму-разуму. Кто ищет знания, всегда учится. Одне дураки всех поучают.

— Это точно! — весело подхватил Лепихин. — Поучителей всяческих столь развелось, что ими болота гатить можно!

«Увы, — подумал Крашенинников, — дураки не такие дураки, чтоб собою дороги вымащивать. Дураки других топчут».

— Ладно, Михайло, пора спать. Затемно отсюда уехать надо.

— Да, на пасху поспеть бы!..

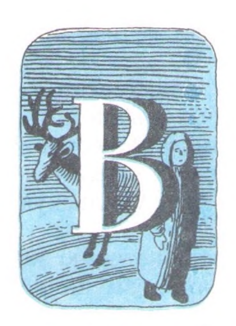
Наступило молчание. И за стенками балагана все затихло. Очевидно, Лемшинга уже переселился в светлый подземный мир.





ГЛАВА ПЯТАЯ

ДЕЛА И ЗАБОТЫ



В остроге бурлило предпраздничное многолюдье. В Большерецк вернулись постоянные жители, съехались гости, прибыли из ближних и дальних мест новокрещенные тойоны. Ительмены и оседлые коряки устроились по-походному, под открытым небом, мало кто нашел себе пристанище в холодных клетях и банях, разве что родственники казацких жен-камчадалок.

Оленьи коряки раскинули свои меховые юрты — яранги, держались особняком. Малорослые, с бритыми головами кочевники, владельцы больших стад оленей, относились свысока и к оседлым соплеменникам, утратившим оленей и перешедшим к жизни на одном месте. А олюторцев называли не иначе как *алютоклаулами,* холопами.

К весне почти повсеместно истощались у людей провиантские запасы, пустели балаганы и ямы с квашеной рыбой, кладовые и амбары русских поселенцев, так что пост соблюдать было проще простого. Ну, а кто не знал нужды, тому и церковный устав не закон. Еще до ночной службы

в церкви и освященного божьим именем застолья уже попадались подвыпившие гуляки.

У острожных ворот с караульной пушкой и казаком на часах Крашенинников нежданно-негаданно встретил Онуфриева.

— Степан Петрович! Сколько зим, сколько лет!

От Игната разило сивушным духом. Крашенинников отстранился.

— Рано что-то разговелись.

Игнат был в дорогой росомашьей парке с опушкой из белой собачины. Покруглевший, сытый, густобородый. В руке азиатская медная трубочка.

— Ха-ха, — выдохнул в два приема смешок. — Иль не можем себе позволить? Пост не мост, можно и объехать! И причина для веселья имеется. Весь товар с превеликою выгодой с рук сбыл, даже с себя кое-что сбагрил взамен золотой мягкой рухляди. Ух и развернусь теперь! С первым же судном на матерую землю богатеем прибуду! Гляди и завидуй, народ, Игнатию Фомичу Онуфриеву! Уважьте, господин студент, новоявленного купца, посидите с ним в застолье. Я у Рыжова остановился, у него завсегда винцо свое, домашнее. А завтра и в корчму сходить можно, и там из бочек затычки выставят!

Он опять хохотнул, отрывисто, по-особенному, однако не как прежде, будто по чьему-то знаку или велению, а свободнее, самостоятельнее, что ли.

— Благодарю, дела ждут, — отказался Крашенинников. — Работа.

— Работа не волк! Ха! А доху, волчью, помните? За дюжину и еще половину бобровых шкур отдал! Камчадалы им цены не знают, а я кажного бобра китайцам на границе по девяносто рублей продам!

Разговор о баснословных барышах распалил Игната сильнее выпитого. Затянулся жадно, выпустил табачное облако через треугольные ноздри.

— Может, вечерком заглянете?

— Спешу. В приказной избе ждут, — уклонился Крашенинников.

Никто в приказной избе не ждал его, да и мало обрадовались появлению. Дьяк Андрей Шергин и подьячий страдальчески переглянулись. Иного ходатая-просителя вытолкали бы взашей, и вся недолга, с полномочным представителем императорской академии такое не моги.

— С приездом, Степан Петрович, с возвращеньицем! — Шергин даже поклон обозначил.

— К священному празднику как раз поспели, — вставил и свое приветствие подьячий.

— А мы только-только об вас разговор имели, — сказал Шергин. — К великому сожаленю, никак не удается прислать людей, бывалых в походах на авачинских изменников. И церковного старосту, который на озере в осаде у курильских мужиков сидел, вызвать сюда невозможно. Оный староста, Слободчиков Федор, назначен для меры верст в Курильскую землицу.

— Но без них, без свидетелей тех событий, я ведь не могу историю закончить, на двадцать четвертом году остановился, — усмиряя возмущение в себе, воззвал к сочувствию Крашенинников.

— Понимаем, господин студент, очень даже понимаем, да!.. — Шергин как бы в полной беспомощности развел руками с корявыми пальцами.

Крашенинников выразительно посмотрел на дверь в горницу.

— Не возвернулись еще из Нижне-Камчатска их высокоблагородие, — перехватив взгляд студента, с удовольствием сообщил дьяк. — Потому и некому приказ о замене отдать.

— Но Слободчиков ведь человек нежалованный, — зашел с другого края Крашенинников. — А по силе указов ее императорского величества, людей, кои жалования не получают и питаться должны своим промыслом, на службу наряжать не велено.

— Истинно так, господин студент, — согласился Шергин. — Потому и выделено упомянутому бывшему старосте разного корма из казенных запасов.

В этот момент в избу вошел целовальник Травинин.

— Вот, подтвердить может! — воспользовался подмогой дьяк. — Отпустил, что было велено, Слободчикову?

— Все сполна. — Травинин, воровато пряча глаза, осенил себя крестным знамением. — Все до крупинки выдал!

Так и хотелось сказать ему: «Жулик ты, вор! Разве что за руку не схвачен. Кто имеет основание, не смеет и не может, кто может — не хочет!»

— С превеликим бы удовольствием... — притворно вздохнул Шергин.

Уламывать его было сейчас пустое.

— Буду писать новое требование, — жестко сказал Крашенинников.

— Пишите, пишите, господин студент, — с явным издевательством закланялся дьяк, но студент глянул на него с таким гневом, что тот перестал скоморошничать.

— Меня уведомили, что на праздник съехались сюда новокрещенные тойоны. Требую по одному из разных языков прислать ко мне.

Шергин уже пришел в себя, обрел обычный тон:

— В приезжих иноземцах власти не имею, не моего присуда. И навряд ли пользу получите. Понеже и они, как прочие иноземческие христиане, не воскресение господа бога славить прибывают сюда, а шкурки за чарку спустить.

Подьячий, прикрыв щербатый рот, льстиво подхихикнул своему начальнику.

Так и ушел Крашенинников, ничего не добившись.

У избы ждал Лепихин. Припараденный, в казачьем кафтане, черной смушковой шапке с заломом; сабля на боку, пистоль за широким кушаком.

Отвесил низкий поклон, чинно пригласил:

— Господин студент Степан Петрович! Батюшка с матушкой и все мы, Лепихины, ждем вас после всенощной и заутренней к нашему гостевому столу!

— Спасибо, Михайло, — сердечно и с удовольствием ответил Крашенинников. И тоже поклонился. — Непременно приду.

Выполнив приятный долг, Лепихин расслабился. Лицо с молодцеватыми ржаными усиками и румянцем на обветренных щеках расплылось в улыбке, в глазах запрыгали лукавые бесенята.

— Кого встретил тут нынче, скажу — не поверишь!

— Кого же? — ответно заулыбался Крашенинников, сердце же вдруг торкнулось, встрепенулось, подсказало кого. И не вспоминал вроде бы, не думал о ней, а вот на тебе, только намек в жар бросил.

— Апачу! Тойона каликинского, знакомца нашего! Спрашивал о тебе.

— Что же ему надо? — разочарованно сказал Крашенинников. — Или привез какие вещи, табаком разживиться надеется?

— Привез, Степан Петрович! Кениллю, племянницу свою! — И залился хохотом, еле пересилил себя. — Извини-прости, Степан Петрович... Смешного тут нет, на Камчатке редкостно кто на русской женат, нету

здесь наших девок. Камчадалки же очень бывают пригожи, в хозяйстве умелые, работящие, послушные. Эх, будь Кенилля из острожка побогаче, сам взял бы. Красная девка! Мне без богатого приданого не встать на ноги, не отделиться, — по-мужицки рассудительно заговорил Лепихин. — Оклад пешему казаку пять рублей, да за хлеб денег не по здешним, а по якутским ценам дают. Как на такие средства прожить? Две рубахи пестрядиновые без малого годовое жалованье стоят! На все, с припасами съестными и военными, сорок рублей положить надо. Самое малое. А ежели еще семья на плечах?

«Вот и приноравливаются, кто как способен, — подумал Крашенинников. Нахлынувшая было радость ушла вдруг, настроение испортилось. — И житье казацкое не разнится почти от камчадальского. Промышляют рыбу, запасаются кореньем и травами, сети из крапивы вяжут. Бесчестные в разбой ударяются, дерут вопреки всем указам и не боясь три шкуры с ясашных людей. А что не своим горбом добыто, не жаль и в карты проиграть, спустить в кабаке. Оттого сами в полное разорение опять приходят и снова за грабеж берутся. В лучшем случае, перепродают двойною ценою товары купеческие. Не всякий ведь отважится в глубь Камчатки по торговым делам ехать, как Онуфриев. Такого и смертная угроза не остановит, ежели большая прибыль светит...»

— Дьяк Шергин, он почему иной раз самолично за ясаком ездит? Побольше чтоб к ручищам прилипло! — сказал Лепихин.

— Бог с ним, — брезгливо поморщился Крашенинников и сменил разговор: — Ты вот уже и побанился, принарядился, а я еще черный с дороги. Пойду отбеливаться.

— Так мы ждать вас будем, не позабудьте, Степан Петрович! — Лепихин опять чинно отвесил поклон.

Небольшая церковка Николая-чудотворца и своих, местных, не всех могла вместить, не то что и приезжих. За настежь раскрытой дверью толпился народ. Внутри было тесно, душно от приторного запаха расплавленного свечного воска, дыма кадильниц и пота. В груди нарастал кашель, оставаться в церкви стало невыносимо. Крашенинников с трудом протиснулся на волю, отошел от толпы и жадно задышал свежим воздухом.

Песнопенье слышалось и здесь. Вдруг в церковном нестройном хоре выделился тонкий посвист. Будто синичка голос подала: «Синь-синь». Жалобно, ласково:

— Студенталь, студенталь...

Он не решился обернуться. Она сама зашла спереди, приблизилась, замерла в двух шагах, вглядываясь в него блестящими, звездно мерцающими глазами. Изломанная бровь подрагивала, будто собралась вспорхнуть с чистого лба.

— Студенталь, студенталь.

А других слов по-русски и не знает.

Степан отозвался осевшим голосом:

— Кенилля... Здравствуй, Кенилля.

— Кенилля! — Она вся засветилась от счастья, что он запомнил ее имя. — Кенилля.

Их разделяло три шага. Нежное лицо в белой меховой опушке казалось окружено волшебным лунным сиянием. Внезапно надвинулась синяя тень.

Кенилля глянула вбок, вскрикнула и кинулась под защиту Крашенинникова. Он не сразу посмотрел в ту сторону, откуда пришла тень, а когда сделал это, неизвестный и тень его испарились.

Кенилля, дрожа всем телом, гибко прижималась к Степану. Полушубок был распахнут, он ощущал через кафтан и рубаху гулкие удары ее сердца. Оно билось, как птица в силках.

— Что испугалась? — А руки сами легли на узкие плечи, притянули еще ближе.

Капюшон сполз на спину. Степан поглаживал, чуть касаясь, стянутые косичками волосы.

— Не бойся. Никто тебя при мне не обидит.

Она затихла, успокоилась.

Так они стояли, замерев, пока Кенилля, опомнившись и устыдившись, не вырвалась из объятий и мгновенно исчезла.

Взволнованный и ошеломленный, Степан долго бродил по шумному пасхальному посаду, искал ее или каликинского тойона.

Потом уже, из случайного разговора узнал, что Апача почему-то крайне поспешно уехал из Большерецка. И племянницу свою увез. А может, из-за нее и уехал?

У МОРЯ



нег лежал до конца мая, лето и в июне по-настоящему не началось. Южные и юго-западные ветры несли дождевые облака, солнце проглядывало лишь по утрам и перед закатом, да и то кратковременно. Весь день висели туманы. Перенасыщенные, они изливались мельчайшим бусом. Непрестанное, длительное ненастье напитало тундру, как губку. Было сыро и студено. И — голодно.

— Всех обошел, Степан Петрович, — уныло доложил Аргунов. — Не желают и слушать. У нас, говорят, не в обычае корм продавать.

— И Рыжов отказал? — хмуро спросил Крашенинников.

— Никто продавать не хочет. Рыжов, правда, денег вам в кредит предлагал ссудить, под проценты.

— Без его кредита в долгах, как в шелках.

Двухгодичное жалованье, полученное в Якутске, почти целиком истаяло. Последние сто рублей Крашенинников держал в неприкосновенности, не вспоминал о них, будто уже и не было, берег на строительство избы или на совсем уже крайний случай.

— Что ж, Осип, придется нам с тобою еще потуже ремешки затянуть. Ты только не отчаивайся. Рыбы скоро в достатке будет, а там, глядишь, и урожай с огорода соберем. Видел, как дружно ростки пошли?

Огород завели в самом начале весны. Посадили репу, редьку, ячмень, горох, местные травы. По осени решено и деревья всякие развести, открыть, в общем, ботанический сад. В научных целях и, естественно, себе для подкормки.

— Веры в наш огород у меня мало, Степан Петрович, — откровенно сказал Аргунов.

— Верю — не верю... — Крашенинников рассердился: — Губит тебя твое неверие. От твоих постных речей и у другого руки опуститься могут. Нельзя так жить, Осип!

— А то, как мы живем, можно, Степан Петрович? — с отчаянием и безнадежностью ответил вопросом Аргунов.

— Ладно, не будем себе и друг другу душу травить. — Крашенинников сбавил тон. Помолчал, закончил убежденно и жестко: — А дело, порученное нам, обязаны делать. И — сделаем!

Рот его сжался и упрямо выпятилась нижняя губа.

— Все-то мы обязаны, — вздохнул пищик.

Крашенинников положил ему руку на плечо.

— Не так мрачно, Осип. Образуется. Вот-вот нерест начнется, поеду к морю, чавычу привезу.

Аргунов поморщился:

— Меня от всякой рыбы воротит уже.

— И мне не привычно без хлеба. Что же делать! Другие обходятся, привыкнем и мы со временем к камчатской еде. А чавыча свежеиспеченная, по общему мнению, штука превосходная.

— Скоро к морю ехать намерены? — спросил после недолгой паузы Аргунов.

— В середине июня. Раньше не советуют.

Талые воды с горных отрогов щедро пополнили обмелевшую за долгую зиму реку. Она обрела силу и стремительность. Две связанные борт о борт лодки-долбленки резво несло быстроходное течение. Батчики сидели на веслах, направляли плот, остерегали его от опасных столкновений. Низкие каменистые островки возникали неожиданно. В туманной дымке все было призрачно, неясно, размыто, горизонт сузился до нескольких саженей. Выручали опыт и обостренное природное чутье ительменов.

Главенствовал старший по возрасту, замкнутый, невзрачный на вид человек. Его подчиненный и напарник Гришка, парень лет двадцати с небольшим, плосколицый, с напряженными скулами и колючими, недобрыми глазами, команды выполнял беспрекословно, однако держался с подчеркнутой независимостью. Крашенинников сидел к Гришке спиной и чувствовал на себе неприязненный взгляд. Непонятный, необъяснимый. Степан не знал за собой никакой вины перед молодым ительменом.

Третий спутник, Иван Пройдошин, скорчившись, безмятежно спал на дне лодки. Руки служивого прижимали к телу ружье с исцарапанным прикладом, голова лежала на котомке с провизией; из другого мешка, поменьше, торчало березовое топорище. Ивану предстояло почти все лето жить у моря, замерять приливы и отливы воды. Столб для футштока, притороченный к плоту, одним концом торчал кверху, другим волочился в бурлящей толще реки, словно баты с людьми неотступно преследовала крупная хищная рыбина.

Временами то справа, то слева раздавался мощный всплеск. Отдельные нетерпеливые лососи уже проникли в реку и спешили в заповедные места нереста. Но настоящий ход еще не начался, и трудно было представить, что по такой быстрине, одолевая все преграды, рыбы пробьются к своей цели,

исполнят ценою жизни закон природы, незыблемый и неотвратимый закон продления рода.

К исходу дня туман разрыхлился, смутно проступили пустынные берега. Уже зазеленели кустарники и дружно взошли травы, окаймляя реку луговой венецейской ярью.

Название ярко-зеленого цвета и других красок Крашенинников узнал от художника Беркана, помогая ему растирать порошки на каменной плитке. «Скорее бы уже прибыли сюда профессоры, — подумалось сейчас, — а с ними и остальные члены научной свиты. Каждому дела хватит, и просто необходимо запечатлеть на бумаге искусной рукой художника многие диковины местной жизни и природы, ибо словесное описание дает лишь умозрительное представление».

Он опять ощутил на себе чужой взгляд и, помедлив немного, оглянулся. Гришка, застигнутый врасплох, не сразу отвел сверлящие глаза, и Степан еще раз попытался вспомнить, когда и чем вызвал к себе ненависть ительмена.

— Доберемся сегодня к месту?

Гришка молча кивнул.

— Сколько еще плыть?

Гришка неопределенно пожал плечами, явно уклоняясь от разговора.

«Ладно, не стану тебя неволить, — подумал Крашенинников. — Да и не годится отрывать от дела».

Не дай бог зазеваться, опрокинуться в два счета можно.

В соседней лодке брякнул металл. Пройдошин, еще не открыв глаза, схватился за оброненное ружье. Успокоившись сразу, сонно огляделся.

— По Большой уже идем, — отметил удовлетворенно.

Плот шел по объединенному руслу двух рек, Быстрой и Озерной, второй час. Течение здесь было спокойнее, ровнее, простор для маневра — больше, а значит, и плавание безопаснее.

— Теперь и вздремнуть не грех, — зевая, сказал Пройдошин.

— Неужто не выспался? — улыбнулся Крашенинников.

— Служба — дело такое, Степан Петрович, — охотно пояснил Иван, — есть возможность, отсыпайся и впрок прихвати. Иной раз ведь сутками на ногах и глаз не сомкнуть.

— Давно в солдатах?

— Двадцатый год, а сколь ночей бессонных было и не сосчитать. Да и к чему цифири? В жизни, Степан Петрович, особливо в моей, солдатской, завтра что и вчера.

Он насторожился, прислушался.

— Никак шум морской долетел.

Голос моря становился все отчетливее и громче.

Мерный столб, размеченный на парижские футы, с трудом, но установили. Полуденную линию провести оказалось куда сложнее: не было солнца, невозможно настроить солнечные часы. Карманными не снабдили, приобретать же на свои деньги — непозволительная роскошь для студента академии.

Минула неделя, вторая началась, как обосновались у моря, а в погоде никаких изменений. Облачно, туманно, дождит, а уж в полдень небо так затянуто плотной серостью, что и приближенно не выяснить местоположе-

ние светила, не определить точку отсчета времени, не связать цифровую колонку уровня воды с временной осью. От безотносительных данных мало проку для практики мореплавания.

Бесплодное ожидание тяготило.

— Экое невезение, — досадовал Крашенинников. — Всего-то дела на несколько минут, но дело изначальное, исходное, без него вся большая работа стоит.

— Не терзайтесь вы так, Степан Петрович, — успокаивал Пройдошин. — Ваша, что ли, вина? Распогодится еще! И не сидите же без дела. Вон сколько всяческих трав понасобирали и в тетрадочке своей отметили, рыбок, птиц на заметку взяли. Не без пользы, стало быть, дни текут. А завтра-послезавтра густой ход чавычи начнется, знатная будет картина!

Батчики уже пытались поймать чавычу, не получилось.

— Аховые вы добытчики, — подтрунил Пройдошин, — неумелые.

Гришка, на стоянке он верховодил над своим старшим напарником, вскипел:

— Неумельные? В таком широком месте только дураки за рыбой гоняются!

— А вы другое, прибыльное отыщите.

— Не надо искать, знаем, так не отпускает далеко начальник!

Крашенинников запрещал надолго угонять лодки. Рассчитывал, поймав солнышко, тотчас плыть в Большерецк.

— Ну хорошо, — разрешил Крашенинников. — Можете пока рыбачить где вам угодно.

Ранним утром ительмены загрузили баты крапивными сетями и, орудуя длинными шестами, поплыли вверх. Еще до первой излучины пропали в тумане.

— Теперь не сомневайтесь, Степан Петрович, привезут рыбки, — уверенно сказал Пройдошин. — Гришка, он заводной и себялюбивый до невозможности. Я его издавна знаю. Он в нашем остроге в заложниках был. Сбежал однажды, однако родитель его, тойон Шикуйка, обратно привез. За беглого аманата целое камчадальское селение пострадать может. Потому и поступил так Шикуйка, а Гришке, ясное дело, всыпали горяченького. С тех пор и обозлился, своих и чужих возненавидел. А малый отчаянный и умом не обижен. Русский знает отменно, охотник удачливый. Вот только с женитьбой не вышло. Год, а то и более старался, можно сказать, батрачил по своей воле, а все зря. После этого и к себе не вернулся, у нас пристроился батчиком и рыболовом служит.

— А где у него не сладилось? — Крашенинников сразу подумал о Кенилле.

— С женитьбой-то? Да поблизости, в Каликином острожке.

«Он, он и есть», — перед глазами тотчас всплыла давняя ночная сцена, бегство жениха-неудачника из острожка тойона Апачи. Вспомнились и слова Лепихина: «Гришка-Кешлея на все способный».

— Не знаешь, Иван, как его до новокрещения звали? — сдерживая волнение, спросил Крашенинников.

— Я ихние имена в голове не держу. Меня-то самого и по отчеству никто ведь не кличет. Ежели вам интересно, Гришку и спросите. К утру вернется.

— Почему к утру? К ужину, верно, приплывут, чавыча уже не такая редкость в реке.

— Потому и жду до завтрашнего утра. Пока сами добытчики не поедят, не выспятся, о других и не подумают.

— Зачем же ты, Иван, не хорошо так о людях говоришь, — укоризненно произнес Крашенинников.

— Не в укор я. Не в том дело. Суеверие у камчадалов, за великий грех почитается, когда не сам добытчик первую чавычу съест, другому отдаст или с кем поделится. Ты хочь с голоду мри, любые угрозы чини — все едино не будет иначе. Первый чуприк, свежевыловленная рыба, испеченная в костре, — добытчика. Это у них свято!

Так и произошло, рыбаки прибыли только следующим утром. На дне лодки, в серединной ее части лежали полутороаршинные рыбины, белобрюхие, с серебряными боками, с черными пятнышками на отливающей синью спине.

— Вот! — торжествующе объявил Гришка, похваляясь уловом. — Шибко нынче вкусная *чоувыча,* вчера по целому чуприку скушали, подняться не могли.

Напарник Гришки молча и сыто улыбался. Камчадалы не чувствовали за собою вины, не испытывали неловкости. Такой порядок заведен исстари, праотцами.

В последующие дни рыбаки возвращались быстро. И ловить стало проще. Чавыча шла косяками и с такой мощью, что вода перед ними валом вздымалась.

Иван соорудил навес с сушилом. Под травяной кровлей повисли длинные ряды распоротых по брюху рыбин с нежно-оранжевым нутром. И полнились засоленной икрой объемистые деревянные посудины.

— Теперь о харчах никакой заботы, — сказал Пройдошин. — За чавычей другая рыба пойдет, ешь не хочу!

Крашенинников лишь вздохнул в ответ.

— Не страдайте, ваше благородие Степан Петрович! Что за невидаль дожди да туманы. Здесь это обыкновенность. Камчатка — страна печальная.

— Меня уверяли, что июнь и июль самые подходящие месяцы для обсерваций.

— И верно говорили, — невозмутимо сказал Пройдошин. — Просто год такой мокрый выпал. И зима холодная была, лето припозднилось.

Сидевший на корточках у костра Гришка неожиданно вступил в разговор, процедил враждебно:

— Все из-за тебя, начальник.

— Из-за меня? — опешил Крашенинников.

Пройдошин засмеялся:

— Что городишь-то, что плетешь, Гришка! Что ж, по-твоему, господин студент в котомке своей морозы сибирские на Камчатку завез?

— Да! — дерзко подтвердил ительмен. — Старики наши еще зимой объяснили, что небывалая стужа от студента происходит!

— Ну и темнота! — воскликнул Пройдошин. — И ты в эту чушь поверил? А я-то тебя за умного принимал.

Крашенинников остановил плотника:

— Погоди, Иван, — обратился к Гришке: — Какие же у ваших стариков доказательства?

— Разве тебя не студенталем зовут? От слова «стужа», шакаинач поительменски.

— Вольно толкуешь. — Крашенинников улыбнулся. — Но допустим, что сие верно. Какой же отсюда вывод?

— Значит, от тебя и холод исходит, — твердо ответил Гришка. — Когда шакаиначь, тепло не может быть.

— Весьма логично, — уже совсем весело сказал Крашенинников и спросил: — У тебя какое имя до христианского крещения было, Григорий?

— А оно и осталось при мне! — вызывающе крикнул Гришка. — К е ш л е я!

— И что это по-вашему значит?

— «Не умирай»!

— Надо же! — покачал головой Пройдошин.

Крашенинников спокойно сказал:

— Что ж, хорошее имя. А чем обязан такому?

— Слабым родился, не выжил бы. Теперь до сих пор живой!

Последние сомнения отпали. Конечно же, Гришка-Кешлея и есть тот самый неудачливый жених, это его боится Кенилля.

— Да, хорошее имя, — повторил Крашенинников.

Гришка-Кешлея посмотрел на него исподлобья и не отозвался.

Ночью, лежа под волглой шкурой, Степан долго ворочался, думал о Гришке, Кенилле, о себе. Странная связка получилась, запутанный узел, не предугадать, как развяжется.

И снова наступил день, мглистый, безрадостный. Крашенинников спозаранку отправился на косу, наблюдать за морскими птицами. Сотни их с криками и стоном носились над вспененным простором, стрелой вонзались в крутые впадины меж волнами, выхватывали добычу, жадно заглатывали на взлете. И на суше, на песчаной насыпи и широком пляже бродило великое множество серых, рябых, чернокрылых, с красными, желтыми, зеленоватыми хищными клювами птиц.

Небольшая серая чайка с красным носом и красной лапкой забавно перескакивала с места на место на одной ноге. Крашенинников вспомнил однорукого Данилу, пошел за чайкой-калекой. Вот ведь приспособилась, живет. А ловко-то как скачет! Увлекшись, не заметил, как дошел до конца отмели. И тут брызнуло с неба золотом. Будто желтый цыпленок из скорлупы выклюнулся.

— Солнце! — И он кинулся назад, к становищу.

Уже начался прилив, затопило галечные откосы, лохматые волны рушились на косу. Под сапогами похрустывали и трещали раковинные скорлупки, пустые панцири крабов, пружинили извергнутые морем водоросли.

Сухая перемычка, по которой Крашенинников попал на косу, исчезла под водой, пришлось бежать в обход, сделать большой круг. Бежал и все поглядывал на небо: «Только бы не закрылось, успеть бы только!»

Не успел. Солнце задернуло непроницаемой дымкой. В мглистом небе смутно виднелось расплывчатое жирное пятно, затем и оно пропало.

— Что за незадача! Какое невезение! — расстроился Крашенинников. Он тяжело дышал, ловил воздух раскрытым ртом.

— Ну что уж до запарки гнать было, Степан Петрович? — неодобрительно сказал Пройдошин. — Не прозевал я, без вас справился. Тень на часах здесь вот была, а вода поднялась на семь футов с четвертью.

— Ах, молодец, умница! — Крашенинников готов был расцеловать Пройдошина. Не проворонил, сообразил, что и как. За одно это похвалы достоин.



— Кабы солнце еще продержалось, так и момент отлива засек бы.

«Кабы солнце, да кабы еще и часы солнечные настроены были!» — с горечью подумал Крашенинников, но служивого огорчать не стал:

— Молодец, право молодец! А я вот сплоховал: единственный раз отлучился в полуденное время и на тебе прозевал!

— Не казните себя, Степан Петрович. Чего уж так убиваться. Не нынче, пусть и не завтра, все равно ж распогодится!

— Не дни, недели уходят попусту, Иван!

В голосе Крашенинникова было отчаяние.

— Да полно вам, цельную тетрадку исписали за это время, чучел из рыб наделали, а все недовольны собою. Прямо-таки бога гневите, Степан Петрович, — мягко укорил Пройдошин.

— Это все капля.

— Капля! По капле и моря собираются, как в народе говорят. И не все враз получается, как желаем. Распогодится еще!

Прошла очередная неделя, солнца не было. Крашенинников принял решение:

— Все, конец. Ни мочи, ни возможности больше ждать у моря погоды. Сворачиваться!

Батчики держались правого берега. Левый, крутой и приглубый, негоден к плаванию вверх, против течения. Не веслами, шестами двигались лодки. И случись что, не выбраться из бурливой стремнины на сушу. К самой кромке обрыва левобережья подступала сплошным палисадом зеленая стена осоки. Местами ее оттесняли колосовики. Будто в старой замшелой изгороди починили прорехи свежеободранным кольем. Высокая, богатырская растительность скрывала пойму, виднелись только дальние горы в зимних шапках.

Зато другой берег щедро распахивался взору до северных холмов, до равнины на западе, нисходящей к теперь уже невидимому морю.

За месяц все так разрослось — не понять: трава это, кустарник или молодые деревца.

Сладкая трава вымахала до полутора метров, голенастые, коленчатые стволы раскинули стебли с белыми зонтиками.

Еще выше, в полтора человеческих роста, поднялась кутахжа, толстый, с руку «медвежий корень». Растопыренные ветки кутахжи венчали плотные плоские соцветья, точно китайские тарелочки зависли на кончиках пальцев бродячего фокусника.

Повсюду буйно цвел трехметровый шеломайник.

Белое однообразие зонтичных празднично раскрасили лилейные: кудрявые черно-пурпурные головки сараны-круглянки, жарко-алые овсянки, раздувшиеся до грецкого ореха шестигранные пестики тамарки, золотисто-атласные лютики. Пестрое разнотравье источало терпкий медвяный запах.

Подул вечерний бриз. Ветер шершавил поверхность воды, река стала муаровой.

Борьба с течением вконец изнурила батчиков. Несколько часов кряду орудовать шестом, толкать тяжело нагруженные лодки, а их опять разъединили, не простая работа даже для привычных к такому делу и выносливых от природы ительменов. Но они не просили отдыха, не приучены были жаловаться на усталость.

— Скоро, помнится, летовье должно быть, — сказал Крашенинников.

— За поворотом, — с натугой оттолкнувшись шестом, подтвердил Гришка и смахнул со лба обильный пот.

— Там и пристанем.

Гришка согласно кивнул. За месяц совместной жизни у моря он если и не изменил в душе своего отношения к студенту, то во всяком случае внешне не выказывал открытой неприязни.

Вскоре завиднелись огни. Подсвеченные пламенем костров балаганы чудились издали сторожевыми башнями укрепленного городища. В прошлый раз, по пути вниз, прохудившиеся, одряхлевшие строения на столбах и голое, безмолвное становище выглядели разоренными, оставленными людьми навсегда. Теперь временное селение казалось извечно обжитым, постоянным. Граненые купола балаганов перекрыты свежими травами, множество шалашей, навесов с суши́лами.

На летнюю страду прибыл из острожка и стар и млад. Прикочевали сюда со всем домашним имуществом, с собаками. Ездовые лайки держались стаями, отъелись после зимних трудов и скудной кормежки, дрыхли в ленивых позах. Ни один пес голос не подал, когда в летовье появились чужие. Да и люди, поглощенные делами, не выказали ни тревоги, ни особой радости. Пристали к нашему берегу, ну и располагайтесь, где вам удобно и угодно, на всех места хватает. И места и пищи.

На длинных жердях сушил вялилась юкола. Широкие пласты и целые рыбины, распоротые по брюшине и выпотрошенные, висели точно крупные осенние листья. Запах рыбы пропитал, казалось, не только строения и землю летовья, но и всю округу с небом над головой.

Пройдошин со старшим батчиком готовили ночлег, Крашенинников с Гришкой, которого взял в толмачи, ходил от костра к костру.

Любо смотреть, как женщины и молодые девушки обрабатывали острыми каменными ножами рыбу. Делали они это с таким проворством и быстротой, что мальчишки едва поспевали уносить рыбу к сушилам.

Часть дневного улова была в лодках. Их вытащили на берег вместе с добычей, как большие корыта, выплавляли в них рыбий жир.

В кострах, словно в кузнечных горнах, жарились гранитные булыжники. Мускулистые парни выхватывали из огня дымящие, накаленные камни деревянными рогатинами и быстро переносили их в лодки с рыбой.

— Берегись!

Камень с легким шлепком падал в лодку. Оттуда с брызгами и шварканьем вырывался дым и пар.

В других лодках-корытах таким же способом готовили рыбную похлебку для людей и собак.

Удивительное зрелище! Будто на другой планете очутился, где заря существа разумного только занялась. А это ведь на Земле происходит, не в заоблачной дали. За шесть-семь недель можно добраться отсюда до Якутска. Там и железоделательный завод есть, топоры куют, отливают котлы из металла, скобы, гвозди, всякий инструмент производят. Не полторы тысячи верст, а тысячи тысяч лет разделяют сопредельные края!

И другие мысли рождала обыкновенная картина ительменского летовья, мирного вечернего занятия людей.

«Сколь живоспасительной мудрости, изобретательности, искусности в древнем народе, что и таким неприхотливым образом бытия сохранил и продолжает свой род. Изумления и восторга достойно!»

Хотелось поделиться своими думами, но рядом стоял только Гришка-Кешлея, для которого все, что поражало Крашенинникова, знакомо и привычно с младенчества, часть его собственной жизни. И все же...

— Григорий, — заговорил Крашенинников, — ты вот немало времени прожил в остроге, приобщился к русскому быту, к железу, меди, письму, пороху — ко всему, что знает давно половина света. Затем вернулся к сородичам. К деревянной утвари, каменным орудиям. Какими глазами увидел ты свое прошлое и настоящее?

— Домой вернулся, и все, — кратко ответил Гришка. То ли не понял существа вопроса, то ли не пожелал вдаваться в подробности.

— Ну, а что бы ты хотел взять или купить у русских? Самое что ни есть необходимое тебе.

— Ружье! — выпалил Гришка и, как бы спохватившись, уточнил: — Для охоты.

— А кроме ружья? Нож, котел, кафтан, другое что?

— И нож, — твердо сказал Гришка. Покривил рот в усмешке: — Все другое русские у нас берут. Одеваются в наши ительменские одежды, едят такую же рыбу, ездят на наших нартах, даже в жены берут наших девушек.

Сказал и отвел взгляд. Крашенинников нарочно опустил последние слова Гришки, будто не слышал их, обобщил разговор:

— Сама природа диктует людям способ жизни. Суровый здесь край, однако ж и не хуже других.

— «Не хуже». — Гришка высокомерно хмыкнул. — Это наш край. Не мы, вы тут иноземцы, с другой земли пришли...

Крашенинникову и самому уже приходила эта простейшая мысль: как же не логично называть аборигенов «иноземцами», не где-нибудь, на их же родине!

Но всегда ли Камчатка была их родиной, не пришлые ли они здесь и сами? Это уже другой вопрос, не простой. Для ответа на него требуются исторически достоверные данные, а их нет, одни лишь догадки, предположения.

— Кто знает, — мирно возразил Крашенинников, — может, и твои далекие предки прикочевали сюда. Из Мунгалии [1], к примеру. Теперь и мы тут селиться стали, обживаемся.

— А зачем? — не отступился от своего Гришка. — Если у вас лучше, зачем к нам ездить? Если у вас все есть, зачем нашу рыбу, кожи, меха так шибко далеко везти?

— Ишь ты какой задиристый, — улыбнулся Крашенинников.

— Разве не так я сказал?

— Так, так. Да только и мы ведь к вам не с пустыми руками прибываем. И главное, основное, что привносим в вашу жизнь, — это грамоту, просвещение. А без просвещения нет движения вперед.

Гришка промолчал. В словах русского студенталя есть, конечно, правда. Много хорошего и нового пришло на Камчатку из-за моря и северных гор, железо вытесняет дерево и камень, свет грамоты подобен факелу в кромешной тьме, но ружья изрыгают пороховой огонь и свинец не только в медведей...

— Чай, однако, готов уже, — уклонился от дальнейшего спора Гришка.

---

[1] Монголии.

— Сейчас пойдем к своим. На травниц еще поглядеть надо.

Женщины быстро и безошибочно раскладывали травы и корешки, собранные за день. Всякому растению свое место и предназначение. Одни — в пищу, другие — для лечения, третьи — сырье для ремесленных поделок. Груда разнотравья дробилась на кучки и пучки, таяла на глазах, исчезала в рогожных мешках из колосняка.

Многие растения Крашенинников уже знал, что и на вкус испытал, что видел в мастерски изготовленных вещах. Знание силы в травах и употребление их вызывало восхищение и добрую зависть.

Камчадалы на своей земле везде и всегда корм отыщут, найдут чем избавиться от хвори, изобретательно используют в быту каждую былинку. Природа, вскормившая и взрастившая все человечество, как и миллионы лет назад, оставалась главным и незаменимым в повседневном бытии, залогом сохранения и приумножения рода.

«Сколь важно обстоятельно изучать и знать родной край, жить в согласии с природой, — думал Крашенинников. — Можно лишь диву даваться, взирать с почтительностью и восторгом на, казалось бы, дикий народ, достигший высшей мудрости потребления земных даров».

Клубни сараны, похожие на чесночные головки, заменяют крупы, учихча — капустный лист, крапива — лен и пеньку. Сочные, вкусные, как земляные орехи, корневища сикуя, вареные луковицы овсянки, сырые стебли шеломайника и морковника, молодые побеги ульмарии, мясистые тамарки — все идет в ход и на пользу. Кипрей, иван-чай, не только заварка, но и приправа к рыбе и мясу, а выскобленная и высушенная сердцевина напоминает калмыцкие огурцы; из отваренной сердцевины получается отличное сусло для кваса или крепкий уксус. Пригождается даже жвачка кипрейная — верное средство лечения пупков младенцев. Да вся камчадальская аптека из трав и кореньев. На что ядовит и опасен омег, прежде им натирали наконечники стрел и копий, а затем научились и боль снимать в пояснице...

Женщины будто на ощупь, не глядя, сортировали траву. При этом еще и непрерывно жевали, так же не глядя, казалось, совали в рот что попало. А то и безбоязненно лакомились сладкой травой.

По весне, когда все камчадалы и русские после долгой зимы накинулись на полевой лук — черемша излечивает от цинги, — а позднее и на молодую сладкую траву, жестоко пострадал от нее Осип Аргунов. Губы, подбородок, нос, щеки — все лицо вспухло, запрыщавело. Неделю отхаживали настойкой кайлун-травы... «Экий ты невнимательный, Осип, — пожурил пищика Крашенинников. — Неужто не видел, что ительменки траву сладкую, борщевик по-нашему, не голыми руками срывают, а в перчатках, грызут, не прикасаясь губами к стеблю». Аргунов пробубнил раздутыми губами: «Стебель-то, будто пудрой сахарной обсыпан...»

Подошел Иван.

— Ваше благородие, ужин стынет. И чай ждет.

Глянул на жующих ительменок, снисходительно заметил:

— Всеядущие, никаким подножным кормом не брезгуют.

— Зато мы слишком разборчивыми сделались! — резко сказал Крашенинников. — Нос воротим, а то и похуже — топчем или губим от жадности и безрассудства земные приношения, богатство и красоту матушки планеты. Так что не насмехаться, а удивление свое выражать должно. И пример с таких людей брать.

Пройдошин, никак не ожидавший услышать такую отповедь на свои, как он полагал, безобидные слова, поначалу смутился, затем произнес усмешливо:

— Испробовал я однажды их дурманное зелье, едва рассудок не потерял и живота не лишился.

— Какое такое зелье? — заинтересовался Крашенинников. Они уже шли к месту своей ночевки.

— Настойку мухоморную. Камчадалы, особливо коряки сидячие, для храбрости дурманят себя, ежели на кровавое дело собираются. Понемногу, верно, пьют. Я же глотнул изрядно. Задергался весь, страшные видения нахлынули. Кабы не товарищи, сам себя порешил бы. Ужасное дело!

— Не тот пример взял. Мухомор! Одно название само за себя говорит: отрава!

— В том и беда наша, что не верим, пока лоб не расшибем, на деле испробовавши, — самокритично признал Пройдошин и засмеялся.

— По мне так смешного в этом мало, — грустно сказал Крашенинников. — Знаем, что хорошо, что дурно, а поступаем как вздумается, отказать себе ни в чем не желаем.

— Если очень хочется, то можно, — убежденно вставил вдруг молчавший до этого Гришка-Кешлея. И почудилось, что две искры из костра влетели через узкие щели глаз в его черные зрачки.

ВОЗВРАЩЕНИЕ ПЛИШКИНА



тправляя на Лопатку и острова Степана Плишкина, Крашенинников установил ему срок возвращения пятнадцатое июня. Пошла вторая половина июля, а о служивом ни слуху ни духу. Что с ним приключилось?

— А что угодно статься могло, — охотно пустился в рассуждения караульный Евплампиев. — Могли и в проливе утонуть, могли и на Курилах смерть от моря принять.

— Спасибо, утешил.

— Утешай, не утешай, Степан Петрович, а против стихии человек бессилен. Тут уж кому что суждено. В прошлом году, в месяце октябре, когда на Шоумшчу море обрушилось, я по своим делам на Аваче находился. И там ужасть, что творилось! Трясение началось в тот же час, что и на островах. Первое светопреставление как-то обошлось. Третья же волна поднялась сажень на пятнадцать. Мы, слава богу, на сопку взбежать успели, а то б слизало и нас.

Не узнать потом местности было. Низменность буграми вздулась, бугры сровнялись, а промеж реки Вилючик и Авачинской губой новая гавань образовалась.

Вместо луговины с клюквой и шикшей и поныне вода плещется. Балаганы с землей унесло, двух иноземок и парня утопило. Такое же несчастье и на Лопатке произошло, а на островной гряде, как узнали впоследствии, будто кара небесная свершилась.

О том, что сталось на Шоумшчу, Крашенинников был осведомлен. Чудовищное стихийное бедствие началось в три часа ночи. Люди проснулись от грохота. Будто под землей горы рушились. Все в страхе покинули жилища. И вовремя. От первого же толчка строения рассыпались. Остров ходил ходуном, невозможно было на ногах устоять. Так длилось с четверть часа, и потом земля еще долго дрожала, не успокаивалась.

Едва стихло и гром в недрах заглох, с моря нахлынула шестиметровая волна. С великим шумом затопила высокие берега, приостановилась на миг и откатилась обратно, оголив до дна прибрежную полосу. Тотчас опять загремело, земля вздыбилась, пошла волнами.

Второй вал поднялся еще выше, отринул еще дальше, все подводные скалы до подошвы выступили. И тогда объявилась третья волна, гигантская стена воды и пены. Все, что лежало, стояло, росло на ее пути, — все исчезло в пучине...

— А сколько людей и в другие, спокойные дни пропадают безвестно в самом проливе, не доплывают до острова! — Евлампиев махнул рукой: не сосчитать, мол, не перечислить.

— Будет тебе страхи нагонять! — не выдержал Аргунов. Рассказы о гибели и катастрофах действовали на него угнетающе. — Не каркай.

— Ничего я не каркаю, рассуждаю, что могло задержать в пути.

— Так никакого ж просвета в твоих рассуждениях!

Тут и Евлампиев в наступление перешел:

— Разве я всякую надежду оставляю?

— Прямо-таки Александр Великий! — с улыбкой вмешался Крашенинников.

Сравнение прозвучало неожиданно и непонятно.

— Это почему, ваше благородие?

Крашенинников показал книжку в затертом кожаном переплете.

— Рассказ здесь есть о македонском царе-полководце. Когда он на персов идти собирался, то раздарил друзьям и соратникам все свое царское достояние. «Что же, царь, оставляешь ты себе?» — спросили Александра, а он и ответил: «Надежды!»

Евлампиев горделиво посмотрел на Аргунова:

— А ты говоришь: «Каркаю!»

Засмеялись. Не очень, однако, весело.

— Может, зря так печалимся, чуть ли не оплакиваем его, — опять начал разговор Евлампиев. — Может, он сейчас вот и явится живой-здоровый, тут как тут...

— Тихо, — предостерегающе поднял руку Аргунов.

Все прислушались.

— Идет кто-то.

Звук шагов приблизился, раздался стук.

— Входите! — заволновавшись вдруг, крикнул Крашенинников.

Дверь распахнулась, в сером проеме возникла темная фигура в обвисшем кафтане.

— Прибыл, — доложил Степан Плишкин.

Будто камень с души свалился! Все бросились к нему, заговорили разом:

— Вот и «накаркал»! Тут как тут!

— Ох, чего только не передумали про тебя!

— Раздевайся! Осип, чай давай и поесть, с дороги человек.

Плишкин никак не ожидал подобной встречи, растерялся даже.

— Да я, Степан Петрович... Я того... это...

— Садись, рассказывай, что там с тобою приключилось!

Плишкин еще сильнее смешался.

— Ничего такого... Пощадила, можно сказать, фортуна.

— Ладно, поешь, попей, затем уже все по порядку выложишь.

— Как прикажете, — охотно повиновался Плишкин. Он и прежде не очень исправно выглядел. Из дальней поездки вернулся совсем исхудавший. Подглазья набрякли; нос — цветной сосулькой: обгорел на морском солнце, будто насквозь просвечивал лиловыми прожилками.

Евлампиев подтолкнул локтем Аргунова.

— Носище-то совсем клюковным стало.

— Да-а, не одне чаи гонял, — шепнул в ответ Аргунов.

Крашенинников строго взглянул на них:

— Не судачьте за спиной.

И ему не очень понравился вид Плишкина. Настораживала не столько жалкая внешность, сколько быстрая, на глазах, перемена, происшедшая с человеком. Обогретый, обласканный радостной встречей, Плишкин обрел вдруг важность, не свойственную ему прежде, или, наоборот, свойственную, но очень давно и не в Большерецке. Расселся вольготно и независимо, громко отхлебывал из кружки, свысока поглядывал на товарищей.

— Рассказывай, — потребовал Крашенинников. — С самого начала.

Плишкин неохотно отставил кружку с недопитым чаем, заговорил как по писаному:

— Пятнадцативерстный пролив, отделяющий камчатскую Лопатку от первого острова Курильской гряды, можно одолеть на байдаре за три часа. Но только в штилевую погоду и в паузах между приливом и отливом. Время отлива крайне опасно для плавания. Море словно втягивается в себя самое, возникает гигантская волна. Длиннющая, высоченная, с белой гривой на загнутом хребте. Казаки называют такие валы сулоем. Его ни с какой зыбью не сравнить. А зыбь в тех местах бывает, притом, частенько. Пологими горбами ходит, лодки дыбом встают, однако ж ничего, выравниваются.

Из сулоя не выбраться: все подминает, затягивает. Даже ослабевший, понизившийся сулой гибелен мореплавателям. Мы с Лопатки двумя байдарами пошли. В первой, головной, люди были опытные, сильные, а не спаслись. Царство им небесное.

— Отчего ж они в сулой сунулись?

Плишкин не удостоил Аргунова ответом, рассказывал как бы только Крашенинникову.

— Курильцы называют сулой именем своего божества, Камуя. Смертоносная волна, по их представлению, — одно из обличий всевышнего. Потому кормщик непрерывно задабривает море, кидает в воду идолов из деревянных стружек, шепчет заклинания. Камуй, однако, привередлив и ненасытен. Наша байдара чудом спаслась. Видно, христианский господь под защиту взял, нагнал ветер. Суденышко наше отнесло на безопасное удаление, и к вечеру мы благополучно пригребли к острову.

На Шоумшчу пробыли месяц, пока ясашные мужики не добыли в уплату морских бобров и огненных лисиц.

Остров весь гористый, с озерками и болотами, текут там и малые речки. Курильцы обитают в трех местах, по речным берегам. Всего на Шоумшче

сорок четыре человека. На Поромусире же, который вдвое больше, и того меньше людей.

Сколько островов в Курильской гряде и жителей на них, никому не ведомо, хотя между ближними и дальними курилами ведется коммерция. С юга везут деревянную лаковую посуду, сабли, женские украшения, посуду тонкую белую с рисунками, шелка, бумажную материю.

— Хорошо поет, — опять шепнул Аргунову Евлампиев, — чем только кончит?

Обстоятельный рассказ Плишкина был интересен, но что-то долго подбирался он к собственным делам.

— А тебе что заполучить удалось? — спросил Крашенинников.

— Это... много чего!

— Реестр составил, как было велено?

— Точно так, все по форме. Вещи не распаковывал еще, а бумаги все при мне.

Что-что, а бумаги сочинять Плишкин был мастер. И почерк — одно загляденье. А вещи не только названы, но и у кого, где и за сколько куплены.

— Значит, и японские предметы добыл. Молодец!

— Точно так, Степан Петрович. На Поромусире отыскал поднос лаковый, чашу, сабли и серьги серебряные. Диковинные и ценные вещицы!

— Да, цены и впрямь диковинные.

— Ни капельки не переплатил. С выгодой приобрел, Степан Петрович! И понеже всего соблюдал ваше наставление не чинить иноземцам тягости, не озлоблять их, — стал похваляться Плишкин. — У них такие вещицы промеж своих куда дороже ходят! За саблю по пяти бобров дают, а бобер к фунту табаку приравнивается. Я ж по половине верстал, а шапку из птичьих перьев и вовсе задаром получил!

— Погоди, — нахмурился Крашенинников. Брови сомкнулись у переносицы, заметно выступила вперед нижняя губа. — Получается, что супротив местных, курильских цен никакой экономии и не было. Сабля и чаша в шесть фунтов обошлись.

— Точно так! Это... — Плишкин запутался, но тут же вдруг сорвался на крик: — Не прикарманил же я казенные средства!

— Не прикарманил, а пропил, — ввернул Евлампиев. — Знаю тебя.

— Да как ты смеешь! — притопнул ногой Плишкин. — Да знаете ли вы все, какой пост занимал Степан Устинович Плишкин в столице?

— Ох-ах, как распетушился! Прямо вспучился от спеси!

— Прекратить! — остановил перебранку Крашенинников.

— Слушаюсь, — буркнул Евлампиев, а Плишкин, опомнившись, сразу сгорбился, сник, блудливо забегали бесцветные глаза.

Крашенинников опять углубился в реестр.

— И нерпу, значит, привез.

— Ваше благородие... Это... нерпы нету. С нее... вся кожа слезла.

— Шкуру бы с тебя самого спустить! — опять вышел из себя Евлампиев.

— Ну вот что, — сказал Крашенинников спокойным, но таким ледяным голосом, что у Плишкина тотчас все внутри обмерло. — Евлампиев, Аргунов, идите проветритесь, охладитесь. Я без вас разберусь. А ты, Плишкин, не юли. Не откроешь всю правду, пеняй на себя.

— Ваше благородие, господин студент, Степан Петрович! Как на духу скажу, без утайки!

Евлампиев с Аргуновым покинули избу.

— А студент-то наш, а? Характер! — Евлампиев даже огогокнул от удивления.

— Еще какой, — подтвердил Аргунов.

— Вот уж не гадал, не думал! Но этот-то, пьянчуга, вор, а? Не миновать ему батогов!

— Ничего ему не будет. Характер у Степана Петровича железный, душа восковая.

А в избе шла другая беседа.

— Как на духу, ваше благородие!

— Встань, — поморщился Крашенинников. — Садись к столу. Говори. Как же ты дошел до такого?

В судьбе Плишкина отразилась целая эпоха. При царе Петре благодаря расположению Скорнякова-Писарева быстро выдвинулся по службе, был на хорошем счету. В смутные, переменчивые и жестокие послепетровские времена Плишкин, имея достаточно примеров, последовал правилу: губи других, иначе эти другие тебя погубят.

— Для собственного самосохранения на такое решился, — всхлипывая и сморкаясь, оправдывался Плишкин. — Не переметнулся бы в стан светлейшего князя Меншикова, не сносить головы. — Он горько усмехнулся: — Голова уцелела, только следом за Скорняковым-Писаревым загремел в Сибирь и Меншиков, а меня еще дальше сослали... Тут и пристрастился я к вину, опустился. На другой день перо из рук выпадает. Потому и отдал меня дьяк. Не губите, ваше благородие! Возмещу все убытки!

— Ладно, иди. Подумаю, как поступить.

Злость, возмущение, сострадание и презрение к этому жалкому, исковерканному судьбою человеку смешались в душе Крашенинникова. «По закону и по совести надо бы... А надо ли? Что это даст, для дела? Ладно, не совсем с пустыми руками возвратился. Кто знает, удастся ли самому попасть на Курильские острова. И какие перемены ожидают их, острова, и людей там проживающих ныне?»

Степан Плишкин жил в страхе неделю, держался ниже травы, тише воды, затем понял: пронесло и не до него, Плишкина, стало Крашенинникову. Из Охотска приплыл корабль, бот «Гавриил».



31marta.ru

ГЛАВА ШЕСТАЯ

ОТ МОРЯ ДО ОКЕАНА



ерые, набухшие влагой тучи клубились, низили небо; синие дождевые космы свисали прядями. Изредка глухо, словно из-под земли, невнятно погромыхивал гром, бледные молнии были едва видны. Еще по-летнему держалась теплынь, хотя по утрам нет-нет да обсахарит иней пожухшие травы. Начиналась камчатская осень. Порывы ветра обрывали с деревьев коричневые и желтые листья, они слетали густыми стаями, как воробьи. На выцветших лугах отмирал шеломайник, поседел кипрей, лишь кутахжа стояла нетронуто, молодым леском.

Наступила ягодная пора. Люди запасались плодами боярышника, жимолости,смородины, орешками кедрового стланца. Ительменки, вооружившись тычками, палками с острием, искали и раскапывали мышиные амбарчики, доставали зубчатые клубни сараны.

В камчадальских балаганах и казачьих избах, под навесами — всюду досушивалась юкола; кисла в ямах рыба и красная икра. Аборигены икру квасили, сушили, набивали ею пустотелые стволы борщевика. Просто и

удобно для дальних поездок, для многодневных промыслов. Не портится, не мокнет, не обременяет, а на одной щепотке сушеной икры день продержаться можно.

— Не худо бы и вам, Степан Петрович, такими дудочками с икряным харчем обзапаситься, — сказал Евлампиев. — Путь в Нижний не близкий, сгодится. Желаете, могу это дело на себя взять.

— Спасибо, не откажусь. Мне, сам видишь, дай бог, с вещами управиться, кои на «Гаврииле» отправить должно. Опять дьяк палки в колеса сует. Ящики сбили, заставил, а выложить изнутри нечем. Надо на поклон идти.

Приход корабля не только радость и оживление, но и всеобщие хлопоты. И приказной избе привалило работы. Дьяк встретил студента без обычной лживой вежливости.

— Не до вас! — с порога замахал руками Шергин. — И нету, нету никакой кожи, все к морю отправлено! Разве что от издохшей животины господина майора. С его позволения могу отпустить.

Крашенинников поспешил к Павлуцкому. Он должен был уже вернуться от устья, куда ездил на корабль. Вдруг что-нибудь все же узнал о профессорах.

— Увы, Степан Петрович, — убил последнюю надежду майор, — никаких сведений не привез. В Охоцке профессоров не видели, депеш на ваше имя нет. Верно, сидят еще в Якуцке, не очень сюда торопятся. — Посмотрел на огорченного Крашенинникова. — Так что порадовать мне вас нечем. И с переселением в мои апартаменты не вышло. Походная розыскная канцелярия убывает с Камчатки, но вместо нас располагаются на зимовку капитан Шпанберг со штурманами. Мой вам совет не о хоромах для профессоров хлопотать, о самом себе подумать. Для себя избу ставить пора.

— Видно, так и придется поступить.

— Безотлагательно.

— В этом году не успеть...

— А в том — в Нижний острог собираетесь, к океану! О здоровье своем не думаете, — по-отечески пожурил Павлуцкий. — Так и надорваться недолго.

— На здоровье не жалуюсь, — улыбнулся Крашенинников.

Улыбка очень красила его: плотный и белый ряд зубов и энергичный рисунок рта скрадывали маленький недостаток — нижняя губа чуть выступала вперед. Нос — орлиный, массивный, с горбинкой. На подбородке и щеках высвечиваются ямки. Синие глаза лучатся.

Павлуцкий отметил широкие, надежные плечи, подумал: «Крепкий мужик, настоящий сын солдатский».

— Ну и слава богу, что так. А шкуру коровью берите, мне она ни к чему. И незачем столько провианта везти отсюда. Иван с поваром кое-какие харчи для вас собрали...

— Что вы, Дмитрий Иванович!

— Не милостиню же даю, от души, по-дружески. Иван! Тащи сюда наш презент!

Крашенинников не увидел идущего навстречу Онуфриева.

— С приобретеньицем вас, господин студент!

Пришлось остановиться, опустить на землю кожаную суму.

— А вас — с отплытием.

— Вот и не угадали! Остаюсь я, еще с годик покручусь. Смотался к морю, всю свою рухлядь на свеженькую мучицу и прочее разное с пользой у мореходов обменял. Теперь опять капитал для оборота имеется! Да, поклон вам передать велено. От кормщика, что на «Фортуне» был. В Охоцк, домой плывет.

— А Мекешев?

— Тот еще в зиму посуху отправился. Вернее сказать — отправили. С варом для смолы. «Фортуна» же за варом шла, да не дошла. С капитана и спросили за все, матросит теперь. Судьба — индейка! Нынче ты наверху, я — внизу. Завтра, милости просим, поменяйтесь местами! Погодите, Степан Петрович, дело у меня есть, очень даже прельстительное для вас. Извиняюсь уж, еще на момент задержу. Слух до меня дошел, как вы над строительством всяческим бьетесь. Однако и анбар еще не возвели. Так?

— Так.

— Вот и хочу сдвинуть это затруднительное для вас дельце. От любви и уважения!

— Чем же расплачиваться придется за них? — насмешливо спросил Крашенинников.

— Зря обижаете, Степан Петрович, зря. Я к вам со всею душой, без корысти...

— И все-таки?

— Да пустяковина, уголок в анбаре для моего имущества выделить. Под крышей будет, под караулом...

— Ясно.

— Могу и другое предложить, — на ходу перестроился Онуфриев. — Избу на двоих поставим! Вы постоянно обитать в ней будете, а я — изредка, когда в Большерецк наезжать выпадет.

— Отчего же вам самому не обзавестись жильем и хранилищем?

— Так по тем же причинам. Не резон. Кто оберегать дом и добро мои возьмется? Никто. По рукам, Степан Петрович?

«Нет, не свяжусь я с тобой, Игнат Онуфриев, — подумал Крашенинников. — Обведешь вокруг пальца. И слишком разные мы люди».

— Спасибо за доброе участие. Сам управлюсь.

Онуфриев обиженно засопел.

— Брезгуете. Ну-ну, управляйтесь. Ежели как доселе, так до скончания века по чужим углам мыкаться вам, господин студент, угольщиком помереть.

Но тут же опомнился, залебезил:

— Простите, христа ради, Степан Петрович! Не со зла, от обиды за вас! Такой человек и по чужим углам...

— Вечный угольщик, — неожиданно грустно произнес Крашенинников.

Он закинул на спину тяжелую суму и пошел своей дорогой.

Выход «Гавриила» в море назначили на конец августа, отплыл корабль 4 сентября. Крашенинников послал профессорам три ящика с вещами для кунсткамеры: гербарии, чучела и скелеты птиц и зверей, рыб, морских животных. Из рапортов, ведомостей с результатами обсерваций, реестров и ученых записей образовался тяжелый, объемистый пакет. Личное

письмо, адресованное Миллеру и Гмелину, обещал передать из рук в руки майор Павлуцкий.

ПИСЬМО ГМЕЛИНУ И МИЛЛЕРУ

Благородные господа профессоры.
Милостивейшие государи мои.

Хотя о учинившемся мне нещастии вашему благородию из пятого репорта и известно, однакож при сем еще смелость приемлю нижайше донести вашему благородию, что я ныне в самую крайнюю бедность прихожу, оставшей провиант весь издержался, а вновь купить негде, а где и есть, то ниже пяти рублев пуда не продают, а у меня деньги все вышли, что осталось после помянутого нещастья, и то употребил на нужные вещи, вместо тех, которые утонули, а одною рыбою хотя здесь и в долг кормить могут, однакож к ней никак привыкнуть по сие время не мог. И о вышеописанной скудости провианта хотел я предлагать вашему благородию доношением и просить, дабы ваше благородие от Якуцкой воеводской канцелярии требовать изволили, чтоб для меня пуд с двадцать ржаного провианта на прогонных деньгах в Охоцк поставить, а из Охоцка на перевозочном судне ко мне отослать, а оные бы прогонные деньги и за провиант, также и за сумы, в которых оной провиант ко мне пошлется, из жалованья моего вычесть повелено было.

...Я бы не трудил сим ваше благородие и как возможно б прожил, ежели бы я чаял себе будущего 1739 году весною или осенью возвращения, но ежели ваше благородие сюда на Камчатку ехать изволите, то покорно прошу о присылке ко мне провианта и о произведении здесь жалованья милостивейше приложить старание, чтоб мне здесь не помереть голодом.

О метеорологических инструментах объявляю вашему благородию, что термометр только один остался, а два розбиты,.. о чем я имею великую печаль и не знаю как лутче зделать, здесь ли в Большерецке его держать или в Нижней Камчатской острог с собою взять, как зимою в оной поеду...

Во известие доношу вашему благородию, что господа подполковник Мерлин и маеор Дмитрий Иванович Павлуцкой с розыскною канцелярием выехали из Большерецка, а господин Шпанберг будет зимовать здесь в Большерецком остроге.

Желая вашему благородию вожделенного здравия и всякого благополучия остаюсь вашего благородия

покорнейший слуга Степан Крашенинников.
В Большерецком остроге. Августа 29 дня 1738 году.

При попутном ветре из Камчатки в Охотск можно за десять суток добежать, а то и скорее. «Святой Гавриил» отчалил в благоприятный день, но ветры в сентябре задувают встречные — северные, северо-западные. Крашенинников прикинул: плавание займет недели две-три. В общем, не сегодня, так завтра судно прибудет в Охотский порт. Мысли о «Гаврииле» не оставляли Степана Петровича.

Впервые за годичное пребывание на Камчатке удалось дать знать о себе профессорам, отослать научные материалы, объяснить положение.

Когда двухмачтовый корабль с пузатыми бортами и слюдяными оконцами офицерских кают в кормовой надстройке, распустив грот и фок, отдал швартовы, хотелось не «ура» кричать, а кинуться с приярого берега в холодную воду, догнать, вскарабкаться наверх, уплыть...

Безрезультатные хлопоты о возведении хором и амбаров, бесконечная тяжба с приказной избой по всяким делам, большим и малым, нищенское, впроголодь существование, молчание профессоров — хотя бы цидульку прислали! — все так опостылело, издергало, что порождало отчаяние.

«Гавриил» пополнил истощившиеся в острогах запасы муки, железа, пороха, вдохнул всеобщее оживление, на время приглушил у каждого в отдельности чувство оторванности и тоски по России. С уходом корабля на душе стало горше, точно «Святой Гавриил» увез в трюме вместе с мехами, икрой, рыбой, смолой, вместе с бочками, сумами, мешками, посылочными ящиками и засургученными пакетами воспрянувший дух людей.

Миновали дни, недели, постепенно в Большерецке все вернулось на круги своя, но память о «Гаврииле» еще жила, пусть и не жгуче тревожащая, как в первые дни разлуки. Незримый, но неотступный, уплывающий в море корабль не давал Крашенинникову покоя.

Через месяц-полтора «Гавриил» должен опять вернуться. Все надежды на этот, последний рейс навигации тридцать восьмого года.

— Если не вся, то часть научной свиты пренепременно на Камчатку прибудет, не может не прибыть! — сказал Аргунову Крашенинников.

Они копались в огороде. Урожая — кот наплакал. Из сотни гороховой рассады принялся десяток, зацвел в первых числах сентября, а стручки выбросить не успел. Ранние морозы погубили и заколосившийся ячмень. Только и получили за все труды полмешка редьки да мелкой репы.

Опершись на лопату, Аргунов тоскливо смотрел на жалкую кучку овощей.

— Цельное лето горбатились, а толку... Худая тут земля, глина. И климат никак не благоприятен крестьянскому делу.

— Будущей весной новый заведем и ботанический сад заложим, — упрямо сказал Крашенинников. — В других местах, в Верхнем и Нижнем острогах, родится же и ячмень, и овес, огородничают успешно.

— То в других, а здесь и снеги уже пали. Кормовых припасов у нас с вами — до рождества не дотянуть.

— Ничего, Осип, выдюжим, перебьемся как-нибудь. Какое нынче число? Сентября двадцать второго! По моим подсчетам «Гавриил» вот-вот якоря в Охоцке бросит... Вроде бы собаки лают?

— Похоже. И не иначе как ездовые. Они всегда близ дома сатанеют.

Огороженный участок лежал рядом с дорогой, северным въездом в Большерецк.

На гребне холма показались две упряжки с нартами. Занырнули во впадину, опять стали видны.

Крашенинников вышел за ивовую плетенку, посмотреть, кто едет.

Головная нарта резко затормозила. Каюр воткнул стоймя кривую палицу оштала. С обрешетки спрыгнул крупный мужик с рыжей бородой. Закричал вместо приветствия:

— С урожаем, Степан Петрович!

— Федор? — поразился Крашенинников, узнав кормщика.

— Он самый. Беда!

— Откуда ты здесь? Какая беда? — сердце сжалось от недоброго предчувствия.

— Из устья Крутогоровой речки. Выкинуло нас. На берегу «Гавриил». Вместо Охоцка обратно приехали, только севернее верст на двести пятьдесят.

«Вот тебе и все упования на «Гавриила», на бумаги и грузы от профессоров...»

— Штурман виноват. Вместо норд-оста на норд правил. Разве Мекешев допустил бы такое?

Известие было ошеломительным, убийственным.

— Люди хоть целы?

— Все живы-здоровы. Кто сюда послан, кто по тамошним ближним острожкам устроился.

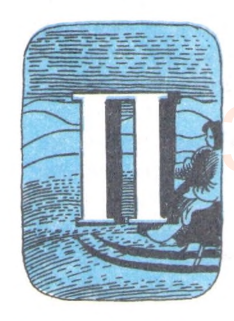
— А вещи, бумаги?

— Ясашную казну и прочее за нами везут, так что и вы свои ящики и пакеты возвратно получите. Ну, прощайте, Степан Петрович. Во весь дух гнать велено, вестником меня отрядили. Сподобил же господь черные новости Большерецку объявлять. То о «Фортуне», то... — Федор горестно махнул рукой и вернулся к нартам.

Собаки с радостным лаем помчались дальше.

Большерецкий острог с посадом стоял в междуречье. К ноябрю все три реки, Большая, Быстрая и Гольцовка, скрылись подо льдом и снегом. Пришла пора зимних дорог.

В ПУТЬ!



оездка предстояла дальняя и долгая: с конца осени до начала весны, от моря до океана. Крашенинников включил в свою партию четверых: Аргунова, Лепихина и двух служивых, в помощь и для караула. Настойчиво и жалостливо просился в путешествие Никифор Саламатов: «Возьмите, Степан Петрович! Погляжу хочь, какая она, земля Камчатка. Покамест трудно, но еще видят что-то глаза, а то помру, так и не узнав где...»

Сердце Крашенинникова дрогнуло. Не выдержал, пообещал. И взял бы, наверное, однако не суждено было солдату увидеть диковинный край. За несколько дней до отъезда Саламатов ослеп на левый глаз, правый слезился, весь красный. О поездке и речи не могло уже быть, как вообще жить дальше? Отказаться от солдата, как негодного к несению службы,— заведомо обречь его на беспомощность и умирание. Кому он, слепец, нужен?

— Вот что, Никифор, — принял решение Крашенинников, — оставляю на твое попечение казенное имущество, все ценности для кунсткамеры. Более рисковать ими не хочу. И кому другому доверить возможности нет.

Саламатов благодарно согласился, но спросил:

— А Плишкин?

— Нет. Человек он ненадежный.

Крашенинников даже письменно предупредил Большерецкую приказную избу, чтоб смотрение над Плишкиным имела, требовала от него ежемесячные копии с журнала метеорологических обсерваций. Плишкина снабдили бумагой, чернильными орешками, приборами, фонарем, жиром для светильника. «За каждый листок спрошу. Гляди мне!» — как мог строго предупредил Крашенинников. «Не извольте тревожиться, господин студент! — истово заверил Плишкин. — Езжайте спокойно».

Выехали 19 ноября, на семи нартах. Маршрут наметили дальний, кружной, вдоль Пенжинского моря на север до Крутояровой реки, а оттуда — на юго-запад, через Оглукоминский хребет, за ним — по Камчатке-реке до Восточного моря, до самого океана.

Приказная изба выдала прогонных денег только до Верхнекамчатска, на четыреста девяносто верст — три рубля восемьдесят копеек. Дьяк, словно милостыню нищему, высыпал медяки. Все монеты трехкопеечного и четвертькопеечного достоинства: сто двадцать шесть петровских алтынников и восемь иззеленивших денги. Малюсенькая денга была в ходу наравне с полушкой. Но то в центре России. Здесь, на краю света, действовал натуральный товарообмен.

Крашенинников просил для дорожных расходов китайский шар, да разве уломаешь Шергина. «Нет уж, — отрезал дьяк, — что-что, а табачок — врозь! Каждый золотник на учете. И потом, у вас же свой имеется». — «Не свой, казенный, для закупки вещей к отсылке в императорскую кунсткамеру». — «И мои запасы не собственные, уважаемый господин студент. Тем паче беречь обязан. Когда еще теперь другое судно прибудет из Охоцка!»

В морозном воздухе радужно искрились снежинки. Сверху, с плоской вершины холма виделся неподвижный силуэт корабля. Толстая наледь и махровый иней обратили живое судно в белый призрак. Будто злая волшебная сила выдернула бот «Святой Гавриил» из родной стихии, перенесла на сушу и опустила в заснеженную чащобу береговых трав.

Часть корабельной команды обреталась в острожке на Конпаковой реке. Здесь же остался и подполковник Мерлин. Он уже примирился с новым своим положением, но скучал без дела и потому искренне обрадовался появлению студента. Сейчас, когда Мерлин уже утратил полномочия главы всевластной и грозной розыскной канцелярии, не правил Камчатским краем и еще не вернулся к прежней должности командира Якутского полка, то есть был как бы сам по себе, он был раскован и радушен.

— А где Дмитрий Иванович устроился? — спросил Крашенинников.

Подполковник сразу помрачнел, умолк.

— Случилось с ним что? — встревожился Крашенинников. — Мне сказали, что при аварии никто не пострадал. Или после уже? От чужой злодейской руки...

— Злодейской! — с яростной силой выкрикнул Мерлин и тотчас, будто испугавшись собственного голоса, обвел глазами бревенчатую комнату: не затаился ли в темном углу посторонний, не подслушивает ли кто?

Они сидели вдвоем за грубо сколоченным дощатым столом. На выпуклых неровностях стены покачивались черные тени.

— Злодейской, — наклонившись и понизив голос, повторил Мерлин. Он еще поколебался: говорить — не говорить? — Зная вашу порядочность, ваши добрые отношения с Павлуцким, расскажу. Вам и только для вас! Об этом ни одна душа здесь не знает. Даже Шпанберг, доставивший секретный пакет. Приказано препроводить Дмитрия Ивановича в Якуцк под арестом.

«Слово и дело»? Да это же обвинение в государственной измене!» — обожгла ужасающая догадка. Крашенинников удержался от восклицаний, но и по лицу его было видно и понятно все.

— Да, «слово и дело». Какой-то мерзавец донос настрочил. В Охоцке на обеде у Шпанберга капитан Павлуцкий, он тогда еще капитаном был, не очень лестно отозвался о Синоде. Как именно — не существенно, но дошло до Петербурга. И вот...

— Что ж теперь будет? — с болью спросил Крашенинников.

Мерлин пожал плечами.

— Этого никто не предскажет. Вспомните участь лейтенанта Дмитрия Овцына. Герой Первой Камчатской экспедиции, отважный исследователь северной береговой линии от Оби до Енисея, высокий ум, благородное сердце. И — разжалован в матросы. А за что? Только за то, что посмел общаться в Березове с ссыльным князем Долгоруковым. А они с ранней юности дружны, близки семьями были. Совсем бы Овцыну пропасть, но Беринг его к себе вытребовал, оградил от лишних издевательств и тягот. — Мерлин протяжно вздохнул: — Даст бог, и Павлуцкого защитят. Ныне он в дорогу собирается, с оленьим обозом в Якутск поедет.

«В железах?!»

Мерлин опять угадал немой вопрос.

— Не резон в такой опасный путь отправлять обоз с добром для государевой казны без многоопытного и смелого начальника. Обоз приказано возглавить майору Павлуцкому. Ясно, Степан Петрович?

Подполковник смотрел глаза в глаза, подчеркнуто внятно произносил каждое слово, будто официальным лицам в Якутске втолковывал, доказывал правомочность такого решения. Подполковник взвалил на себя крайне опасную ответственность. За нарушение т а к о г о приказа, попустительство в отношении человека, на которого заведено крамольное дело, можно поплатиться головой.

«Благородная вы душа, Василий Федорович! Отважный...»

— Больше ни слова об этом, — попросил Мерлин. — Так что, Степан Петрович, если нужда есть, можете по сухопутью письмецо своим профессóрам передать, — закончил любезным предложением.

— Благородная вы душа, Василий Федорович, — со значением сказал Крашенинников. — Не знаю, как и выразить вам свою признательность.

— Будет вам, Степан Петрович, в благодарностях изъясняться, — отмахнулся Мерлин, но чувствовалось, слышать это было ему приятно.

Жестокую память оставил по себе на Камчатке глава Походной розыскной канцелярии, но делил он людей не на своих и чужих, а на правых и виноватых. И в судьбе Павлуцкого принял участие не из личных пристрастий, а по справедливости. Во всяком случае, так, как понимал ее, справедливость.

— Лучше за письмо садитесь. Вы по отбытии своем из Якуцка ордера от профессоров получали?

— Ни одного. Не знаю, и дошли ли мои прежние репóрты к ним...

— Расстояния! Беда и трудность наша. Но иногда и отдаленность во благо, а?

— Дай-то господь, чтоб и это е м у в помощь стало!

Мерлин понял кому, прикрыл глаза, не позволил продолжить опасную тему.

Крашенинников не стал злоупотреблять гостеприимством, пошел спать к своим, да и неловко причинять беспокойство: подниматься в дорогу чуть свет.

— Всласть наговорились? — зевая, спросил Лепихин. Малая нужда выгнала его среди ночи на мороз.

В стылом небе помаргивали звезды, в радужном круге плавал месяц.

— К ветру, — прикрывая рот, сказал Лепихин. — И морозец покрепчает. Может, Степан Петрович, не поедем в Чаапынган? Тут пересидим?

— Проскочим. И сам же объяснил мне, что праздник такой лишь раз в году.

— Точно, единожды, — подтвердил Лепихин.

— Значит, и откладывать невозможно.

— Ох, и несговорчивый ты, Степан Петрович, а уж любопытен — страсть!

— Я уже объяснял тебе: любопытно невежество, наука — любознательна.

— Извини-прости, Степан Петрович, запамятовал. А вот к чему тебе обряды басурманские, суеверия и притворства их, никак в толк не возьму. Время и силы на это затрачиваешь, бумагу изводишь.

— Ты сейчас на свою память сетовал. Так и всеобщая память не вечна, а то, что высечено и написано, — остается на века. Города, страны с лица земли исчезают, но мы знаем о них по письменным свидетельствам, по трудам людей, умерших тысячи лет назад. Надеюсь, и мои записи кому-то и когда-то сгодятся, любопытными покажутся, а то и пользу принесут, отгадку подскажут.

ЛУННЫЙ ПРАЗДНИК



енщины старательно убирали юрту. Мели, выгребали залежалый мусор и хлам, собирали в кучу обрывки крапивных сетей, рогожек, клочья меха и собачьей шерсти, рыбьи кости, скукожившиеся обрезки, свалявшиеся до войлочных комков залежи пыли, осколки камней — все, что накопилось за целый год.

Ительмены не знали календаря, но в ноябре, в конце месяца, в новолуние отмечали самый большой праздник. Названия у него не было, Крашенинников определил для себя праздник, как очищение от грехов.

Торжество началось с уборки. Два старца, держа в руках пряди мятого тоншича, зашептали над мусорной кучей.

— Что они говорят? — тихо спросил Лепихина Крашенинников.

Они скромно устроились в дальнем углу юрты, старались не обращать на себя внимание. С трудом, за добрую порцию табаку получили разрешение наблюдать священнодействие. Толмач наклонился к самому уху:

— Всякое заклинание — превеликая тайна. Ее и силой не выведать. Спасибо и на том, что в юрту пустили.

Старики, исполнявшие роль шаманов, занимались этим от случая к случаю. Они не рядились в особые одежды, как настоящие колдуны якутов, коряков, тунгусов, бурят, не били в бубен, всецело полагались на волшебство слова и силу трав.

«Заговоренную» кучу вынесли через нижний ход. За мусором удалили из юрты собачье снаряжение. Ремни, ошейники, привязи, даже оштолы — все прочь!

— В угоду чертям, не терпят они собачий дух, — пояснил Михайло.

«Чудеса, — подумал Крашенинников. — Не богам, а нечистой силе услуживают. Бог Кутха и сыновья его сами ведь на санках раскатывают по Камчатке. Но, может быть, ительмены прежде, когда-то и не здесь, имели другого бога? Там, в далеком отсюда крае, не ездят на собаках, не держат их дома. Фигурой и обличьем ительмены схожи с мунгальским народом. Не выходцы ли они из Мунгалии? Спасалась, уходила же Русь от вражеских нашествий! Почему не предположить, что и камчатские племена пришли или приплыли сюда издалека, сохранив себя от разорения и гибели?»

— Теперь лесорубов снаряжать будут, — предупредил Лепихин.

У подножия лестницы верхнего, главного, входа и выхода уселись три женщины и старик. У каждого рогожный мешок со съестными припасами. Юкола, икра, трава сладкая и тоншичь, нерпичий жир в кусках и колбасках.

Из кишок, набитых жиром, смастерили топорики, обвязали их травой. Украсили так и четыре настоящих, железных топора.

Старик и женщины вручили по топору, топорику и еды по горстке четырем мужчинам, поторопили их:

— *Алхалалалай, алхалалалай!*

«Пора, пора!»

Лесорубы отправились в ближний лесок.

Остатки еды отдали малой ребятне. Одну сушеную камбалу закопали под лиственницей, но сперва над жертвенной рыбиной долго и горячо нашептывал старик шаман. Потом он трижды повернулся на месте, где рыбу зарыли в землю. То же проделали и остальные ительмены, взрослые и дети.

Юрта так выстудилась, что пар изо рта валил. Разожгли костер, уселись плотным кольцом у огня, принялись обматывать загодя припасенных деревянных идолов, Урилыдачей и Интугов. А главного беса, Хантая, заново вытесали из березовой чурки.

Всех мелких божков и дьяволят упрятали в потолочную кровлю, Хантая водрузили на очаг.

— Алхалалалай, алхалалалай! — закричали хором.

Голопузый мальчонка по подсказке шамана схватил Хантая и обежал с ним очаг. Когда Хантай был водружен на прежнее место, у костра остались только мужчины и шаман обратился с речью к костру:

— Кутха! Ты наказал нам один раз в году приносить жертву огню.

Старики повскакивали на ноги, затопали, всплескивая руками, запричитали:

— Алхалалалай! Алхалалалай!

— Кутха, — покорным голосом продолжил шаман, — мы делаем, как ты велишь.

Старики опять завопили: «Пора! Пора!»

— Кутха, сделай же и ты, что мы просим. Храни и люби нас, не причиняй огорчений...

— Алхалалалай! Алхалалалай!

— ... не насылай несчастий...

— Алхалалалай! Алхалалалай!

— ... не допускай пожаров!

Тут все мужчины поднялись, в хороводе закружились.

— Алхалалалай, алхалалалай!

Вдруг из всех углов выбежали на средину женщины и девушки. С дикими воплями, гримасничая, пустились в пляс. Такой неистовой, до полного изнеможения ритуальной пляски Крашенинникову еще не доводилось видеть.

Падали, лежали как мертвые. Страшно за них делалось.

— Притворствуют, страсть, что за актерки, — со смешком сказал Лепихин. Крашенинников толкнул его в бок: «Помолчи!»

Старик шаман приводил в чувство недвижных плясуний волшебными словами. Какими — не разобрать. «Ожив», притворщицы опять начинали кричать, плакали, точно и в самом деле чуть не отправились на тот свет.

Костер меж тем прогорел дотла. Шаман, непрерывно нашептывая колдовские слова, вынес ковшиком всю золу.

— Золу, — пояснил Лепихин, — раскидают по всем тропинкам, ведущим к юрте. Для того, верно, чтоб было способнее возвратиться домой лесорубам.

Они появились к вечеру, с большой березой, отсеченной у самого комля. Мужчины и мальчишки побежали навстречу. Общими усилиями дерево втащили на крышу юрты и ну давай бухать в кровлю близ квадратной входной дыры.

Затрясся, затрещал потолок, земля сверху посыпалась. Вот-вот, казалось, рухнет на голову. Люди пугливо втягивали головы в плечи, но молчали. Наконец бойкая девушка по имени Нингул кинулась к лестнице, мигом взбежала по ней, вцепилась в комель и — повисла. Другие женщины, молодые и не молодые, пришли на подмогу. С криками и приплясыванием потащили дерево в юрту.

Наверху, однако, не сдавались. Противоборство длилось долго. Женщины одна за другой, будто сраженные дьяволом, падали ниц. Только Нингул упорствовала, висела на комле, дергалась вверх-вниз.

— Ну и деваха! — восхитился Лепихин. — Ну ягодка!

— При чем тут ягодка? — недоумевающе спросил Крашенинников.

— Так *«нингул»* по ихнему — «голубица», ягода здешняя. Да-а, такая...

Нингул разжала пальцы, когда комель березы коснулся пола. Дерево было высоким, не поместилось в юрте, крона с необрубленными ветвями сажени на три осталась торчать снаружи. А победительница, будто сраженная насмерть, лежала навзничь, раскинув руки.

Старик со сморщенным ртом долго, очень долго шаманил над Нингул, сам едва не рухнул от чрезмерного напряжения. Спросил слабым и укоризненным голосом:

— Что ж ты не выздоравливаешь, Нингул?

Длинные черные ресницы шевельнулись, приоткрылись лукавые глазенки, разомкнулись уста.

— О-о-о, как я больна! — вдруг закричала звонким голосом.

Старик приободрился, стал поглаживать, утешать ее ласковыми словами.

— О-о-о! О-о-о!

— Потерпи, Нингул, потерпи еще немножко. Сейчас, сейчас я изгоню из тебя проклятую болезнь. Это Камуда, обратившись в жучка-червячка, гложет тебя изнутри. — И старик шептал, шептал, шептал.

В конце концов девушка избавилась от тяжкого недуга, освободилась от беса-оборотня.

Спустя час или полтора — Крашенинников потерял счет времени — сверху сбросили в юрту восемь тюленьих шкур. В каждом свертке юкола, сладкая трава, жир. Пищу разделили на всех поровну, не обошли и гостей. Все давно изголодались, но никто не посмел есть, пока не накормили многочисленную ораву камудов, пятьдесят пять остроголовых деревянных болванчиков, не напялили на каждого травяной колпачок.

Сытых, задобренных бесят бросили в огонь. Сожгли и щепки, все стружки от березовых чурок, из которых делали камудов.

Около полуночи через жупан в юрту вползла старуха с большой травяной куклой на спине.

— Дай! Дай! — воинственно закричал хор.

«Дай» по-ительменски «кит». Женщина-кит ползла вокруг костра. Два охотника преследовали кита, хлестали его жгутом из нерпичьей кишки, набитой травой. При этом охотники каркали во́ронами.

Удачную охоту отпраздновали неистовой пляской. Затем женщины принялись за стряпню. Готовили в больших корытах толкушу из корней, икры и тюленьего жира. Жарко пылал костер.

Занялся день, взошло солнце. Бессонная ночь кончилась, но лунный праздник продолжался. Одно представление сменялось другим. С обязательным священнодействием над огнем, криками, плясками до упаду, мнимыми обмороками и чудесным исцелением.

Михайло Лепихин с превеликим удовольствием давно бы спать завалился, но Крашенинников не отпускал его от себя, требовал переводить, объяснять, что происходит.

— Теперь они на волка охоту устроят. Обряд этот с легендой связан. Жил-де на некоторой речке одинокий камчадал с двумя детками. Пошел он раз на охоту. Детей, чтоб из юрты не убегли, к столбам привязал. Пошел он, значит, на охоту, а волки тут как тут. Нет, не тронули деток, угощение им даже поднесли, но у деток от страха разум помутился... — Лепихин шумно зевнул. — Да чего рассказывать, Степан Петрович, сейчас они все до тонкости представят.

Перед лестницей постлали нерпичью шкуру. По обе стороны к столбам привязали мальчиков.

Послышался волчий вой, и в юрту пришли два старика.

— Когда ваш отец придет? — спросили вкрадчиво «волки», положив к ногам мальчиков гостинцы.

— Зимой! — ответил мужской хор. Мальчики дрожали от страха, не могли и слова вымолвить.

Старики покивали и ушли. Мальчики дико пучили глаза, бормотали бессвязные слова, хихикали, как настоящие сумасшедшие.

Опять открылась нижняя дверь. Появилась сгорбленная женщина. Спереди к груди привязан кукольный волк из травы и кишок нерпы.

— Кишки медвежьим салом набиты, цельный пуд в этом «волке», — шепнул Лепихин.

Мальчики замолчали, в юрте воцарилась полная тишина.

Вслед за женщиной с волком пришел, крадучись, сам тойон с охотничьим луком. На дужке лука, на тетиве, стреле, на голове и руках тойона висели пряди тоншича.

Все поднялись с мест и беззвучно, цепочкой двинулись вслед «волку» и охотнику. Подле лестницы возникла схватка. Мужчины отняли «волка» и попытались убежать с ним, но женщины вступили в отчаянную борьбу. Воинственные крики, визг, вой, шум — настоящая рукопашная! Ни победителей, ни побежденных — все попадали «замертво».

Посреди поверженных тел остался бесформенный ком растерзанного «волка». Тойон добил его метким выстрелом. И все люди ожили.

Сладкую траву с медвежьим салом тут же съели.

Наступил самый ответственный акт праздника — очищение от грехов. Принесли березовые прутья, по одному на семью. Глава семейства, согнув прут в кольцо, поднимал его над головой каждого члена семьи и плавно опускал к ногам. Женщины, мужчины, дети выступали из кольца уже «очищенные» и покидали юрту. На воле все повторилось заново.

На том и завершилось полное освобождение от всех грехов и прочих запретных деяний, совершенных в прошедшем году. Начался новый лунный год.

Прутья распрямили, воткнули в снег, с наклоном к востоку. Вытащили из юрты березовую лесину, кинули ее под балаган, как обыкновенную дровягу.

Тойон позвал всех на скромное пиршество.

— Степан Петрович, извини-прости, но дозволь мне идти. Глаза слипаются, — попросил Лепихин. — Чего и тебе желаю. Ничего любопытного не будет уже. Разве что пташку да гольца изжарят, по кусочку дичи и рыбы в огонь кинут, сами по крохе съедят. Потом — обед, самый что ни есть обыкновенный.

Лепихин широко зевнул и перекрестил разверстый рот.

ТРУДНЫЕ ВЕРСТЫ



В Верхний Камчатский острог добрались только в начале декабря. На три дня и три ночи задержала лютая пурга, еще трое суток потеряли в Тереине. Большерецкие собаки изнурились, с такими не одолеть горный хребет, а Верхне-Камчатск по другую сторону Оглукоминской гряды, к востоку от нее. Свежих собак в Тереине не было.

— Охотники наши все на промысле, с собачками, а свои две упряжки отдал, — объяснил тойон.

Лепихин пристально поглядел на него, потянул носом.

— Поперед нас тут никто не проезжал, и пурга мела. Врешь ты все, пьянь!

— Мои собачки, — заносчиво, храбрый от вина, ответил тойон.

— Кому отдал-то, когда?

— Кому захотел, тому дал. И не бесплатно!

— Да уж ясно, чем купили тебя. За версту отсюда сивухой пахнет.

— Мои собачки! За что захотел, за то дал!

— Я вот ка-ак дам! — вышел из себя Лепихин.

Крашенинников перехватил занесенный кулак.

— Не шуми, Михайло. Дело его, как своими упряжками распорядиться. Но кто все-таки опередил нас? Спроси.

Тойон и не собирался скрывать. Поменял упряжки молодому ительмену, который с украденной бабой, то ли чужой женой, то ли девкой незамужней, от погони удирал.

— Шибко-шибко торопился, вдвое обычного заплатил.

— Кто же это?

Но тойон опять заупрямился:

— Мои собачки...

Лепихин снова завелся, сдержался, однако. «Ну и хватка у студента! Как в железы руку зажал, не отошла еще...»

— Не скажет он, — безнадежно произнес Лепихин.

Крашенинников отчего-то вдруг заволновался:

— Спроси еще раз. Кто же это был?

— Извини-прости, Степан Петрович, но зазря стараться. Такой уж народ: не выложит по своей воле, клещами не вырвать!

Тойон, и проспавшись, протрезвев, не выдал вора. Так в неведении и уехали в Верхний Камчатский острог.

Самый первый русский острог на полуострове основан был Атласовым, в 7205-м, а по теперешнему летосчислению — в 1697 году. Сам Атласов воротился в Анадырь, оставленная вольница из двадцати человек во главе с Потапом Сирюковым срубила два зимовья на левом берегу Камчатки подле впадающей в нее Кали. Три года ждали казаки своего атамана, держались тихо и мирно, податей не требовали, торговали по-честному.

Не имея никаких вестей из Анадыря, подались к дому. В пути и побили их разбойные коряки. Прибывший вскоре боярский сын Тимофей Кобелев и останков не нашел.

Кобелев пришел с большим отрядом. Возвели рядом с бывшим становищем Сирюкова крепкую ясашную избу и несколько зимовий. С того и начал расти главный тогда острог. Близкий тополиный лес способствовал быстрому строительству новых домов и амбаров.

Острог, как и Большерецкий, был четырехугольный, с воротами к реке, но гораздо просторнее: каждая сторона в семнадцать саженей. Церковь, казенный дом, кабак и обывательские избы тоже вне крепости, открытым посадом.

Доступность лесных материалов и топлива, плодородные пахотные места давали значительные преимущества, но рыбы и соли, ввиду отдаленности от моря, недоставало. Приходилось закупать, ездить к побережью за сотни верст. Потому и занимались больше земледелием, чем промыслом и торговлей.

Крашенинникова определили на постой к Ивану Лосеву, мужику зажиточному, старожилу. С виду же он никак не походил на старца. Густая шапка волос с редкими седыми прядями, считанные серебряные колечки в бороде.

— Я, Петрович, смолоду от цинги берегся! — кричал Лосев. — Сойдет снег, проклюнется черемша, так и пасусь, што олень на ягеле. И на зиму не ленился запасать. А ишо у меня угодье доброе в камчатской долине. Пашня, огород, летовье. Два амбара, четыре сушила, балаганы, шалаши-времянки. Ячменя и репы столько, што и в обмен на рыбу и соль выделить могу.

А? Што сказал? Ты погромче, Петрович, по-коряцки. Они все в полный голос кричат. Я, вишь, телом ишо крепок, под зубами кости трещат, птицу на лету стрелить могу, а слух того, притупился. Так што тебе Мишка Кобычев в Большерецке наплел? Мальчонок! Он на семь годов меня младше. Белый как лунь, говоришь? А скаски лживые плетет. Ты меня и товарищей моих местных выслушай, мы тебе, Петрович, все как было выложим, без утайки и вранья. Опять же тут все главные бумаги в полной сохранности, в приказной избе лежат. Вся изначальная гистория в них описана.

А? Што? Нет, сам не читал, не умею. Без грамоты цельный век прожил, зато зубы все — кости под ними трещат и птицу на лету стрелить могу. А? Што? Ну да, говорено уже про ето.

Крашенинников улыбнулся, покивал.

Дни были заполнены предельно. Беседы со старожилами, с природознатцами, работа с архивными документами, составление реестров животного и растительного мира, записи слов коряцкого языка. Аргунову и дня не хватало перебеливать — и не единожды — черновые тетради Крашенинникова.

Лепихин же заскучал, домой запросился: «Извини-прости, Степан Петрович, проку от меня мало, не владею коряцким, другой тебе толмач нужен».

В середине декабря Михайло уехал в Большерецк, а сразу после новогодней ночи покинул Верхне-Камчатск и Крашенинников.

Январь — самый злой месяц на Камчатке. Морозы слабее якутских, но влажность и ветры усиливают жестокую промозглость. При двадцати градусах до костей пробирает, а в январе нового, 1739 года ртуть в термометре снижалась и до сорока. Ветры же, как обычно, дули постоянно.

На Камчатке всюду сквозняки. Полуостров вдоль и поперек разделен на узкие коридоры горными цепями. От южной Лопатки до северного Корякского нагорья вытянулся становой Срединный хребет. К востоку и западу от него, как ребра от позвоночника, отходят боковые ветви, а океанское побережье еще отделено Восточным хребтом. Меж ним и Срединным, по долине реки Камчатка, и пролегал основной путь от Пенжинского моря до Восточного океана.

Дорога вилась вдоль реки, обходя ее то слева, то справа, шла и по ледяному фарватеру. Постоянный уклон и твердый наст способствовали быстрому движению. Ехали только в светлое время, дабы не пропустить чего интересного, а понеже всего зарисовать план, карту главной реки, самой протяженной и полноводной, вбирающей в себя множество других рек и речушек. Густая сеть притоков, обширные болота и бесчисленные озера делали в летнюю пору невозможным сухопутное путешествие по такому маршруту.

Вторую ночевку устроили в ительменском острожке Мишурино. Столь многолюдного поселения на Камчатке Крашенинников еще не видел.

Восемьдесят три балагана, девять юрт, лишь взрослых мужчин за полторы сотни. Издали посмотреть — средневековое городище с крепостными сторожевыми башнями!

Большим и зажиточным по камчатским масштабам племенем управлял тойон новокрещенный Егор Мерлин. Жил он с семьей в просторной и добротной избе, срубленной русскими плотниками.

Над тойоном как бы постоянно витала тень его крестного, известного каждому подполковника Мерлина. Имя высокого покровителя еще больше возвышало мишуринского князька. Тойон, внук и сын тойона, держал себя соответственно положению, богатству и образованности. В юные годы он дважды жил аманатом в Верхнем Камчатском остроге, выучился русскому языку, твердому счету, уверенному чтению и даже собственноручно подписывался на бумагах.

Познания в грамоте, природный ум и дальновидная осторожность тойона — мишуринцы занимали нейтралитет в смутные времена, близость к недавней русской столице Камчатки, благодатные земельные владения — это и другое в немалой степени и обеспечивало процветание острожка.

Никто из важных лиц не проезжал мимо, но студент академии — гость из гостей. Егор Мерлин почел для себя особой честью принимать такого человека. Встреча доставила истинное удовольствие и самому Крашенинникову.

Егор Мерлин был польщен вниманием и доверием к себе студенталя, о котором даже песню сложили. Самый ученый человек на Камчатке расспрашивал его, ценил его мнение, заносил каждое слово в тетрадку.

В избу набилось множество народа. Кто и слабо понимал русский, видел: их тойон разговаривает со студенталем на равных. Более того — с некоторым превосходством, ибо спрашивает гость, а отвечает, учит уму-разуму хозяин.

Рослый, тучный, с отвислым животом и одутловатыми щеками, Егор Мерлин — само воплощение важной и солидной персоны. Упрятанные в глубокие морщинистые щелочки глаза победно время от времени поглядывали на сородичей, большой губастый рот источал улыбку дорогому гостю. Гость при всей своей учености был любознателен, как дитя, спрашивал о самых простых вещах.

— Удивительно мне, что северные и южные ительмены понимают друг друга. Наречия-то их мало похожи!

— Зачем нам переводчики, у нас общие предки. Мы все — ительмены. Те, кто приезжают из русского царства, тоже не одинаково говорят, но без толмачей объясняются.

— Логично, Егор, — согласился Крашенинников. — А вот скажи мне, откуда пошло название «Камчатка»? Если от коряцкого слова «хончало», так не мы его переиначили. Главная река и до Атласова так именовалась. Или божество, герой такой был, Хончат или Кончат?

— Нам такое имя неизвестно, — твердо сказал тойон. — И мы никогда не даем людские имена рекам или горам. Природа извечна. Это мы на этой стороне земли временные жильцы. А потому и называем себя по месту, где живем. Река Камчатка по-ительменски *Уйкоаль,* Большая река, а мы — *уйкуал-ай,* жители Большой реки. Кто на Еловке, по-нашему Кончат-реке или просто Коочь, именуются *коочь-ай, кончаты..* Кончаты самое храброе и воинственное племя.

— Может, по ним-то и нарекли реку и весь полуостров? — высказал предположение Крашенинников. — Кончат — Кончатка. Созвучно!

— Логично, — с удовольствием произнес новое для себя слово тойон и, глянув на соплеменников, еще раз, важно и торжественно повторил: — Логично!

Крашенинников улыбнулся:

— Понравилось?

— Шибко красивое слово, крепкое, сильное. Ты напиши его мне, не хочу забыть.

— Это пожалуйста. А скажи мне, Егор, не оттого ли еловские мужики стали зачинщиками последнего бунта? Не слава ли храбрейших подтолкнула их к восстанию?

Тойон сделался мрачным. Недавние кровавые события еще не изгладились ни в памяти, ни в сердце.

— Причины, однако, разные были, — спрятав глаза в щелках, дипломатично заговорил Егор Мерлин. — И мой крестный сурово покарал всех виновников, тех и других.

— А чью сторону ты держал? — напрямик спросил Крашенинников.

— Главный повстанец Федька Харчин и меня призывал к себе. Выгодами сманывал, потом разорением грозил. Однако я не поддался. Никто из моего рода не пошел против русских. Вчерашний день не может одолеть завтрашний. Мы раньше не знали ни железа, ни пороха, ни бумаги. И разве можно камнями и стрелами одолеть пушки и ружья? Надо смотреть вперед, если хочешь выехать из черного леса на белую равнину. Логично?

— Логично, Егор! А ты философ к тому же!

Мерлин опять заулыбался.

— Крестный тоже сказал мне такие слова. А еще хвалил, что в русскую избу перебрался.

— Да, хоромы у тебя знатные, — к удовлетворению хозяина сменил тему Крашенинников. Он понял: разговор о восстании неприятен и труден. — Дворец, ничего не скажешь.

Изба была выстроена по точному образцу канцелярии верхнекамчатского острога, но вместо столов и конторок для подьячих и пищиков наполнена пристенными лавками-лежанками, как в юрте; в одном углу висела иконка с жировой лампадкой, в другом, ближе к печке, на деревянной полке выстроились ительменские идолы. Два быта и две веры, христианская и языческая, мирно уживались под общей крышей.

В честь важного гостя хозяин зажег шантал с тремя сальными свечами и поминутно, надо не надо, снимал пальцами гарь с фитилей. Горящие свечи явно доставляли ему радость.

Вдруг огненные лепестки разом трепыхнулись и погасли. Взметнулся желтый язык лампадки. С полочки посыпались деревянные идолы.

Пол под ногами задрожал, скрипнули бревна в пазах, угрожающе заерзали потолочные тесины.

— Землетрясение!

Женщины, подхватив детей, с воплями кинулись к дверям. За ними выбежали из дома остальные.

Все население высыпало под открытое ночное небо. Крики, плач. Крашенинников жадно впитывал звуки и краски. Страсть ученого заглушала инстинкт самосохранения, заботу о собственной безопасности. Да и трясение земли было не таким грозным, как месяц назад, на Оглукоминском

хребте. Тогда, по пути в Верхне-Камчатск, остановились пополдничать. Стан раскинули на лесной поляне. Внезапно зашумели деревья, точно ураган налетел. В первый момент и подумали: «Буря!» Когда котлы с варевом свалились в огонь, поняли, что́ происходит.

Сейчас трясло легко, мелкими волнами. Но стояла глубокая ночь, когда каждый звук слышен в сто крат сильнее, чем днем.

Издалека донесся глухой утробный гром и молниевый треск.

— *Тулуачь! Апагачючь!*

Апагачючами ительмены называли огнедышащие горы, все вулканы. Тулуачь, Толбачик по-русски, — имя реки, притока Камчатки, горного массива на стрелке между ними.

Все обратились к северо-востоку.

Черное небо озарилось огненными всплесками и фонтанами. Искры взлетали на огромную высоту.

— Тулуачь! Апагачючь! — в суеверном ужасе повторяли люди.

Огнедышащий Толбачик выстрелил раскаленное ядро. Отсюда, на удалении более пятидесяти верст, трудно было определить его истинные размеры.

Ядро поднялось вертикально почти до зенита, описало пологую дугу и вернулось на землю. Там, где оно упало, вспыхнул пожар. Пламя быстро распространилось окрест Толбачика, подзолотило клубящееся облако дыма. Оно поднималось все выше и выше, разрастаясь в гигантский гриб на мощной перекрученной ноге. Черную, клокочущую тучу пронизывали до жерла вулкана отвесные, яркие до нестерпимости молнии.

Под ногами прокатилась вторая, более мощная волна. Запахло горелым железом. Верховой ветер пригнал облака пепла. Густой, как снегопад, пепельный осадок погасил звезды, закрыл непроницаемой завесой страшную огненную игру Толбачика.

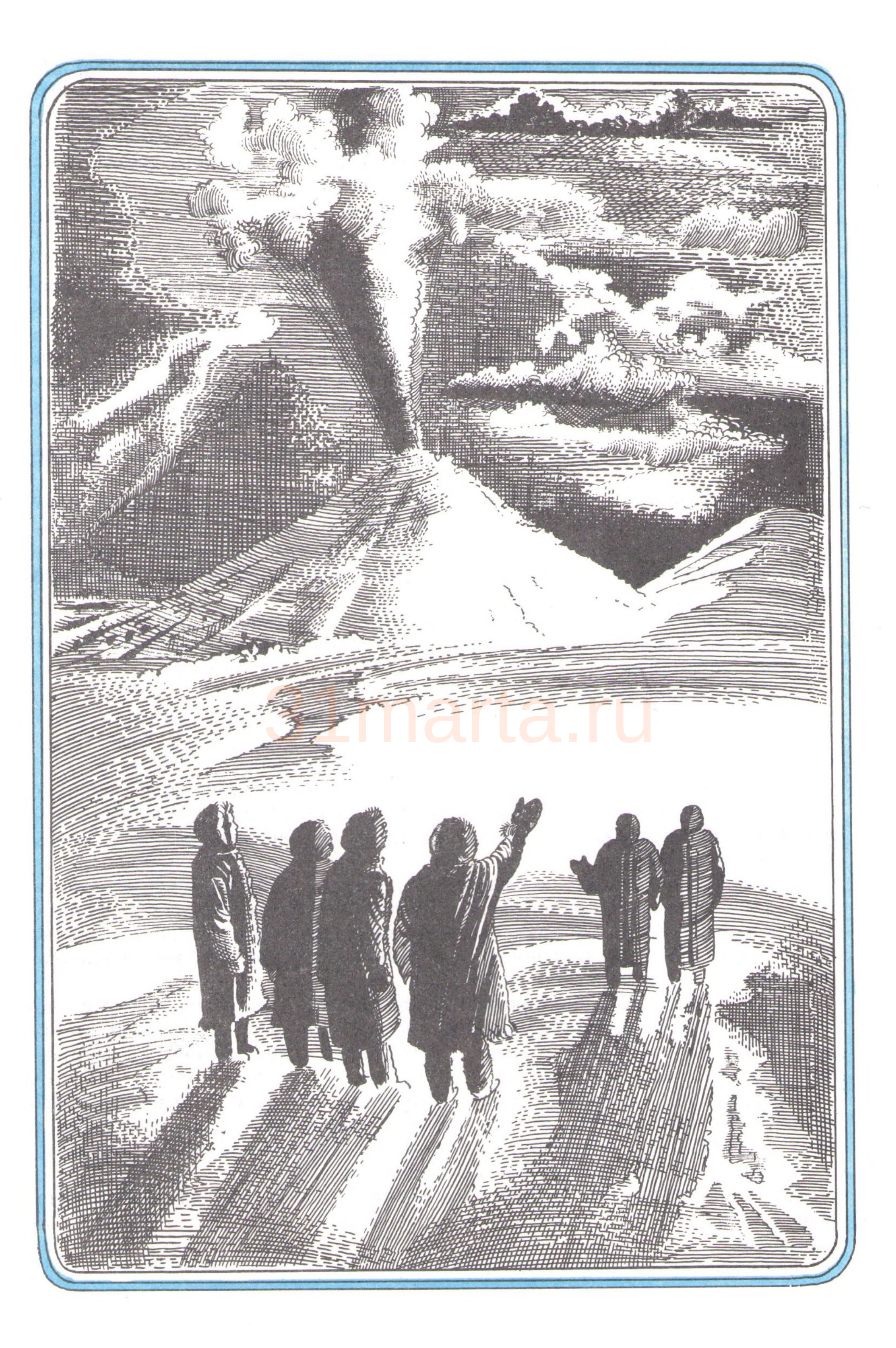
К утру весь Мишурин острожек и даль от него, сколько видел глаз, засыпало мертвенным слоем вулканического пепла. Но в полдень со стороны моря нанесло тучи, повалил снег, и опять стало белым-бело. Можно ехать.

Река делалась все шире и шире, часто раздваивалась, обходила с обеих сторон горбатые острова, покрытые лесом.

Один из таких островов лежал против устья речки Никул, Федотовщины. На угоре еще видны были остатки зимовья первого русского человека на Камчатке. Полусгнившие клети с обвалившимися кровлями производили тягостное впечатление.

«Минует еще сколько-то лет, и этих знаков не останется, — с горечью подумал Крашенинников. — Бревна обратятся в прах, глубокие снеги заметут последний след товарищей и спутников Семена Дежнева. Разве что имя Федота, присвоенное реке, сохранится долго, а то и пребудет в веках. Да, нет, наверное, большей чести, нежели удостоиться начертания своего имени на ландкарте Земли. Это ли не бессмертие!»

Горы, крадучись, подступали к реке, надвигались лесистыми отрогами. Ельники и лиственничные урочища перемежались березняками и осинниками. Потерялся счет притокам и озерам. За излучиной Толбачика потянулся к северо-востоку горный хребет.



31marta.ru

На безжизненных белосаванных возвышенностях и впадинах торчали многочисленные шишаки, даже не шишаки, а сторожевые башни, оберегавшие подступы к главным высотам. Они уже хорошо виделись, казались совсем близко. Острый Толбачик сверкал крутым ледовым куполом, чуть дальше за ним и пониже, но не менее трехверстной вышины, дымил Плоский Толбачик.

Странно, не было никаких признаков извержения, которое наблюдали пять дней назад из Мишурина острожка.

Все выяснилось через сутки, за рекой Козыревской.

— Глядите, новая гора выросла! — закричал в изумлении верхнекамчатский служивый. — Не стояла она тут прежде!

На значительном удалении от кратера Плоского Толбачика, верстах в пятнадцати от него и гораздо ниже, посреди черного, выжженного текучими расплавами и пожарищами дола торчал на треть версты кверху бугристый конус. Из притупленной макушки стреляло паром, и весь конус парил и дымился.

— Чуете? — Служивый, перекрестившись, оттопырил рукой правое ухо.

Крашенинников сдернул шапку и тоже вслушался. Конус шипел и посвистывал, а от вершины Плоского Толбачика доносилось клокотание, будто из глубокого бочажка на горячих ключах. Но там, в плоской Толбачинской горе, бурлила не вода, а растопленные чудовищным жаром каменные породы.

Каюры нервничали, торопили ехать прочь от опасного места.

— Едемте, господин студент, — посоветовал толмач. — Иначе сбегут, без нарт останемся.

Пришлось подчиниться.

Впереди и тоже справа, продолжением толбачинской гряды вздымалась до заоблачной голубой выси остроконечная Камчатская гора [1]. Крашенинников прикинул, что высота ее почти пять верст.

Идеально конические склоны покрывали матерые ледники. Из сверкающей ледовой пики выворачивался бугристый столб дыма. На трехверстной высоте от вулкана он разбухал облаком и, распушиваясь, уплывал в нескончаемую даль.

Дымный хвост и блистающая вершина Камчатской горы в ясную погоду были досягаемы взору за сотни верст. Отсюда, в относительной близости, виделись и трехрядные облака, опоясывавшие гору в ее средней части. Чтобы объехать Камчатскую гору по подножию, требовалось не менее полутора недель: триста верст!

Санный обоз Крашенинникова за пять дневных переходов одолел лишь полукружье. Речная долина упиралась в гору на западе, обтекала ее по северу и, уже от восточного склона, отрывалась от горы, устремлялась прямой дорогой к югу, на океан.

Грандиозная, чарующая Камчатская гора пять суток, казалось, движется встречным курсом, но не подпускает к себе вплотную, и не гордыня тому причиной, а осознанность жестокой и неукротимой силы, таящейся в горниле, смертельно опасной для всего живого.

Не только суеверные каюры, но и толмач поглядывали на Камчатскую гору с опаской.

---

[1] Ключевской вулкан (Ключевская сопка).

— Когда огнем гореть начинает и пепел выметывает, — сказал толмач Крашенинникову, — так и до нашего, до Верхнего острога сажа летит, землю на вершок покрывает. Полтора года назад, в сентябре тридцать седьмого, неделю пожар свирепствовал. Кто поближе жил, к смерти готовились, думали, конец света наступает. Особливо ночью ужас нападал. Вся гора раскаленным камнем виделась, из расщелин малиновые реки текли. И трясло нещадно. Трясение земли осень и зиму длилось. С перемежкой, конечно.

Горелые лесные массивы чередовались с белыми пустошами. Еще не зарубцевались ожоги и раны, нанесенные природе недавним извержением.

На левом берегу Крестовой речки, у впадения ее в Камчатку, стоял большой деревянный крест. Время и невзгоды отшелушили кору, затемнили древесину, но не стерли резную надпись, сделанную на поперечине более сорока лет назад:

СЕ году, ГI дня, поставил сей крест пятидесятник Володимер Атласов с товарыщи 55 человек.

Крашенинников несколько раз перечитал высеченные острием топора строки. «СЕ году, ГI дня...» 13 июля 20, 7205-го по старому, допетровскому стилю, то есть июля 13 дня 1697 года.

Атласов тогда возвращался из своего первого похода на Камчатку. Отправились из Анадыря шестьдесят человек. Троих убили изменники юкагиры, казак Гулыгин бесследно пропал на Лопатке, еще одного, безымянного, не досчитались...

Он стоял с непокрытой головой, в скорбном раздумье, точно у могильного креста на погосте.

— Ваше благородие, — негромко, но настойчиво позвал толмач. — Поспешать надо. В три ряда окольцевали облака горелую сопку. К сильному ненастью это.

На одиннадцатый день путешествия прибыли в людный острожек тойона Камака. Переночевали в тепле, сменили нарты с упряжками.

Река раздвинулась, словно набирая разгон для прохода двенадцативерстного ущелья.

Каменные щеки нависали над белой тесниной, загораживали солнечный свет. Синяя дорога, синие отвесные скалы, ни кромочки берега. Мрачная и величественная картина вызывала страх и восторг.

— Летом здесь непременно побывать надо, водою пройти. Верно, Осип? Красота-то какая!

Аргунов исподлобья глянул на высокое, зажатое в щель небо.

— У меня так и сейчас душа в пятках, а лед под ногами — твердь. О водном пути и загадывать муторно. Опрокинется лодка, так и уцепиться не за что, камень голый с двух сторон.

— Ладно, не стану тебя неволить, сам поплыву, — успокоил Крашенинников.

Ущелье начало раздвигаться. Ветер, что в теснине завывал, как в трубе, терял свою прыть.

Горы помалу отступали от реки, разомкнули каменные объятия, потом и вовсе отстали. На десятки верст распростерлась белая, посверкивающая под солнцем равнина.

За дальними синими березняками высился ледяной шатер попыхивающего дымом Шевелуча [1].

— Скоро и дороге конец, — с облегчением сказал толмач.

15 января прибыли в Нижний Камчатский острог.

ИЗ ПРИЛОЖЕНИЯ К РАПОРТУ
СТУДЕНТА СТЕПАНА КРАШЕНИННИКОВА

ОПИСАНИЕ ПУТИ ОТ ВЕРХНЕГО ДО НИЖНЕГО КАМЧАТСКОГО ОСТРОГА

Нижний Камчатский острог... стоит на левом берегу Камчатки реки. Оной острог зделан четыреугольной, длиною 42, а шириною 40 сажен. На западной стороне зделана проежжая башня, да с северной стороны небольшая калитка, близ угла. В остроге строения: церковь неосвященная во имя Успения богородицы, ...ясашная изба с сеньми и амункою, на правой стороне проежжей башни в углу. На левой стороне в углу ж государев дом, светлица с черною избою и банею, при ней анбар да близ ясашной избы анбар же, где кладется ясашная казна, артиллерия и к ней приличных вещей...

За острогом казенного строения кабак с винокурнею, обывательских дворов 39, да на правой стороне Камчатки против острога один же двор, тут же иноземческий острожек, в котором живут разных родов иноземцы. Казаков жалованных 28, безжалованных 19 человек, казачьих детей 29, ... иркуцких служивых, определенных в 1738 году на вечное житье в здешнем остроге, 8, всего 92 человека.

---

[1] Вулкан Шивелучь.



ГЛАВА СЕДЬМАЯ

ВОСТОЧНОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ



знурительное санное путешествие, длиною в восемьсот тридцать три версты, продолжительностью в два месяца, завершилось. Наконец-то не надо было каждодневно морозным рассветом отправляться в путь, коченеть на ветру и холоде, спать где придется, томительно пережидать непогоды и постоянно испытывать пустоту в животе. Первые сутки в Нижнем Камчатском остроге только и знали — есть да отдыхать после настоящей, с обжигающим паром и хлесткими вениками русской бани. Лишь на другой день пришли в себя и огляделись.

— Тут и небо другое! Над пенжинским краем почти беспрестанная облачность, густая, влажная атмосфера. Здесь — небосвод высокий и чистый, воздух светел, легок. Будто на ином свете очутился, Максим Юрьевич, — признался Крашенинников нижнекамчатскому приказчику Латышеву. Тот хмыкнул, тронул согнутым пальцем рыжие усы; под рыжими бровями усмешливо заискрились глаза.

— Вот задышит с моря, накинется вьюга, заметет до крыши, тогда никакого света не увидите, небо с овчинку станет. А воздух здесь и правда хорош, никакого сравнения с Большерецком. Морозы же вдвое меньше якуцких.

Упоминание Якутска сменило восторги на заботы.

— Максим Юрьевич, как же с хоромами для академиков?

— Какие еще хоромы? — Латышев сделал непонимающее лицо. — Я таких обещаний не давал.

— Вы и ответить не ответили на мое требование, — с укором сказал Крашенинников. — Второй год жду.

— Не знаю, не знаю, — продолжил лукавое притворство приказчик.

— Как же не знаете! Обращался к вам еще в позапрошлом году, в Большерецке. Только вы отказались мое требование взять.

— Было такое, — подтвердил Латышев. — Не мог я тогда никаких обязательств на себя брать. Еще не был в своей новой вотчине, положения в Нижне-Камчатске не знал, должности не принял.

— Но я уже сюда требование выслал!

— Слышал о вашем маневре, Степан Петрович, — насмешливо сказал Латышев. — Наперед меня с оказией отправили. Просчитались, однако, нетерпеливость и подвела вас. Бумагу-то предшественник мой получил, в декабре.

— Да, шестого дня.

— Тридцать седьмого! А я с первого января тридцать восьмого за все тут ответчик. Мало ли кто и что *до* меня требовал... На всякую хитрость и уловку завсегда финт придумать можно. — И Латышев, довольный, расхохотался. — Не сердитесь, Степан Петрович, — продолжил дружески, — разберемся, поладим. Оба ведь не об себе хлопочем.

— Хлопочем, Максим Юрьевич, да без толку. Как об стенку бьюсь третий год!

— Знаю, все знаю, Степан Петрович, — мягко заговорил Латышев. — Понимаю ваше положение и состояние. Вот он, ваш документ. Законно требуете, для дела. Прикажу исполнить неотложно. Кроме одного. Со строительством придется повременить.

— Но...

Латышев остановил его жестом.

— И сию вашу заботу отлично понимаю, Степан Петрович. Все мы не только под богом ходим... Но прежде всех и всего должны верой и правдой служить Российской державе, следовать дорогой, начертанной Петром Великим. Приращением славы и величия Отчизны в первую голову деяния свои надо мерить.

— Максим Юрьевич, сказанное вами вполне справедливо, — воспользовался паузой Крашенинников, — однако пользу отечеству дают не токмо ратные победы или другие знатные свершения, но и плоды просвещенного разума. Без философии, под коей понимаю я все полезные человечеству науки, невозможны приумножения славы и экономии государства, обеспечение его безопасности. Оттого император Петр Великий неусыпно имел старание о просвещении учением своего отечества, учредил академию...

— Степан Петрович, — прервал Латышев, — речь ваша в пользу наук понятна мне, как понятно, что все великое из малого складывается, как новые законы природы из отдельных наблюдений и опытов. Вы... — Он поднял бумагу с требованиями, пробежал глазами по всем пунктам. — Вы

просите определить двух грамотных для чинения метеорологических наблюдений. Дело весьма нужное, хотя мы отлично понимаем, что не в наш век наука сумеет предсказывать погоду на завтра.

— И дерева не с тем завсегда сажаются, чтоб самим пользоваться их плодами.

— О том же и я толкую, Степан Петрович. Вижу я пользу и от ваших стараний изучить все сущее на Камчатке, вчерашний и сегодняшний день ее. Пришлем к вам лучших людей, знающих географию, ботанику, птиц, зверей, местные языки и обычаи. Призовем шамана, как вы того требуете, и старожилов, и промышленных русских, и иноземцев. Списки дадим и ведомости острожных людей. В общем, будем всемерно вам помогать. Но от возведения хором увольте. Приедут ли сюда ваши профессоры, сам господь не поручится, мы же и с собственным строительством не поспеваем. После разорения и пожара не все восстановлено. Церковь не освятили! Еще осенью тридцать седьмого собрались было, а тут ужасное извержение случилось. Земля так расходилась — печи в избах падали, колокола сами по себе трезвонили, в новой церкви бревна из дверных колод и пазов вышли. А церковь-то из толстого лиственного бревна! Не то что, рассказывают, прежняя, которая в бунт сгорела.

Разговор переключился на события недавних тридцатых годов. Латышев тоже интересовался историей. И не из праздного любопытства.

— Стремлюсь постичь суть, причины народных возмущений, извлечь для себя урок из опыта предшественников, чтоб самому по силе разума и возможностей не допустить зло. Предостаточно беззаконий творилось на Камчатке. Начиная с Атласова, — сказал со стыдом и болью.

Такого приказчика, думающего, совестливого, некорыстного Крашенинников еще не встречал здесь. Латышев располагал к себе, вызывал ответное доверие. Для успокоения и справедливости ради отметил:

— И до Атласова множество кровавых междоусобиц было. Да и ныне не все мирно и тихо. Зависть и жадность толкают одно племя идти разбоем на другое, строить коварства.

— Так наши казаки и призваны порядок и справедливость поддерживать! А они и сами на неправедный путь инде вступают. Для того ли направил сюда экспедиции Петр Великий! Отчего, привнеся в дикую страну язычества и каменных орудий новый век и христианскую веру, не по-христиански насаждаем мир и братство? Не к тому ли призывал царь Петр, не того ли требует от нас последний указ нынешней императрицы от двадцать первого мая тридцать третьего года «О нечинении обид и притеснений ясашным людям, живущим в Якуцком ведомстве и в Камчатке»? Настрого заказано взымать излишний ясак, взятки брать.

— Ясак, подати... Вот мы и добрались до сути, Максим Юрьевич. Всякая государева казна на том стоит. Где на земле есть народы, кои правителям, своим или пришлым, дани не платят? И наша история примером тому. Слово «ясак» от чингисхановой «ясы» — «устава», «закона» — происходит. Мунгалы и татары, окромя ясаку, брали, для верности уговору и обережения себя, молодых россиян в заложники, в аманаты. По освобождении Казани, а затем и Сибири и мы сии порядки ввели. В бытность мою в Сибири доводилось копии с архивных бумаг для профессора Миллера снимать. По сей час почти дословно грамоту царя Ивана Васильевича помню. В Югорскую Землю князю Певгею и всем князьям Сорыкидским о сборе дани и доставке ее в Москву.

— Как интересно! — воскликнул Латышев. — Не знал этого. Перескажите что из той грамоты. А как она выглядит?

— Вид обыкновенный, как все царские письмена того времени. Печать на шелковом мутовозе посеребренная и с позолотой. На печати орел двоеглавый, на обороте же чеканено: «Великий царь и великий князь Иван Васильевич». Требовал он собрать дань «всю сполна со всякого человека по соболю». И обещал за то «жаловать и от сторон беретчи и под своею рукою держать».

— Да, десница у Ивана Грозного была тяжела!

— «А не зберете вы нашее дани со всякого человека по соболю и к нам на Москву не пришлете, и мне на вас послать рать своя и вострая сабля».

— По одному соболю или бобру, другой какой единичный ясак раз в году отдать государю не разорение. И ныне такой порядок действует. — Латышев вздохнул и поправился: — Должон действовать. Только опасаюсь, что и последний указ государыни императрицы не очень долго будет страшить лихоимцев и казнокрадов. Карающая десница и самых окраин державы достает, да пока дотянется через тысячи верст...

— «Пока дотянется, другой закон в силе», пословица местная.

— Не о семи ли годах? — нехорошо усмехнулся Латышев. — И мне кое-кто пытался внушить: пользуйся-де своим положением, там видно будет! «На Камчатке можно прожить семь лет, что ни сделаешь...»

— «А семь-де лет прожить, кому бог велит», — досказал Крашенинников. — Тот же атаман бунтовщиков Анцыфоров, который к смерти Чирикова и Атласова причастен, подтвердил своею гибелью истинность сей пословицы. И пяти неправедных лет не прожил, сгорел живьем в балагане. Есть и других доказательств множество о неотвратимой расплате за злодейства и наглости.

— Не только на Ка́мчатке... — многозначительно уточнил Латышев.

— Разве в других странах иначе? И не только во вновь открытых, как Америка, но в старой Европе! Беспрерывные войны и насилия против чужих и собственных народов. Всему роду человеческому недостает просвещения, оттого и варварство.

Латышев прищурил глаза под рыжими дужками бровей, тронул усы.

— Про Александра Великого из Македонии не скажешь, что непросвещенным был, не так ли, Степан Петрович? Нет, при всем моем почтении и вашем благоговении пред наукой, не в ней единой корень зла и добра.

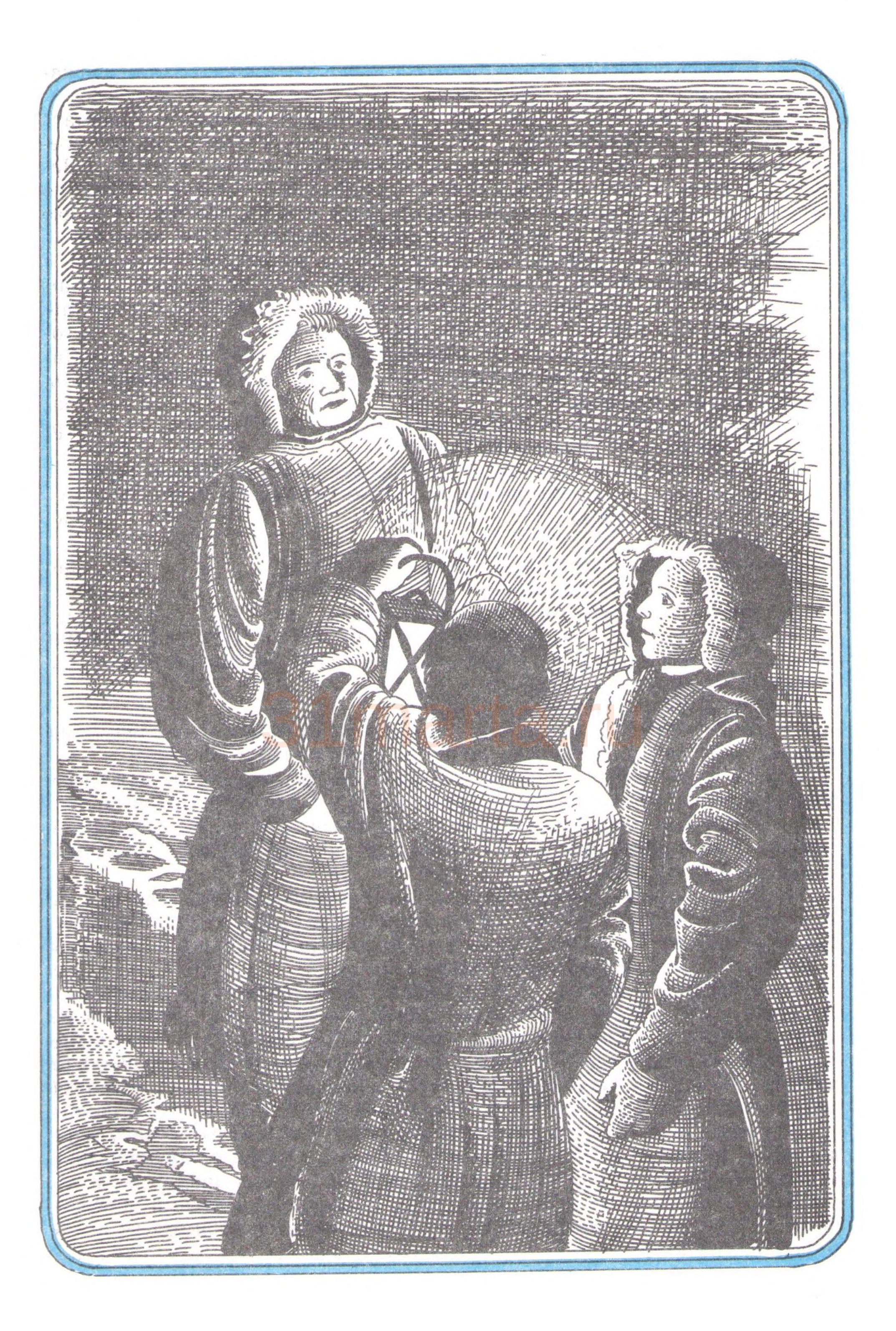
— А в чем же? — тихо спросил Крашенинников.

— Не ведаю, — с глубоким сожалением выдохнул Латышев. — Мечтаю, чтоб дальние мои потомки разгадали секрет и разумно перестроили несовершенную человеческую общность.

Они проговорили до полуночи. Крашенинников медленно шел сквозь длинный ряд посадских домов на ночлег. Снег, поваливший было из серых туч после полудня, больше не сыпался. Ветер с моря очистил небо, обнажил звезды. В дымных клубах над Толбачиком кувыркался ущербленный месяц.

«Быть может, и настанет время, когда мир и благоденствие станут одинаковыми для всех, как одинаков для всех племен и народов и каждого отдельного человека дивный и пленительный вид звездных небес», — подумал Крашенинников.

Он остановился, отыскал двойной парус созвездия Ориона, полюбовался им, затем перенес взгляд на голубой Юпитер и, опять мысленно



возвратившись к беседе с Латышевым, укрепился в своем убеждении о важности просвещения и философии для благополучия человеческого.

«Издревле это средство почитается за важнейшее. Все книги Соломоновы похвал его преисполнены. А что до отдаленного грядущего, когда и каким оно станет, постичь невозможно, как число звезд на пространстве неба. — Но тут же и усомнился в истинности своего заключения. — Однако ж астрономия вычислила неизмеримое расстояние до неподвижных звезд, величину планет, время их обращения вокруг своего центра и различие дальности путей от Солнца. А затмения светил еще египетские жрецы в точности предсказывали. Следовательно, люди и наука откроют когда-нибудь и законы человеческого бытия, рассчитают орбиты истории...»

— Стой! Кто таков?! — раздался грозный окрик.

Два казака наставили фузеи с примкнутыми штыками.

— Студент императорской Академии наук Степан Крашенинников, — полным именем отозвался он.

Старший дозора поднес фонарь со слюдяными окошками.

— Извиняйте, не разглядели в темени.

— Что извиняться. Служба, — добродушно сказал Крашенинников.

— Видно, и вы службу несете, — учтиво произнес второй казак. — Звездами интересуетесь?

— Любуюсь.

Дозорные задрали голову, посмотрели с минуту.

— Знатно, — солидно, басом произнес старшой.

Напарник его вступил в ученый разговор:

— Позвольте спросить, господин студент, отчего на Луне бока темными бывают? То так, то эдак серпом развернется. Ежли она стеклянная, то завсегда светлой должна быть.

Крашенинников объяснил с улыбкой:

— Тень от Земли сказывается, планета наша Солнце заслоняет, Луна ведь не сама по себе светится, такое же грубое тело, как Земля.

Казаки переглянулись. Старшой крякнул. Другой караульный даже приподнял фонарь, поглядеть, шутит или всерьез студент несуразицу выпалил.

— Ежели она грубая материя, то как же свет от нее на Землю исходит? Сопки, камни грубые, они и в яркий полдень не отсвечивают зеркалами! Верно я толкую, Лексеич?

— Отстань, Ефим. Вечно ты допытываешься до разных разностей, об каких и задумываться пустое. Что за нужда тебе знать, чем светится месяц? Он-то далече, а есаул близко, взгреет по первое число за тары-бары в дозоре. Пошли. Доброй ночи, барин.

— Спокойной службы, — попрощался Крашенинников, улыбнулся печально в темноте: «Кто в чем воспитан. Казаку нет дела до Луны, земледельцу нету охоты ведать, Солнце ли вокруг Земли обращается или наоборот. А Ефиму век толкуй, что Луна не стеклянная и не светлая, все равно не поверит. О каком переустройстве мечтает Максим Юрьевич? Грамоте сперва обучить людей надо... А все ж казак тот, Ефим, думающий!»

Вспомнился московский друг Михайло Ломоносов. От Ледового моря до Белокаменной прошагал, презрел богатое наследство, отверг красавиц с толстой мошной, в нищую школьную жизнь кинулся, знаний жаждет.

«Нет, — решительно сказал сам себе, — великими успехами возвеличится Россия, коль скоро простой народ за недостаток почитает не иметь в науках участия!»

Четвертую неделю работал в Нижнем Камчатском остроге Крашенинников. Приказная изба неукоснительно выполняла все его требования. Никакой волокиты и обмана. Уж если сказали, что не могут помочь бумагой, значит, в казне свободного клочка не имеется, а в продаже — кто ее, бумагу, к продаже на Камчатку завозит!

Начались метеорологические измерения. Ящик с инструментом повесили в доме служивого Кривошеина, наблюдения и записи вели Мохнаткин и казачий сын Егор Иконников. Сперва под руководством Аргунова, затем и самостоятельно. Пищику хватало других заданий.

Крашенинников с головой ушел в историю последнего массового бунта. Устные и письменные свидетельства, добытые в Большерецке и здесь, на месте, где происходили главные события, помогли уточнить, расширить, дополнить данные, составить полную картину.

Первым читателем рукописи «О завоевании Камчатской землицы, о бывших в разные времена от иноземцов изменах и о бунтах служивых людей» стал приказчик Латышев. Он пришел в восторг:

— Подробнейшему списку вашему, Степан Петрович, цены нет! Великое дело сделали. Почти за половину столетия собрали воедино исторические сведения. Наши потомки, возможно, и отыщут в архивах некоторые бумаги, но вы из первых рук, от живых свидетелей получили бесценные знания, обобщили их. И выше всяких похвал ваше честное беспристрастие, правда ваших писаний.

— Перехваливаете вы меня, Максим Юрьевич, — смущенно сказал Крашенинников. — И не все, думаю, поддержат ваше мнение. Как писал Теренций, древнеримский сочинитель, правда подчас рождает ненависть.

— Римлянина не читал, не знаю латыни, а вот ваше сочинение, если дадите, прочту еще раз. Особо мне интересно и важно знать о последнем бунте. Это же здесь, тут было.

БУНТ



зиму и весною 1731 года ключевские и еловские тойоны зачастили в гости в ближние и дальние острожки. Так во всяком случае объясняли они свои подозрительные беспрерывные разъезды. На самом деле, еловский тойон новокрещенный Федор Харчин и его ближайшие сподвижники подбивали сородичей ко всеобщему восстанию.

Федор Харчин был хорошо известен и в русских острогах. Живал там аманатом, не раз ходил со сборщиками ясака в роли переводчика. Помощь и усердие Федора Харчина, впрочем, не спасли его от жестоких побоев, когда он не сумел сразу отдать второй годовой ясак камчатскому правителю Ивану Новгородову.

Ни тому, ни другому и в страшном сне не могло привидеться, что кончат они свою жизнь на виселице и что казнят их по приговору суда в один день и час на горелой площади Нижне-Камчатска.

Момент для восстания был избран самый что ни есть удобный. На Камчатке в то время русских осталось мало, а вскоре и эта численность уменьшилась.

Бот «Святой Гавриил» собирался вот-вот покинуть гавань в устье Камчатки, выйти в море с последними солдатами и людьми Беринга. Штурман Генс заканчивал береговые дела.

Тайный караул Чегеча, камчадальского есаула из Ключевой, неусыпно следил за «Гавриилом». Отплытие корабля и должно было послужить сигналом к выступлению заговорщиков. События, однако, изменили тщательно разработанный план.

Со времен Атласова ясак собирали мехами и шкурами. Привычно стало летом и осенью сдавать юколу, дичь, кипрей, сладкую траву. Летом же тридцать первого года заказчик Крылов отправил в Ключи человека за ягодами. Человек тот, некий толмач Орликов, взял с собою казачью женку. Только не стали они сами спину гнуть, принудили собирать голубику ительменок. Новый ягодный побор объявили! Сами додумались или так приказал Крылов, потом не выяснить было: Орликов и казачья жена сделались первыми жертвами бунтовщиков.

О незаконном действе тойон Ключевской дал знать своему племяннику Федору Харчину. Тому самому. Одновременно в тайный штаб пришло донесение из устья реки Камчатки об отплытии русского корабля. Харчин дал сигнал к вооруженному выступлению.

Отряды воинов были давно в полной готовности. На каждом плетеный панцирь из моржовых и нерпичьих ремней; для защиты головы и груди спереди и сзади приторочены к панцирю-куяку деревянные щитки. В берестяном чехле лук с тетивой из китовой жилы, в колчане стрелы со всевозможными наконечниками: костяными, каменными, деревянными, тонкие и широкие, острые и тупые. У многих четырехрожковые рогатины на длинных шестах, уакарели. В густых зарослях ждали своего часа баты с полным снаряжением.

Лодочная армада двинулась к Ключам, быстро учинила расправу и, не теряя времени, поплыла вниз по реке Камчатке. Бунтовщики истребляли по пути на летовьях казаков, служивых, обывателей — всех подряд. Строения и пашни предавались огню.

Вечером 20 июля лазутчики зажгли поповский двор в посаде Нижнего Камчатского острога. На пожар, естественно, сбежался народ. На это и рассчитывал Харчин, отлично изучивший характер русских казаков. Набат созвал на борьбу с огнем больших и малых.

Люди, освещенные ярким пламенем, стали мишенями для лучников. Со всех сторон посыпались убийственные стрелы. Поповский сын рухнул на колокольне смертельно раненный в грудь.

Разбойная ватага ворвалась в крепость. Казаки и за оружие взяться не успели. Плененных защитников подвергли диким пыткам и замучили. Лишь нескольких молодых и пригожих женщин оставили вживе. Не тронули и многих из своих, ительменок и ительменов, обретавшихся в остроге.

Кровавая резня и безудержный грабеж сопровождались бессмысленными поджогами. Сгорели все дома и дворовые пристройки вокруг острога. Церковную трапезницу и несколько изб разобрали на бревна для второго острожного ряда. Его установили в нескольких саженях впереди основной стены, усилив оборонную мощь крепости.

Есаул Чегечь, узнав о падении Нижне-Камчатска, поспешил на воссоединение с Харчиным. Те, кто чудом сумел бежать из острога по реке, были перехвачены, но несколько человек ускользнули от Чегеча и добрались до гавани.

Там преспокойно стоял на якорях «Святой Гавриил». Противный курсу ветер принудил штурмана Якова Генса вернуться.

Весть о том, что корабль с пушками и солдатами опять пристал к берегу Камчатки, огорошила Харчина, заставила его изменить первоначальные намерения. Вместо наступления на Верхний острог, а потом на Большерецк, Харчин решил отсидеться и разослал гонцов, призывая всех камчадалов в занятый им Нижний. Некоторые острожки поддались соблазну легко поживиться, но самый людный, Мишурин, не выслал в подмогу бунтовщикам ни одного человека.

Меж тем командир «Гавриила» направил отряд из шестидесяти солдат и матросов во главе с подмастерьем Спешневым и геодезистом Гвоздевым. Вслед двинулись еще тридцать воинов с пушками.

25 июля головной отряд подошел к острогу. В ожидании артиллерии пытались вести переговоры, убеждали бунтовщиков сдаться на милость. Разбойники, опьяненные победой и награбленными богатствами, отвечали воинственными кликами и стрелами. Федор Харчин кричал издевательски:

— По какому указу вы под мой острог пришли? Разве вам не известно, что отныне я правлю Камчаткой и сам буду ясак собирать для государыни? А потому нет надобности в казаках на Камчатке. Ступайте отсюда, пока целы!

По приказу самозванца монастырский холоп Савин, новокрещенный и обученный церковной грамоте, напялил на себя поповскую ризу и, кощунствуя, отслужил молебен в честь Федора Харчина. Тот, еще сильнее куражась, наградил «попа» тридцатью лисицами и записал расход в казенную книгу. Все ясашное хранилище досталось Харчину в целости и неприкосновенности.

Двадцать шестого подтянулись пушки и команда солдата Змиева. Начался бой. Под орудийным и ружейным огневым прикрытием русские пошли на приступ, рубили проломы в острожном частоколе. Через них многим полонянкам удалось выбежать из крепости.

Осажденным бунтовщикам деваться было некуда. Спасая свою шкуру, Харчин, переодевшись в женское платье, ловко бежал. С ним удрали еще несколько таких же быстроногих разбойников. Казаки заметили беглецов, но догнать не сумели. Не зря говорили, что Федька Харчин оленя перегоняет, быстрее ветра мчится.

Оставшись без предводителя, окруженные бунтовщики побросали оружие и запросили пощады. Лишь есаул Чегечь отбивался до последней возможности, никак не мог расстаться со сказочным кладом. Чегечь с группой своих отчаянных соратников засели в крепком амбаре, где хранились все награбленные ценности, и отстреливались из луков и русских фузей, пока не занялся пожар. Но дым и огонь не остановили перестрелку. Наконец пламя добралось до бочек с порохом. Мощный взрыв разнес амбар в щепы.

Скорбное зрелище открылось победителям. На месте, где всего пять дней назад красовался большой и зажиточный острог с многолюдным посадом, дотлевали головешки. Ветер шевелил и вздымал горький пепел. Единственное строение, церковь Николая-чудотворца высилась над разоренным поселением, словно кладбищенская часовня.

Повсюду валялись обезображенные трупы мужчин, женщин, безвинных детей.

Разъяренные солдаты Александра Змиева перекололи пленников.

Потом, позже, Змиев поплатится за жестокое самовольство. Суд назначит ему шпицрутены, солдата прогонят сквозь строй...

Люди с «Гавриила» вернулись на корабль. В бывшем остроге не осталось ни души. Тайный дозор Харчина воспользовался этим и спалил церковь. Пришлось опять выступить против бунтовщиков.

Преследуя остатки харчинского войска, Змиев окружил его на полуострове реки Ключевой. Несколько дней велась перестрелка. С берега на берег летели стрелы и пули, ругань и увещевания. Поняв безнадежность своего положения, Харчин согласился на переговоры.

Сначала трое казаков переправились на лодке во вражеский стан. Харчин и его приспешники не без основания заручились заложниками. На русский берег тоже явились трое: Федор Харчин, брат его Степан и еловский тойон Тавачь. Последние двое примкнули к восстанию уже после разгрома нижнекамчатского острога.

Обреченность бунта и неизбежность расплаты за содеянное заставили главного зачинщика смиренно раскаиваться и горячо обещать приложить все свои силы и влияние к скорейшему прекращению кровопролития. Спасая свою жизнь, бунтовщик и изменник готов был предать весь свой народ. Змиев же требовал безоговорочной капитуляции, сдачу на милость победителей, но разговаривал спокойно и сдержанно, опасаясь за судьбу казаков-заложников. Надо было что-то придумать, перехитрить врага.

— Хорошо, — сказал Змиев, — доложу твои условия начальству. Сам я такое дело решить не могу.

Федора Харчина отпустили, вернулись к своим и казаки, хотя Степан Харчин и тойон Тавачь остались у русских. Оба заявили, что не хотят больше иметь дело с бунтовщиками, что их насильно, под угрозою смерти заставили взяться за оружие, но что от их рук никто не пострадал. Впоследствии это полностью подтвердилось, Степан Харчин и тойон Тавачь были прощены.

Через несколько дней переговоры возобновились. На сей раз все было заранее продумано и подготовлено. Едва Федор Харчин выступил из лодки, как сразу был взят под караул. Словно из-под земли выросла цепь солдат с наставленными на вражеский берег ружьями. У двух пушек встали канониры с зажженными факелами-запальниками: миг — и бабахнут огнем и свинцом. Угроза вызвала замешательство, кто из бунтовщиков-ительменов и наутек кинулся. Воспользовавшись этим, казаки-заложники прыгнули в воду и под защитой пушек и ружей благополучно вернулись обратно.

— Теперь другие разговоры разговаривать будем! — закричал Змиев и дал приказ открыть огонь.

Камчадалы не выдержали штурма, но многим удалось вырваться из окружения. Верхнееловский тойон Тигиль увел свой род к вершинам, Голгочь с десятком соратников удрал на Козыревскую, а оттуда — на Шапину реку. И всюду Голгочь творил жестокость уже над соплеменниками. Люто-

вал, убивал тех, кто отказывался примкнуть к нему, уничтожал и жег кормовые запасы и жилища, бесчинствовал, пока не нарвался на казаков из Верхнего Камчатского острога. А Тигиль, тяжело раненный, переколол свою родню и порешил себя.

С основным войском бунтовщиков было покончено, но весть об этом не скоро распространилась по Камчатке. Другой, противоположный слух летел впереди. Слух о разгроме Нижнего острога и якобы победоносном шествии Федора Харчина. Великая смута объяла восточное и западное побережье. В Большерецке и Верхнем пребывали в страхе. Не было житья и в иноземческих селениях: то тут то там вспыхивали междоусобные баталии. Земля пропиталась кровью и страданиями.

Лишь после разгрома крупных сил бунтовщиков на реке Быстрой и подле Авачинской губы осенью 1732 года наступил печальный и относительный мир. Потухли пожары, затихли крики и стоны.

Для выяснения причин и виновников бунта на Камчатку прибыла Походная розыскная канцелярия.

Именной указ от 9 мая 1733 года предписывал особые строгости в отношении к русским управителям и их подручным: «... жесточайше разыскивать... и пытать, потому что большею причиною бунта их злые разорительные с таким диким народом поступки».

Долгое разбирательство закончилось суровым приговором. Сорок четыре камчадала и шестьдесят один русский подверглись телесным наказаниям, девять камчадалов и четверо русских были повешены.

Сколько погибло безвинных и сражающихся людей — не узнать никогда.

ВСТРЕЧИ И РАССТАВАНИЯ



Приказчик Латышев явил прямо-таки царскую щедрость: разрешил выдать два топора и два заступа на вывоз. В Большерецке у Шергина и снега зимой не выпросить!

Крашенинников, сияя от счастья, нес завернутый в тряпицу бесценный инструмент. Студента провожали взглядами, полными удивления и зависти: этакое богатство человеку привалило!

Из кабака выскочил рослый человек в огненной рубахе из шелковой китайской фанзы, кинулся наперерез. То ли в объятия заключить, то ли грабить. Крашенинников остановился.

— Ха-ха, напужал вас! — закричал Игнат Онуфриев. — Здравствуйте, дражайший Степан Петрович!

— Откуда тут? — безразлично спросил Крашенинников. Неожиданные и случайные встречи с алчным иркутянином оставляли в душе только неприятный осадок.

— А я у коряков был, ночью сюда прибыл. Спозаранку, как водится, в кабак — обмыть удачу и благополучное странствие. Милости прошу к

нашему столу! Заодно и о старом дельце переговорим. Я так еще и не отступил от замысла совместное с вами жилье выстроить.

— Благодарю, но остаюсь на прежней позиции. И приглашение не могу принять, тороплюсь.

Багровое лицо Игната исказилось гримасой обиды и несвойственной прежде высокомерности.

— Брезгуете, господин студент... Так-так... А я, промежду протчим, единолично теперь способен на цельную дюжину домов с амбарами отвалить! И еще на два столько деньжат останется! Вы ж небось и без жалованья сидите, от профессоров ваших ни гу-гу!

— Прощай! — Крашенинников отстранил Онуфриева плечом и шагнул было дальше, но следующие слова заставили остановиться.

— А камчадалку-то, небезызвестную вам, умыкнули! Как отбыли вы из Большерецка, она явилась, вас спрашивала. Тут известный вам также Гришка-Кешлея и схватил птичку, да и умчал ее неведомо куда...

— Ложь!

Игнат, довольный, что все-таки задел студента за живое, сказал трезво и отчетливо:

— Могу на кресте поклясться. Всяк в Большерецке про это знает, и сам господин майор Павлуцкий подтвердил.

Крашенинников перевел дыхание.

— Вот и запутался. Майор сухопутьем с Камчатки отбыл.

— Должон был, а не уехал, Степан Петрович, — торжествующе ответил Онуфриев. — В Большерецк возвернулся, зимует там. Промежду протчим, велел поклон передать, ежели нас дороги сведут. Эх, господин студент, — закончил он с обидой, — понапрасну разводите наши пути. Как сыр в масле катались бы. Я нынче такой удачливый торг у коряков провернул— и правнукам останется!

Крашенинников, не дослушав, молча шагнул прочь. Все бушевало в нем. «Немедля организовать погоню! Вызволить Кениллю, оградить от разбойника. Так вот кто опередил тогда, вот кто вор! На одну ночь разминулись в Тереине. Теперь где искать его? Велика Камчатка...»

Разумом понимал, что ничего уже не сделать, не изменить, если и найдет Гришку-Кешлею. Да и какое право имеет вторгаться в чужую жизнь, нарушать обычаи другого народа. Отнять невесту или жену не считается у ительменов зазорным. Смирится Кенилля, а Гришка-Кешлея, может, еще и дорогим зятем станет. Но сердце противилось, бунтовало, щемило. Теперь, потеряв Кениллю, Степан осознал, что любит ее и уже не сможет забыть. Любовь останется и будет болеть, теплиться, как лампадка, всегда, неугасимо.

Онуфриев при случайных встречах больше не заговаривал и не зазывал к застолью, лишь приветствовал: «Наше вам почтеньице!» При этом шапку свою, мурмолку из соболя, высокую, ровно боярский столбунец, не сдирал, скалил редкие зубы, а треугольные ноздри подрагивали. Сказочно разбогатевший иркутянин едва сдерживался, чтоб не рассмеяться в лицо нищему студенту. Видеть Игната Онуфриева было невыносимо мерзко.

Наступило сретенье. В России 15 февраля зима с весною встречались, чирикали на солнечных карнизах воробьи, тенькали капли с длинных сосулек. Здесь, близ сурового Восточного моря, в Нижнем Камчатском остроге,

весной и не пахло. И все же день, хоть на куриный переступ, а прибавлялся, можно отправляться в ближние поездки.

Крашенинников побывал в острожке Табкачаулкик за Нерпичьим озером, затем потратил три дня на описание Шевелича, для чего съездил вверх по Камчатке к горячим ключам. Оттуда горелая сопка видна с подножия, бело-зеленого от еловых чащ, до вершины, с которой спускаются ледяные языки.

Высокий Шевеличь держался особняком от прочих сопок, их разметало к югу и юго-западу.

— У камчадалов и на сие глупая басня имеется, — сказал провожатый Мурзинцов.

Казачий сын из Нижнекамчатска заменил двоих большереченских служивых. Крашенинников выхлопотал им паспорта и отпустил домой, поскольку съестные припасы у них были на исходе, новых купить не на что, а кормить — у самого в животе кишка с кишкою слипаются.

— Сколь ни кажутся глупы, — возразил, как некогда Михайле Лепихину, Крашенинников, — а презирать нельзя. Во многих ительменских баснях заключаются известия о древних переменах сих мест. И очень уж ительменский народ на выдумки способен, художники, как старинные греки. Так рассказывай, коли начал.

— Гора стояла при Восточном море, однако точили и беспокоили ее черви, блохи и другие всяческие еврашки. Шевеличь, не стерпев, ушел на север, за реку Камчатку, а прежнее место залилось водой, обратилось в озеро, называемое Кроноцким. Вкруг него есть горы, и две из них очень знатные, под стать Шевеличу. Одна, Кроноцкая, с островерхим шатром, другая без имени и притуплена. То Шевеличь, поднимаясь, уперся в нее и обломил...

— Что ж, — сказал Крашенинников, — и в суеверной небылице некоторая правда есть. Известно, что от частых и преужасных трясений земли и наводнений горы инде проваливаются или поднимаются вновь. Думаю все же: не тем озеро сделано. Шевеличь исстари здесь был, а окольные горы стерлись от всякого рода пагубных воздействий. Вот и осталась горелая сопка в одиночестве.

И вдруг сам ощутил себя неуютно одиноким посреди дикого и прекрасного пространства, еще по-зимнему белого и холодного. И вспомнилось, как в первую зимнюю поездку, на возвратном пути с Авачи, где, выручая Осипа Аргунова, принял ледяную купель, опять останавливались в Каликином острожке.

Чувствовал Крашенинников себя неважно: слабость во всем теле, ломота, кашель до боли в груди. Апача-Василий тотчас подметил:

— Однако болесс шибко тебя всяла. Лечисса надо.

Позвал племянницу, сказал ей что-то. Кенилля быстро вскинула на Степана блестящие яшмовые глаза. Выражение постоянного изумления мгновенно сменилось тревогой и жалостью. Согласно кивнув тойону, кинулась исполнять распоряжение.

— Травами сейчас полечат тебя, Степан Петрович, — объяснил Лепихин. — Они знатоки в этом, вполне довериться можно.

Он и не думал противиться. Напротив, ждал встречи с Кениллей.

— Хорошо, не откажусь. Иди, Михайло, отдыхай.

— А как же, извини-прости...

— Иди-иди, столкуемся как-нибудь.

Лепихин не без ревности согласился:

— Да уж надо полагать, — и послушно удалился на ночлег.

Спустя час или более, Степан уже задремал, разбудил его нежный птичий голосок:

— Студенталь, студенталь...

Его мучила жажда, попросил:

— Пить.

— Пить, студенталь, пить.

Он открыл глаза. Кенилля держала маленькую посудинку с дымящейся травяной жидкостью.

Целительный отвар, терпкий, вяжущий, медленно и липко растекался в груди, разливался теплом и покоем.

Кенилля что-то прощебетала, притрагиваясь длинными, тонкими пальцами до лба, строя гримасу боли: смежила ресницы, опустила уголки рта. Степан утвердительно кивнул:

— Болит, болит голова, — и поморщился, скривил нос. Получилось, наверное, забавно, вызвало улыбку.

Она наполнила посудинку, ту самую ценинную пиалу с кобальтовой птицей и листьями, отваром из другого сосудца. У нее и от этой хвори средство имелось.

— Пить, студенталь.

Он притянул ее руку с пиалой, придержал.

— Пей. Надо говорить: пей.

Она с готовностью исправилась:

— Пей, студенталь, пей.

— Меня Степаном зовут. — Он ткнул себя в грудь. — Степан.

— Сте-пан, — проговорила-пропела Кенилля, наклонив голову набок, вслушиваясь в звуки его имени. — Сте-пан.

— Степан, верно.

Тогда и она, как он, коснулась своей груди:

— Кенилля.

Он ласково пожал ее руку:

— Умница ты, умница, да и только, Кенилля.

Она обрадовалась, что он доволен ею, засияла.

— Сте-пан — Кенилля, Сте-пан — Кенилля. — Умолкла, обратилась привычно: — Пей, студенталь.

— Пускай будет по-твоему, коль звание мое больше нравится, нежели имя.

Кенилля пристально вгляделась в его глаза, проговорила что-то. Затем несколько раз показала то на глаза Степана, то на синий рисунок на пиале, пока он не понял.

— Глаза? Верно, синие. А у тебя яшмовые, блестящие, словно камешки только-только из воды вынутые.

Изумленная бровь ее встрепенулась, припухлые губы тронула счастливая улыбка.

— Откуда сей шрам? Как раз посередке брови, надвое сломал.

Она будто на лету схватывала русскую речь, но отвечала по-ительменски, и он, не зная отдельные слова, все равно постигал смысл ответов.

«Не помню, маленькой была, какой-то зверек поранил».

— Губы твои нежны и припухлы. Над верхней пушок и родинка сбоку. Почему я прежде не видел ее?

«Плохо смотрел, студенталь, потому и не заметил. Волосы у тебя цвета поздних осенних листьев березы, а нос большой и крепкий, как у божественной птицы Ворона. Рот маленький, сильный, только нижняя губа оттопыривается. Отчего так? Ты очень упрямый, да? Настойчивый?»

— Не знаю. Наверное. — Щеки Степана загорелись огнем. Он не видел, ощущал, а она увидела и почувствовала его состояние. Погрузила руку в чашу с ледяной водой, стряхнула лишнюю влагу, приложила к его щекам.

«Остудись, милый, мы не одни, студенталь...»

Кенилля, конечно же, иначе выражала свои мысли, быть может, и думала иначе, но Степан был уверен, что точно понимает ее. И с нею, очевидно, происходило то же самое...

— Возвращаться будем?

Крашенинников непонимающе взглянул на Сашу Мурзинцова.

— Трогать будем, Степан Петрович, домой поедем?

Вокруг было пустынно и одиноко.

— А-а... Да-да, Саша, поехали.

В остроге дожидались два тойона с Укинской губы и шаман Карымлячь. Все толстые, присадистые, в ровдужных, то есть замшевых, оленьих кухлянках. Оседлые коряки, как не раз убеждался Крашенинников, в отличие от кочевых, более зажиточных, вели себя приветливо и скромно.

Карымлячь ни одеждой, ни чем иным не выделялся в укинской троице, но всем видом — тем, как держал высоко голову, надменным взглядом, поджатыми губами с резкими глубокими складками по углам,— подчеркнуто выражал свою исключительность и превосходство над людьми, коряками и русскими. Крашенинникову сразу бросилось в глаза, что и казаки с особым почтением обращались к Карымлячу. Бойкий Мурзинцов и тот робел перед шаманом.

— Карымлячь, Степан Петрович, во всем нашем крае славен. Не просто шаман. Глупые проказы его мы в счет не берем. Но он и подлинные чудеса творить способен, дух, глядючи на них, захватывает! Перво-наперво чтим его за силу против болезней. Он и наших иных казаков как лекарь пользует.

— И что, выздоравливают?

— Зазря смеетесь, Степан Петрович. Ваську Безфамильного как скрутило, а Карымлячь его враз на ноги поставил. Правда, Васька доброй собаки лишился, по приказу шамана заколол. Убитую на кол насадили, оборотя мордой к горелой сопке. Жалко было, зато хворь поборол. А из чудес попросите Карымляча брюхо себе проколоть и кровь испить.

Выслушав просьбу, шаман закрыл глаза, быстро почесал изрядно выщипанный клинышек бородки и на несколько минут замер в полной неподвижности. Вдруг он вскрикнул, застонал, стал бормотать что-то невразумительное. Толмач Спиридон Перебякин не понял ни одного слова, но Мурзинцов шепнул Крашенинникову:

— Бесы в шамана вселились, мучают его.

Вскоре нечистая сила, видно сама утомившись, освободила Карымлячa. Взмокший, бледный, он медленно пришел в себя и наконец заговорил:

— Однорукий Охткана приходил. Одет был в богатое платье из речной травы шелковника. Сердился, терзал мое тело, сказал: «Нельзя сейчас. Завтра, когда Ичиваламак на небо выйдет, можно».

Ичиваламаком он называл Юпитер. Крашенинников, поскольку представление с кровопусканием откладывалось, расспросил о планетах и звездах. Шаман знал Юпитер — «Красную стрелу», созвездия «Дикий олень» — Большая Медведица, «Криво уронил» — Орион. Млечный Путь представлялся коряку древесной рекой.

На другой вечер в нетопленной бане собралось столько любопытных, что жарко сделалось. В приоткрытую дверь заглядывало ночное небо. Вот засверкал и Юпитер. Шаман опустился на колени и застучал в бубен. Все неотрывно смотрели на чародея.

Отбросив бубен, он выхватил костяной нож и с диким воплем несколько раз воткнул его в живот. Затем начал извлекать из-под кухлянки алую кровь. Пригоршнями! Кряхтел, постанывал, облизывал пальцы.

Было жутко, неприятно — страшно.

Шаман вытер руки о половицу, опять ударил в бубен, долго выкрикивал заклятия, пока не исцелил свои раны. Он задрал низ кухлянки и показал измазанный кровью, но без единой царапины живот.

— Сразу пять дьяволов приходили ко мне, — возвестил Карымлячь. — Трое с горелой горы и два из моря.

— Они-то и снабдили тебя пузырем с нерпичьей кровью? — Крашенинников засмеялся. — Лицедеи-потешники и не такие «ужасти» вытворяют.

Шаман без толмача понял ученого русского, поклялся самой страшной корякской клятвой: «Правду сказал, не солгал!»

— *Инмокон кеим матынметик!*

— Ладно тебе дурачить, Карымлячь, — сказал Крашенинников и стал торговать бубен.

— *Куишужихчь!* — возмущенно отказался шаман. «Молчи, слышать об этом не желаю».

Казаки и служивые, кто в смущении, кто и потрясенный увиденным, покинули баню. Когда остались втроем, шаман и студент с толмачом, сделка свершилась. За четверть фунта табаку Карымлячь уступил священный бубен.

Несколько дней ушли на долгие разговоры с тойонами. Крашенинников выспрашивал у них о жизни коряков. За труды наградил каждого тремя четвертями фунта китайского шара.

В последний день февраля Крашенинников отпустил укинцев. Пора было готовиться и к своему возвращению домой, в Большерецк.

Грустно было уезжать из Нижнего острога, расставаться с Латышевым.

— Не знаю, Максим Юрьевич, чем и отблагодарить вас за все доброе, что сделали для меня.

— Полно, Степан Петрович. — Латышев задвигал рыжими бровями. — Для отечественной науки старались. И впредь всякое вспомоществование чинить вам будем. Метеорологические обсервации обеспечим, о заготовлении леса позаботимся. Будьте покойны, езжайте с богом. Доброго вам пути и счастья. Приедете вдругорядь и не в зимнюю пору, при вас и

возьмемся за профессорские апартаменты. — Добавил усмешливо: — Пока в Большерецке и Верхнем выстроят хоромы, да пока сами профессоры доберутся до Нижнего, мы и здесь об их устройстве позаботимся. Ну, а как не приедут, другие профессорскими домами воспользуются. Вами же сказано: «И дерева не с тем завсегда сажаются, чтоб самим плоды их вкушать». Так что приезжайте по осени, друг мой Степан Петрович, — совсем уже сердечно пригласил Латышев.

— Непременно, Максим Юрьевич, — растрогался и Крашенинников. — Как условились.

Латышев вдруг с грустью взглянул на него, сказал с печальной неуверенностью:

— Это *мы* условились, а пути господни неисповедимы...

Они обнялись, поцеловались троекратно, не сразу отпустили друг друга. Будто предчувствовали, что уже никогда не встретятся.

ВОЗВРАТНЫЙ ПУТЬ



Тах-тах!

Упряжка недружно натянула ремни. Черный вожак извернулся, хватанул за ухо ленивого кобеля. Тот взвизгнул и рванулся вперед. Нарты понеслись вниз, к замерзшей реке.

Через полчаса за синими горбами виднелась лишь колокольня.

Дорога шла по дуге Камчатского залива, по дюнам и торфяникам до самого мыса Подкамень. Здесь горный кряж далеко выступал в море. Слоистые желтоватые утесы обрывались так круто, что летом и на байдаре пристать к берегу невозможно, но сейчас Подкамень обогнули по льду берегового припая.

За мысом и скальными отрогами начались низкие лесистые холмы, которые вскоре сравнялись с тундрой.

Надвигалась ночь, в матовом синем небе тускло отсвечивала узкая рваная полоса багрянца. Стоянку разбили у небольшого ручья, беззаботно сбегавшего к морю по хрустальному ледяному ложу. Повсюду еще лежал снег, только-только началась вторая половина марта.

Костер горел до самого утра, но собаки почти беспрерывно рычали и лаяли, чуя вблизи крупных и опасных хищников. И в самом деле, вокруг становища обнаружили потом волчьи следы.

— Олешки дикие заходят сюда, потому и волков шибко много, — пояснил каюр. — Дальше, однако, не на пустом месте спать будем, острожки тама-ка есть.

Каюра звали Гамля, он был новокрещен, но церковное имя не пристало к нему. Гамля довольно свободно говорил по-русски, чрезмерно, как большинство камчадалов, вставляя «однако», «видишь ли», «шибко». «Парень» заменяло слова «мо́лодец», «приятель», «брат». Произношение отличалось мягкостью, свойственной языку ительменов.

Крашенинников не раз отмечал, что и русские, долго живущие на Камчатке, упрощают и обедняют родной язык на иноземческий лад. Толмач Перебякин, владевший корякским и ительменским, переводил чужие речи, словно и сам был инородцем. И провожатый казачий сын Мурзинцов говором мало отличался от Гамли.

Сопки все дальше отступали от береговой кромки. Равнинная тундра ширилась, пока не уткнулась в обширную область заснеженных зубчатых гор Кроноцкого полуострова, высоких и утесистых. Многочисленные отроги выступали горбатыми носами в море, образуя заливы и гавани.

К югу с каждой верстой море все больше очищалось от ледовых полей. Лишь вкруг кекуров, скальных останцев, громоздились белые обломки. На низких плоских островках грелись под мартовским солнцем моржи. Светло-бурые туши покрывали скалы колыхающейся студенистой массой.

Одно из лежбищ соединялось песчано-галечной плотиной с берегом. Страстный охотник Мурзинцов загорелся добыть «рыбью кость». Моржовые клыки, особенно большие и увесистые, — выгодный товар.

Крашенинников тоже взял ружье. Не столь для охоты, как для самообороны. Громадные животные, при всей своей неуклюжести и беспомощности на суше, являли грозный вид. Большие желтые глаза над широкой щетинистой мордой с острыми, свисающими клыками-саблями смотрели грозно и свирепо. Моржи страшно фыркали и рычали. При этом никто из них не пытался нападать на приближавшихся охотников, но и не спешил ретироваться в море. Там бесформенные жирные туши мгновенно обретали красоту, совершенство и ловкость.

Захотелось подобраться еще ближе к моржам. Крашенинников, не спуская глаз с вожака, медленно переступал с камня на камень. В прибой сюда заплескивалась вода, выносила обрывки водорослей. На одной из осклизлых подстилок и подвернулась нога. Крашенинников упал на четвереньки, ружье звонко ударилось о камень, отлетело в сторону.

Моржи мгновенно пришли в движение, с ревом покатились рыжими волнами к морю.

— Берегитесь! — услышал Крашенинников крик Мурзинцова. — Слева!

Из-за выступа зло щерился медведь. Отощавший за долгую зимнюю спячку, он, видимо, давно лежал в засаде, терпеливо дожидаясь выгодного момента для нападения на вожделенный кожаный мешок с едой. Тяжелая массивная голова с клыкастой, широко разинутой красной пастью тотчас перенацелилась на кричащего человека.

Мурзинцов наставил ружье, но почему-то не стрелял. «Курок заело?» — подумал Крашенинников. Он вскочил на ноги и выхватил охотничий нож.

— Мишка, вставай! — закричал Мурзинцов.

Обозленный бесплодным ожиданием и непрошеным вмешательством, медведь взревел и встал на дыбы.

Грохнул выстрел. Матерый зверь рухнул, из пасти хлынула кровь.

— Сроду этакой громадины не видал, — признался Саша. Лицо его было бледным, ружье в руках подрагивало.

— Напугался, а игру затеял, в разговоры с медведем вступил, — переведя дух, напомнил Крашенинников.

— Напужался, конечно, — признался Мурзинцов. — А зверя поднял как наш камчатский обычай велит.

Переполох на лежбище продолжался. Моржи, толчками изгибая спины, опираясь то на короткие передние ласты, то на задние, искали спасение в родной стихии. В кипящей воде плавали, ныряли, кувыркались плотные тела. Когда голова появлялась на поверхности, с громким хлопком открывались круглые ноздри, из них с силой вырывался воздух.

— Пущай живут, — сказал Мурзинцов. — Убить моржа трудно: израненный весь, а уйдет под воду.

То ли в самом деле не хотел проливать лишнюю кровь, то ли опасался уронить охотничий авторитет. Свалить одним выстрелом медведя — негаданная удача и большая гордость.

Тушу разделали на стоянке, в острожке при устье реки Чажмы. Важное событие отметили всеобщим пиром. Череп полагалось подвесить под балаганом во славу мужественного и умелого охотника. Мурзинцов уступил почетный трофей тойону Накше.

— Невелика храбрость с ружьем на медведя идти, — скромно объяснил Крашенинникову Саша. — Это с копьем и луком не всякий осмелится. Камчадалы обычно хитростью медведя берут. Заваливают выход из берлоги бревнами и чурбаками. Зверь яростно раскидывает завал, но сверху катятся и катятся обрубки дерева. В конце концов медведю не повернуться, тут его и достают острые каменные наконечники. А вообще, бурые камчатские медведи к людям терпимы. Бабы только жалуются: медведи отнимают собранные уже ягоды! В летнее время, словно домашний скот, пасутся на ягодниках рядом со сборищами, ну и шалят. Сонный, потревоженный медведь может и напасть на человека, задрать кожу от затылка до лба. Вот как у Накши-дранка.

Медведь изувечил тойона в молодые годы. Широкая голая полоса неровной межой разделяла волосы на голове.

— Спиридон, — попросил толмача Крашенинников, — спроси, скольких медведей он в отместку порешил.

Тойон Накша, сухонький, сморщенный, как перестоявший гриб, долго не понимал вопроса, затем с искренним недоумением ответил:

— Разве кашá виноват был? Глупый Накша разбудил его, обидел. Вот и получил наказание.

Потом, позже, Накша не раз промышлял медведя, однако не из чувства мести. Шкура на постели нужна, на рукавицы, для ошейников собакам, на подошвы, чтоб ноги на льду не скользили. Опять же мясо и жир — вкусная и питательная еда. А из лопаток отличные кóсы получаются, не хуже железных.

Слушая Накшу, нельзя было не вспомнить бытующую издревле на Руси пословицу.

— Голь на выдумки хитра, — сказал Крашенинников, искоса наблюдая за героем дня.

После волнения, пережитого на охоте, и сытного ужина Мурзинцова клонило в сон.

Гористый Кроноцкий полуостров был завален снегом до самого моря. Лишь на отвесных каменных стенах проглядывала темно-серая порода с белыми прожилками кварца. Крутые утесистые зубцы отдаленных

гор и обледенелые рифы вдоль побережья усиливали холодную мрачность пейзажа.

За мысом Кроноцким берег опять ожил. Горные кряжи отступили от морского уреза, на широкой благодатной полосе виднелись отдельные проталины с дымчато-зеленой новорожденной растительностью. То тут, то там попадались желтые дуги китовых ребер и черные пластины усов. И всюду было множество звериных следов: лисьих, волчьих, медвежьих. Близ берега курсировали гигантские кашалоты, выдувая высокие фонтаны.

Наконец объехали южный отрог полуострова, и сразу открылась взору великолепная панорама: за обширными, уходящими вглубь долами вздымались островерхой цепью белоснежные сопки. За ними скрывалось невидимое отсюда знаменитое Кроноцкое озеро. До него было верст пятьдесят, на пути высокий перевал, меж Кроноцкой сопкой и другой, безымянной, с громадной чашей и конусом в середине [1].

День стоял солнечный, пронзительно ясный. Горная страна тянулась к югу до самого горизонта. Сверкающие пирамиды вершин гофрили синие и фиолетовые борозды. Искрящийся снег резал глаза.

Отсюда, за Кроноцким носом, прибрежные воды называли Бобровым морем. Невидимая граница разделяла Восточный океан: к северу простиралось царство моржей, к югу — морских бобров, каланов. Не терпелось увидеть прекрасного морского зверя.

— Насмотришься, ваше благородие, — заверил Перебякин. — А пощастит, так и тойона ихнего встретишь.

— Какого еще тойона?

— Белого. Редко, но попадаются. По камчадальскому поверью, бобровый тойон раз в сто лет выходит и с кем зустренится, тому счастье на век.

Ни в тот, ни в другой день каланов не видели.

На выступающих далеко в море рифах и побережье было великое множество пернатых. Уже потянулись стаи перелетных птиц, на плоских вершинах скал и уступах гнездились тысячи чаек, белогрудых кайр, птах всевозможной расцветки. Крики, стоны, карканье, писк оглашали первозданный край. Одиночные кекуры почти сплошь были усеяны птицами и, казалось, дымились пером и пухом.

Подле речки, где каменные глыбы и осыпи выгородили небольшие тихие и неглубокие бухточки, удостоились редкого и очаровательного зрелища. На скальных площадках безмятежно спали темно-бурые до черни зверьки. Они лежали, свернувшись, как собаки: не видно ни мордочек, ни лап.

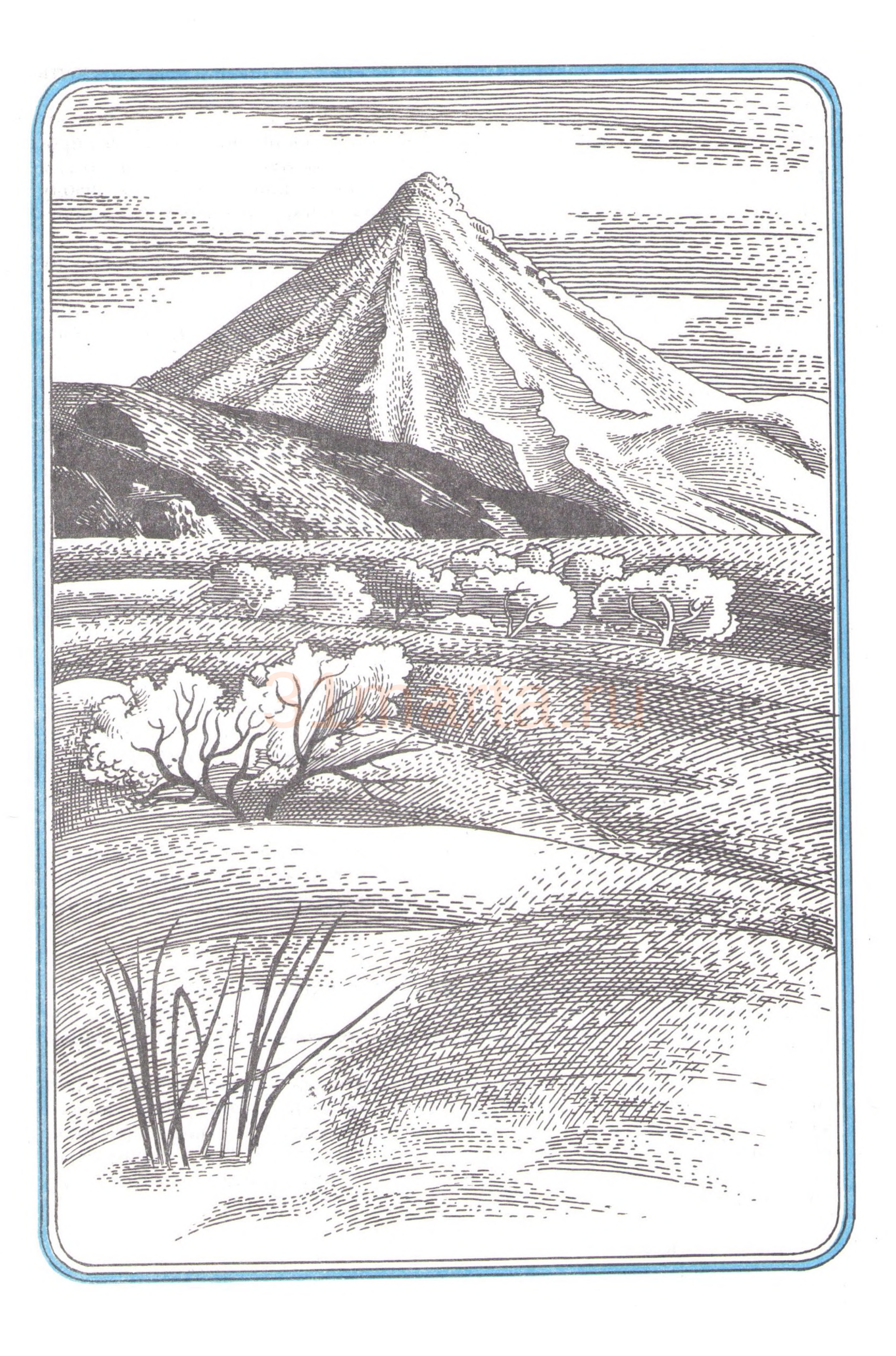
Ветер дул с моря, можно было подкрасться поближе.

— Они не шибко пугливые, — сказал Мурзинцов, — а любопытные — страсть какие!

На камнях каланов было мало, три белоголовых старика и несколько маток с сосунками. Основная часть стада устроилась в воде, на густом многослойном ковре из морской капусты. Водоросли служили не только периной, но и швартовыми: каланы опутывались длинными бурыми слоевищами, как веревками, дабы течение и прибойное волнение не унесло их в море. Дремучие заросли оберегали и от возможного нападения касаток. Вдали, на почтительном расстоянии от рифов, кружили их высокие треугольные плавники.

---

[1] Вулкан Крашенинникова.



Бобры и бобрихи с медведками спали на спине, мерно покачиваясь. Мир и покой царили в каланьем царстве. Если кто и ворчал или повизгивал, то во сне, от блаженной неги.

Крашенинников, затаив дыхание, с восторгом наблюдал жизнь бобров.

В море наступило время обеда. Животные исчезали в чаще водорослей и через две-три минуты выныривали с полными карманами: в складках просторной шубы лежала добытая пища. Трапезничали бобры в той же излюбленной позе, на спине. У одного на груди и брюхе бессильно раскинул аршинные клешни громадный камчатский краб, у другого топорщился иглами морской еж, третий аппетитно хрустел моллюсками.

Вдруг подступил к горлу кашель. Крашенинников попробовал сдержаться, но ничего не вышло. В последнее время боль в груди и кашель все чаще донимали его.

Странные, чужие звуки разбудили спящих на скале. Старики подняли седые головы, увидели человека и подняли тревогу.

«Уах, уах!» — пролаяли, точно собаки, и стремглав кинулись в воду. За ними черными молниями мелькнули атласные тела бобрих с детенышами в зубах.

Постепенно переполох улегся. Настороженно и с любопытством косясь на человека, несколько бобров выбрались на скалу. Убедившись, что можно не опасаться нападения, животные принялись за чистку меха. Делали они это с великим прилежанием и удовольствием. Гибкое, изящное тело извивалось во все стороны, короткие передние лапки с пальцами-подушечками тщательно растирали и вычесывали участок за участком, ни на одной шерстинке не осталось и капельки воды.

Смотреть на каланов, любоваться ими можно было бесконечно. Крашенинников потерял счет времени. Божественное совершенство каланов, близость к ним рождали ощущение родственной сопричастности к природе. В незапамятные, доисторические времена и люди, наверное, жили вот так же вольготно и мирно. Не враждовали, не чинили друг другу обид и скорби. И все были равны меж собою...

Опять подвел предательский кашель.

«Уах, уах!»

Скала опустела. Крашенинников с неохотой оставил наблюдательный пункт. Так и не увидел белого тойона каланов. Может, он и вправду выходит к человеку раз в сто лет? Или ему, Крашенинникову, не сулит фортуна долгое счастье?

Каменистые берега снова перешли в равнинные, с валами дюн и отмелями кошек. Невысокие, но крепкие березняки перемежались рябиной, ольхой, ивой. В подлеске обильно росли кусты шиповника, и уже поднимались приморские травы.

В тихих лагунах, между материковой твердью и барами еще стеклился лед, но за холмистыми плотинами шумел и пенился прибой. Не оттаяли и многочисленные озерки и болота на плоском прибрежье. Из разорванных конусов горелых сопок Кихпиныча и Большого Шемячика [1] поднимались облачка пара, впереди все выше вздымалась крутобокая, с плоской вершиной Жупановская сопка. Из ее кратера валил густой дым.

[1] Вулкан Семячик.

Местность при устье реки Жупанова и острожек при нем напоминали нижнекамчатский ландшафт.

На бесчисленных рукавах и отмелях Жупановой реки гомонили птицы. Гогот, клекот, писк, хлопанье крыльев, всплески на воде. Сотнями одновременно взлетали и садились птичьи стаи, будто запоздалая метель кружила над дельтой. Гуси, утки, лебеди, чайки, бакланы, каюрки, савки, каменушки — кого тут только не было!

Жители острожка ловили птиц сетями, силками, кололи шестами. Кайру, как рыбу, удили на деревянный крючок с наживленной мальмой.

Крашенинникова пригласили на гусиную охоту.

— Ружье не надо, — сказал тойон Пишкаль, — лук не надо, копье не надо.

— Не голыми же руками ловить их?

— Будешь смотреть, узнаешь, студенталь, — лукаво ответил тойон.

Перед заходом солнца пришли на поляну у взморья. Из осевшего снега торчали стерней обломки прошлогодних колосняков и морянки. На поляне стоял низкий и длинный шалаш. К нему вела от берега утоптанная дорожка.

— Туда хорошо смотри, — показав на снежный желобок, наставил Крашенинникова Пишкаль и что-то сказал молодому ительмену. Тот натянул поверх кухлянки белую рубаху и убежал к морю.

На землю опустились лиловые сумерки. Запоздившиеся птицы с криком устраивались на ночлег.

— Теперь хорошо смотри, — шепнул тойон и дал знак всем затаиться.

Показалось стадо гусей. Колыхающаяся гогочущая процессия неотступно следовала за... медленно ползущим по желобу белым охотником. Смутно видимая, будто призрачная череда втянулась в шалаш. «Вожак» насквозь прополз западню, выскочил наружу и закрыл выход. Из кустов выбежал другой охотник и мгновенно загородил вход. В низком тесном загоне осталось не меньше дюжины птиц. Тойон счастливо засмеялся.

— Все смотрел, студенталь? Ружье не надо, лук не надо, палку бери!

Пишкаль собирался навестить друзей в Островном и сам вызвался показать короткий путь через горные кряжи Шипунского носа. Дальнейшее продвижение по береговой кромке отняло бы слишком много сил и времени. Шипунский мыс выдвинулся в море на десятки верст, изобиловал многочисленными заливами, бухтами; вода вплотную подходила к высоким обрывистым скалам. Труднодоступные места славились морскими львами, гривастыми сивучами. На Камчатке их называли морскими конями.

— Зато, Степан Петрович, — сказал Мурзинцов, — вместо коней должны снежных баранов встретить. Вдруг пофартит, будет вам отменный телогрей. Лучшего меха, нежели от зимнего барашка, не бывает. Густой и цветом приятен — серо-бурый.

— Тебе в добром тепле себя держать надо, — поддержал толмач Перебякин. — Грудь, видать, застудил, кашляешь.

— Ладно, не будем шкуру неубитого барана делить, — отшутился Крашенинников.

Горных баранов наблюдали только издали. Не подпускали к себе на выстрел. Закинув витые рога на спину, могучие красавцы исчезали в скалах, бесстрашно перелетая через пропасти или кидаясь в ущелья.

На пятый день добрались до Налачева[1]. С высоты мыса открылся вид на селение ительменов и синий простор залива с отростками бухт. Всюду резвились киты. Исполинские животные маневрировали ловко и точно, терлись о скалы, с треском освобождались от моллюсковых наростов. Почесывались и друг о друга, стремглав кидаясь навстречу. Раздвоенные хвостовые лопасти с пушечным выстрелом били по воде.

Черные, будто днища опрокинутых кораблей, тела и фонтаны над ними виднелись до самого горизонта.

В Налачеве санный обоз разделился. Крашенинников отпустил домой нижнекамчатцев.

— Спасибо вам, за все спасибо. И тебе, Спиридон, и тебе, Саша.

— Бараний мех за мной! — клятвенно пообещал Мурзинцов.

— Опять на рать идучи хвалишься.

— Ей-богу, Степан Петрович, добуду!

Толмач Спиридон Перебякин не вмешивался в разговор. Мысли его, наверное, были уже дома, в семье.

Три собачьи упряжки помчали нарты на север, четыре — на юг и запад. Через лесистое нагорье, Шестаковскую падь, к Авачинской губе.

Апрельские ветры, дожди и течения выгнали последние льды из обширного залива. Лишь в закрытых бухтах и безымянной гавани лежал зимний панцирь. Крашенинников был здесь второй раз и опять подумал: «Здесь свободно поместятся флоты всех стран. А для самой Камчатки нет места удобнее для порта».

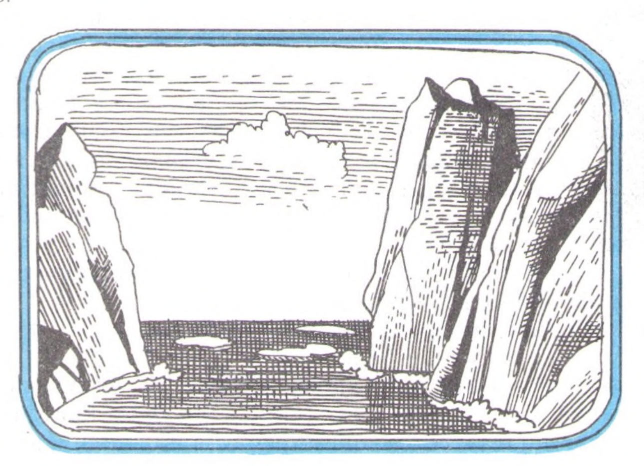
Вулканы Коряка и Авача, Вилючийская сопка, Шестаковская падь и другие холмы и горы укрывали синее пространство губы от буйных штормовых ветров. Три скалы, Три Брата, сторожили фарватер у горловины, на выходе в океан.

От устья Паратунки, впадающей в Авачинскую губу, лежал знакомый, дважды уже пройденный путь к Пенжинскому морю.

Последнюю ночь перед Большерецком провели там же, где год назад, — в острожке Апачи-Василия. Он ни словом не обмолвился о Кенилле, и Крашенинников не решился заговорить о ней. Что спрашивать? Не вернешь, ничего не исправишь.

---

[1] Налычево.





ГЛАВА ВОСЬМАЯ

ДОЛГОЕ СТРАНСТВОВАНИЕ



После дружной работы в Нижнем Камчатском остроге порядки в Большерецке удручали до отчаяния.

Подполковник Мерлин и майор Павлуцкий уже не имели власти над приказной избой, капитан Шпанберг поглощен был всецело делами экспедиции, готовил недавно спущенное на воду судно «Большерецк» к плаванию в Японию, местный же приказчик по всем вопросам отсылал к Шергину. Дьяк сто лет тут правит, в курсе всех возможностей, ему же, приказчику, не пристало вникать в разные мелочи, попусту время тратить.

Плишкина, бездельника и пропойцу, запустившего до крайности журнал обсерваций, со скрипом, но удалось сменить на служивого Ивана Пройдошина.

Крашенинников сам попросил его, запомнил с поездки к Пенжинскому морю минувшим летом. Иван — человек положительный, спокойный и топор в руках держать способный. Плотницкое дело всерьез не знает, но с бревном для мерного столба справится, надо и по-быстрому шалаш

поставит. Так что для обсерваций прилива и отлива другого человека искать не надо.

— У моря жить будешь, — сразу объявил Крашенинников.

— Можно и у моря, — охотно согласился Пройдошин.

— Не сейчас, проводим сперва «Большерецк» в плаванье.

— Можно и не счас, а опосля «Березовки».

Пройдошин, как и многие здесь, называл новое судно «Березовкой». Корпус построили из березового леса, судно вышло прочным, но таким тяжелым, что и порожнее до ватерлинии осело в воде. Но, на удивление всем, когда уложили весь немалый груз, «Березовка» больше не заглубилась.

22 мая «Большерецк» и шлюп «Надежда» отправились к Японским островам.

Оставалось уладить некоторые дела и тоже следовать к морю. Крашенинников запросил на время охотника для отстрела птиц и зверей. Ответа никакого. Тошно, а пришлось идти на личные переговоры.

Шергин захлопал белыми поросячьими ресницами, округлил жуликоватые глаза.

— Побойтесь бога, господин студент! Все большерецкие стрелки у вас же находятся. Саламатов Никифор, Бочкарь Семен, опять же Михайло Лепихин младший.

— Лепихин, как вам небезызвестно, в Курилы отпущен, — как можно спокойнее сказал Крашенинников. — Бочкарь сроду птиц не бил, а Никифор Саламатов вконец ослеп. Не для собственной корысти прошу ведь, чучела в кунсткамеру отослать должно.

Шергин сочувственно кивал, поддакивал:

— Понимаю, господин студент. С великим бы удовольствием... Да, к слову, в прошлом году выделял вам полпуда сладкой травы к отправке академикам. Понеже «Гавриил» тут застрял, и груз возвращен, не забудьте, господин студент, обратно в казну сдать. Все полпуда.

— Хорошо, господин дьяк.

— Господин дьяк и заказчик! — крикнул в спину Шергин.

В день отъезда к морю Крашенинников направил через Аргунова очередное требование в приказную избу.

Сто лесин, приплавленных в Большерецк в прошлом году для амбара, пролежали без дела все лето. Плотников не дали. Осенью капитан Шпанберг забрал лес на казенные строения экспедиции. Взамен письменно распорядился доставить новый.

«Кого-кого, а Мартына Петровича Шпанберга не посмеет ослушаться Шергин», — на это лишь и уповал Крашенинников.

Столб с метками врыли подле устья Большой реки, неподалеку от маяка, небольших размеров амбара с вышкою над крышей. Маяк похож был на камчадальский балаган, водруженный на русское строение, служил морякам дальней приметой, а казакам — хранилищем казенной юколы.

Солнце, как и минувшей весною, почти не проглядывало в приморской полосе.

— Вроде и не уезжали отселя, — сказал Пройдошин. Возиться с шалашом он не стал, решил жить в амбаре. Все равно пустует пока.

За неделю так и не удалось начертить компас по полуденной линии для солнечных часов: не было солнца. Наказав Пройдошину, как выпадет яс-

ный день, примечать тень от иголки на доске, вести запись погоды и ветра в приливы и отливы, Крашенинников вернулся в Большерецк.

Начался июль, а снег в огороде еще не весь сошел. Талые места черными пятнами лежали средь белых пустошей, словно растянули на земле пегие шкуры.

— Долее ждать нельзя, — со вздохом сказал пищику Крашенинников.

Вдвоем с Аргуновым вскопали оттаявшие проплешины, унавозили, засеяли ячменем и овощами. Ячмень и рассада свои, другие семена ссудили поручик Валтан и служивый Черный.

Семена то ли перележалые были, то ли неугодные здешнему грунту, а только не взошли.

Зато четыре гряды с местными травами быстро набрали рост и даже цветы выпустили. И отлично принялись кусты и деревья; малина и ягодами порадовала.

— Да тут такие сады развести можно, не хуже, чем в Подмосковье.

— Что до нас росло и без нас вырастет, — не разделил восторги Аргунов.

— Ах, Осип, милый мой Осип. Бескрылая ты душа, — в какой раз огорчился Степан Петрович. — Фортуна опять лицом к нам повернулась. Какое доброе известие из Верхнего пришло: четыреста бревен для нас заготовили, кирпичи делать станут, делают уже! Когда еще писали.

— Они и другое писали, — напомнил скучным голосом Аргунов. — Строить, хотя и лес есть, нечем. Государевы топоры все изломаны, чинить некому...

— Ничего, Осип, — не сдавался Крашенинников, — у нас свои имеются! Ну, пошли обедать.

На крылечке у дома курил глиняную трубку мужик в высоких сапогах.

— Вы господин студент? С маяка передать велено, что солнце объявилось, тень по кругам замечена, вас ждут.

На другой же день Крашенинников поплыл вниз, а вернулся от моря почти три недели спустя. Отдался научным наблюдениям, да и Пройдошину помощь понадобилась.

В башне маяка развесили юколу для сушки, а погоды все мокрые, сырость. Черви завелись, до хребтин обглодали рыбу, сквозь потолок в амбар осыпались, житья Пройдошину не давали. Пришлось строить барабару, надежный шалаш, близ мерного столба.

— Теперь заживу, — сказал довольный Иван Пройдошин.

В Большерецк прибыло сто лесин, дали четыре плотника, начали амбар рубить. И тут, как назло, заладили проливные дожди. Носа из дому не высунуть, не то что амбар строить.

Хляби небесные были разверсты больше месяца. И Походная розыскная канцелярия в ливень покидала Камчатку, отплывала в Охотск на многострадальном «Гаврииле». Бот удалось стянуть на воду и кое-как залатать.

— Уж если на такой посудине не утону, — мрачно пошутил майор Павлуцкий, — так и в другом деле выйду сухим и невредимым.

Он уже знал о тайном приказе, но не терял присутствия духа.

— В дождь уезжать — добрая примета, — сказал Крашенинников.

— Как бы и вам в такую погоду ехать не пришлось. Когда собираетесь трогать?

— Как можно скорее.

РАДОСТИ И ОГОРЧЕНИЯ



Только в августе, в лаврентьев день, ветры разогнали свинцовые тучи. Отчалили на трех лодках ранним утром. В полдень Крашенинников приказал сойти на берег, обогреться, чай сварить.

— И на воду спокойно посмотреть, — добавил Лепихин. — По ней в лаврентьев день можно узнать, какой обещает быть осень и зима.

Ветер утихомирился, из серой тучки накрапывал мелкий росяной дождик. Крашенинников с Лепихиным долго вглядывались в реку. Она была тихая, гладкая, зеркально матовая. Дождевые капли возникали и пропадали, словно отражения оспинок.

— Ну что, Михайло?

— Сам видишь, Степан Петрович. Вода тиха, дождик. Зима и осень хорошими будут.

— Твоими бы устами... — улыбнулся Крашенинников.

Лепихин озорно подхватил:

— Мед пить!

— Чаем кипрейным обойдешься, здоровее будешь.

Лепихин зачерпнул из котла душистый напиток.

— Саламатов одним этим зельем пробавляется, совсем на ладан дышит. Не жилец он, Степан Петрович...

— Типун тебе на язык! — Крашенинников знал о прискорбном виде солдата, навестил его перед отъездом. От богатыря и задиры осталась бледная немощная тень.

«Спасибо тебе, милосердная душа Степан Петрович, — прошелестел Никифор. — За все спасибо. И — прощай. В последний раз видимся. Ты меня видишь».

— Молчи не молчи, — начал Лепихин.

— Лучше молчи, Михайло, — уже помягче, но оборвал Крашенинников. — Не каркай и тоску не нагоняй.

У Ганалина жилища водный путь кончился, четыре дня добирались пеши до реки Камчатки. В острожке при устье впадающей в нее Амчи наняли три иноземческих бата. И опять понеслись по голубой дороге, но уже быстрее, вниз по течению.

9 сентября прибыли в Верхний Камчатский острог. Лепихин и большереченские казаки, переночевав, отправились домой.

Заказчик, капрал Ефим Пермяков, крупнотелый, с цыганским обличьем, произвел на Крашенинникова хорошее впечатление. Деятельный, решительный, напористый.

— Значит, так. Рухлядь эту снесем! — Отмахнул рукой, будто рубанул саблей по старой избе, прогнившей от самого низу до конька. — Под веник расчистим. Заложим, как требуете, две светлицы. Просторные. О четырех и трех окнах. Баньку подновим!

— А может, черную избу из нее сделать? — подумал вслух Крашенинников.

— Как будет приказано!

— Я советуюсь, Ефим. Профессоры ведь не одни. С ними повара, портные, прочие слуги. Баню в избу переделать ничего не стоит. Очистить от хлама — и вся недолга.

— Целиком и полностью согласный, господин студент! Мы и сами тут такое намерение имели. Потому и отвели старый государев двор со всеми постройками. Амбар, сами извольте осмотреть, двоежирой, изрядный. Новый возводить никакой нужды.

На том и порешили. После обеда капрал привел плотников, объяснил что и как.

Старший плотник согласно покивал, все, мол, ясно-понятно, будет сделано честь честью, только... Он почесал заросший загривок.

— Задаток бы, ваше благородие. Для дружной работы...

Капрал сунул кулак плотнику под нос:

— Я тебе такой задаток всыплю! И вообще, ежели работа спориться не будет!

— Хорошо, хорошо, — примирил обе стороны Крашенинников. — Дам полфунта табаку.

Плотники не рассчитывали на такую щедрость.

Крашенинников с утра до темна не уходил со стройки. Не верилось, что двухлетние хлопоты увенчались наконец-то делом. Заготовленного леса с избытком хватит на две светлицы, люди есть. Весело, радостно стучат-звенят плотницкие топоры!

Омрачил настроение капрал Пермяков.

— Обязан доложить. Железа и кузнечной снасти в остроге не имеется. Крепеж, навесы и прочее делать не из чего.

— Как же нам быть? — приуныл Крашенинников.

— Осмелюсь подсказать, ваше благородие, — понизил голос капрал. — В Нижнем всего полно, от экспедиций осталось, и новые запасы доставлены.

Крашенинников опять воспрянул. «Максим Юрьевич не откажет, подаст руку помощи!» И с легкой душой отбыл в Нижний Камчатский острог.

Стояло вёдро. Дни все больше теплые, хотя случались холодные утренники, а по ночам индевели железные вещи. Снег, если и срывался, тут же растапливался солнцем.

Зеленели густые, лишь тронутые осенней ржавчиной травы. Кусты ломились от спелых ягод, вкруг озер стояли чащи могучей осоки. Только каменистые вершины сопок белели сединой.

Батчики-ительмены ловко вели тупоносые суденышки по извилистому фарватеру Камчатки. Еще и мелкие притоки не замерзли, можно было уточнить старый план главной реки и ее бассейна по румбам.

Плавание по знакомым и как бы совсем незнакомым местам доставляло истинное удовольствие.

Первую ночь провели, как и зимой, в Мишурине острожке, в гостеприимном доме тойона Егора Мерлина.

На этот раз ничто и никто не мешали обстоятельной беседе. Горные братья Толбачики после буйного извержения смирно дремали.

Мерлин упрашивал задержаться, погостить.

— Успеешь, господин студент. Река не собака, не знает устали. Зимой ты полмесяца от Верхнего до Нижнего ехал, сейчас за неделю доплывешь. Отдохни маленько, вон какой заморенный, шибко отощавший....

С ходом рыбы на Камчатке никто не испытывал недостатка в пище. Осень щедро дополняла стол ягодами, плодами, кореньями, травами. Но рыба оставалась первым и основным продуктом питания, а к ней, рыбе, Крашенинников так и не сумел привыкнуть, от одного запаха воротило.

— Охотники для тебя гусей промышлять будут, лебедей. Хочешь выменяю у оленных коряков мяса, — соблазнял тойон. — Оленя язык — чудо какое лакомство! — Он даже причмокнул толстыми губами. — Оставайся.

— Спасибо тебе, милостивый человек, не могу. Времени нет. Вот закончу работу, тогда уж отосплюсь и отъемся.

Егор Мерлин грустно и сочувственно посмотрел умными карими глазами, вздохнул.

— Жаден ты шибко к работе, господин студенталь. Всегда на отдых времени жалко будет, а на еду денег недоставать. Так, однако, и погубить свое тело недолго.

— Ничего, друг мой, здоровьем господь не обидел меня, выдюжу! Сколько мешков да тюков в московском Китай-городе перетаскал, на торговых людей поработал, и ничего, не переломился. Окреп лишь.

Мерлин с уважением оглядел мускулистую широкоплечую и стройную фигуру русского студента. От Крашенинникова веяло силой и молодой красотой, но щеки запали, и ранние морщинки разбежались вкруг глаз, легли поперек высокого лба.

— Долгие тебе лета, Степан Петрович, однако помни, что и железный топор ломается.

— Потому и спешу в Нижний за железными припасами!

— Веселый ты человек! — засмеялся тойон.

Река неутомимо и легко несла лодки. На третий день достигли толбачинского нагорья. Вид его был прекрасным, чарующим. Сплошные заросли ольховника прерывались скальными выходами и быстрыми ручьями. Обширными зелеными пятнами стлался кедровник, на шелковых лужайках пестрели яркие альпийские цветы. Поражало многоцветье оголенных камней и шлаковых конусов: от сизого до вороного, от бледно-песчаного до кирпичного и рубинового. Все оттенки зеленого — малахитовый, привядшей травы, свежего луговика, хвойный, изумрудный, — все тут были. Рожденные извержениями конусы стояли по долам, будто молодицы в безрукавных сарафанах.

Посверкивали на каменистых перекатах неглубокие речки, в зеркальцах озерков отражались голубые небеса. Черные и черно-белые орланы, ястребы-тетеревятники высматривали с высоты поживу: зайцев, сусликов, красных мышей-тегульчичей, куропаток. Независимо и величаво проплывали курлыча лебединые стаи.

Выглянула и скрылась в зарослях лиса-огневка, прошмыгнул какой-то хищный зверь. Вышел и уставился с любопытством сытый медведь. Стоял, покачивая массивной головой, пока Крашенинников не отпугнул его:

— Ступай, ступай себе, Мишка!

Природа жила своей привычной жизнью, не смущаясь частыми осенними ненастьями и близкой уже зимой с ее обильными снегопадами и жестокими ветрами.

За то недолгое время, что Крашенинников не был в Нижнем Камчатском остроге, стараниями Латышева выросло несколько дворов и варница для добывания соли, полдюжины крепких амбаров. Самого Латышева уже не застал тут Крашенинников. Максима Юрьевича с подозрительной спешностью перевели в Анадырь.

При Латышеве, как и было им обещано, заготовили лес на профессорские светлицы, но теперь никто и думать не думал возводить их.

— Дак эта, Степан Петрович, и без новых строений их благородия пробыть смогут, — мямлил новый управитель Федор Панов. Он и внешне выглядел безвольным и слабодушным: заурядное лицо с утиным носом, конопатый, даже бесформенные бледные губы в пятнышках, узкогрудый, жидкие волосенки на голове яичком. — В кватерах у нас нужды нету, все люди тут обзавелись новыми домами. Дак эта, Степан Петрович, и в указе светлиц строить не показано...

— Но мне же письменно обещано! — выходил из себя Крашенинников. — И для того я приехал сюда, чтоб строить.

— Дак и время опоздало, октябрь месяц на дворе... И нужды в кватерах не имеется, дополна новых домов.

— Какие дома? Избы черные и каморки при них, куда тепло внутренними окнами пущается. Жить в них зимою невозможно: стужа или угар. На себе испробовал.

— Дак и в указе эта... — одно и то же мямлил Панов.

Многодневные переговоры не давали никакой пользы.

— И не дадут, — по секрету сказал Крашенинникову Саша Мурзинцов. — Не глядите, что Панов такой сморчок. Это с виду. Лихоимец, каких мало. И змей подколодный!

— Ну уж и змей, — сравнение показалось Крашенинникову чрезмерным. — Какой он змей, сморчок — это верно.

Они были вдвоем, одни, но Саша совсем снизил голос, до шепота.

— Кто, думаете, навет на Максима Юрьевича настрочил? Панов. Место для себя расчистил, к высокой должности добрался, обогатится теперь.

— Вон оно что... — Возмущение, гнев, ярость забушевали в груди Крашенинникова. Крылья орлиного носа затрепетали, нижняя губа совсем выпятилась, а глаза — смотреть в них — оторопь берет.

Саша никогда еще не видел Степана Петровича в таком состоянии.

— Ради бога... Не надо, не вздумайте только! — взмолился, испугавшись за него, Мурзинцов. — Он и на вас «слово и дело» заявить способен.

Крашенинников с трудом совладал с собою. Прав Саша, нельзя лезть на рожон. Тайная канцелярия Бирона повсюду раскинула свои щупальцы, опутала Россию, разлагает общество, плодит угодников и корыстолюбцев-доносчиков.

— Сволочь, нечисть всякая всегда знает, когда и что можно, — с бессильной ненавистью сказал Крашенинников.

— Вот и обходите его, христа ради, — не поучая, а просительно заключил Саша.

И все же Крашенинников не сдержался, крепко схлестнулся с приказчиком Пановым. Опять маловразумительные отговорки, опять отказ.

— Дак эта... И нельзя никак... Это и по указу, и по совести...

— Совесть! — вырвалось с гневом и ненавистью. — Ты, ты о совести заговорил?!

Кровь ударила в голову, ослепила, заглушила осторожный рассудок. Крашенинников схватил приказчика за грудки, яростно припер к стене.

— Н-не, не надо! — взвизгнул Панов. Он перепугался насмерть: «Задушит, заклюет горбоносый диявол!»

Крашенинников опомнился, выпустил Панова. А тот — надо же, какая метаморфоза с такими гадами происходит, когда глотку придавишь! — сразу и тон, и слова сменил, будто в новую кожу обрядился.

— Какой вы... эта... нетерпеливый, безрассудный... К чему кулаки в ход пускать? Можно эта... тихо-мирно поладить...

Было стыдно за несдержанность, за грубое насилие, но — ни сожаления, ни страха: «Будь что будет».

А Федор Панов быстро прикинул, что навряд ли стоит связываться с бешеным студентом. Во-первых, единственный на Камчатке ученый человек, заменить некем, да и должность, на какую никто и не зарится, так что большого интереса донос на него не вызовет. Во-вторых, пока бумага дойдет куда следует, и в самом деле заклюет его, Федора Панова, в клочья раздерет. «Бог уж с ним, и не свое же отдавать...»

— Все не смогу, но что эта... возможно, сделаю для вас, господин студент.

С того дня работать стало легче. Ни Крашенинников, ни Панов не вспоминали о схватке, но каждый помнил о ней, такое не проходит бесследно.

Приказная изба выделила служивых для посылки к корякам, определила толмачом давнего знакомца Спиридона Перебякина, предоставляла баты для речных поездок. Не без ходатайства Панова, экспедиционная партия отпустила из своих запасов пруткового железа три пуда, клещи, молот, наковальню. Железо и кузнечные снасти водой отправили в Верхний острог, строителям профессорских хором.

Крашенинников совершал поездку за поездкой. Четыре дня описывал камчадальские обряды в Комакове острожке; хотел ближе узнать жизнь коряков, но они откочевали далеко к северу, карагинцы же по замерзшему морю перебрались на свой остров.

Он основательно исследовал поймы Ратуги и Камчатки до самого устья, срисовал по румбам ее и ближние гавани Камчатского залива.

Новый, 1740 год намерился начать с дальней поездки в северные корякские края. В спутники решил взять Перебякина и Мурзинцова. Оба проверенные, надежные помощники. Спиридон отменный толмач, два иноземческих языка знает. Саша и страж, и охотник, а надо, так и переводчиком с ительменского послужит. Последнее достоинство вдруг оказалось препятствием.

— Дак это, двоих толмачей единовременно дать не могу, — сказал Панов. — Казачий сын Мурзинцов ныне толмачом в остроге значится. И потом, Степан Петрович, лутче вам переждать, отсидеться.

— Зачем? — Крашенинников нахмурился.

Панов шморгнул утиным носом, заговорщически поманил пальцем в дальний угол. Там, в секрете от других ушей, шепотом сообщил устрашающую новость:

— Великое множество чукочей на коряков идет.

Разорительные набеги чукчей и прежде случались, особенно до прихода русских на Чукотский и Камчатский полуострова. Воинственные племена громили стойбища коряков, угоняли оленьи стада, увозили женщин. Но куда чаще разносились ложные известия о нависшей опасности.

— Слышал об этом, — спокойно сказал Крашенинников. — Весь острог тайну сию знает.

— Дак никто ж не ведает, о т к у д а произойдет нападение! Вот что самое тревожное. Нет, Степан Петрович, лутче переждать, пока смута минет. И время для поездки не самое удобное, в январе особо лютые пурги.

— И про это знаю, но откладывать не могу.

— Тогда хоть дождитесь, когда помощь подойдет, — продолжал уговаривать Панов. — Я на всякий случай запросил Анадырь. Обещают прислать казачью сотню и отряд юкагиров.

— Это ваша забота. Может, все-таки отпустите Мурзинцова?

— Нет и нет. — Панов хоть в одном решил проявить твердость. «Отвергаешь мои советы, дак и я тебе не уступлю!» — Толмач Мурзинцов посылается мною в Большерецк с тревожной вестью.

Саша Мурзинцов уехал в канун рождества. Прощание было грустным и трогательным. Здоровенный детина чуть не прослезился.

— Очень я вас полюбил, Степан Петрович...

— И я к тебе привязался, Саша. Жаль, что расстаемся.

— Вот, Степан Петрович, на память. Как обещал. — Мурзинцов вынул из рогожного мешка телогрейку. Мех был густой, серо-бурого цвета.

— Снежный баран?

— Из него, — расплылся в счастливой и гордой улыбке парень. — В горах стрелил, а мамка сшила. Носите на здоровье.

— Ну спасибо, добрая душа! И матери благодарность мою передай. Не ждал такого сюрприза!

Еще больший сюрприз случился в первые дни нового года. 4 января в Нижний острог прибыл из Большерецка сборщик, привез пакет и письмо от Осипа Аргунова.

За долгое время совместной работы пищик так усвоил манеру изложения своего начальника, что казалось собственное послание читаешь.

Октября 10 дня сего, тридцать девятаго года, получена была ведомость в Большерецке о прибытии «Гавриила». Того числа плыть к устью я не успел, понеже бата не промыслил, токмо 12 дня доплыл в одном бату и уведомился, что присланы из канцелярии Охоцкого порта от их благородия господ профессоров пакеты...

— Наконец-то!

Долгожданное, почти уже нечаянное известие так взволновало его, не сразу и чтение смог продолжить.

— *«Да принял у якутского сына боярского Петра Борисова десять сум с провиантом, которой послан с ним, Борисовым, нам в жалованье из якутской канцелярии».* — Крашенинников уже вслух читал и обсуждал счастливые новости. — В октябре, еще в октябре получены! Что ж Осип медлил с известием? Я же наказал ему... — *«Просил я словесно Шергина послать к вам с пакетами служивого, однакож правитель канцелярии просьбу мою отверг, а когда вторично к нему обратился, то и троих из тех, что при мне оставалось, отнял. Поскольку, сказал, твоему студенту в иных острогах служивых выделяют. Пройдошина же или Пашкова послать одиночно и пеши я не осмелился, понеже дорога дальняя и некому за них назначенные вами работы исполнять».*

Опять этот несносный дьяк вредит как только способен! Ну ладно, вот приедут профессоры, враз поставят на место.

Он лихорадочно обломил печати, развернул многослойную обертку. В пакете лежали ордера, подтверждающие получение рапортов, дополнительные инструкции и сочиненное Миллером описание... Камчатки. Крашенинников быстро пробежал глазами сшитые в тетрадку листы

«Описания». В нем не было не только ничего нового, но и то, что было, исходило из устаревших или вовсе неверных представлений.

— Мне-то это зачем? — обескураженно произнес вслух. — Я сам на Камчатке. Когда же они сюда прибудут?

Ни в одной бумаге о сборах профессоров на Камчатку и намека не обнаружилось. Хуже того, по исходным датам и местам, где писались ордера, выходило, что профессора вообще движутся не на Камчатку, а в обратном направлении!

Осень 1737 года — Киренский острог на Лене, весна 1738 года — Иркутск. Рапорт, отправленный из Большерецка в ноябре тридцать седьмого, догнал профессоров в январе 1739-го уже в Енисейске.

— Енисейск. Да от него к Петербургу ближе, нежели к Камчатке! Как все это понимать, что происходит?!

Спиридон Перебякин услышал голос Крашенинникова, когда еще был в сенях. Подумал: «Степан Петрович не один, серчает на кого-то». Толмач задержался, но голос умолк, лишь половицы в горнице поскрипывали, и никто так и не ответил на гневные вопросы. Тогда он нарочито громко кашлянул и толкнул дверь.

— Вечер добрый, Степан Петрович. Худые известия получили?

— Всякие, Спиридон. Радостные, огорчительные. Ты-то сам с чем пришел?

Перебякин виновато вздохнул:

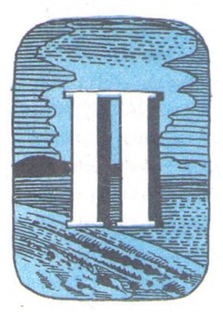
— Погода портится, тучи из-за моря потянулись...

— Только этого и недоставало! — в сердцах воскликнул Крашенинников. — Надолго, думаешь?

— Денька два попуржит.

Пурга буйствовала в Нижнем остроге трое суток, выехать удалось только 11 января.

В КОРЯКСКОЙ СТОРОНЕ



Пять собачьих упряжек мигом проскочили через замерзшую горловину устья на Камчатский нос.

Зимнее море отступило от берега, широкая лайда гладкой белой лентой окаймляла восточный край земли. Под березовыми полозьями крахмально похрустывал плотный наст, дымилась снежная пыль.

Крутой, обрывистый юго-восточный участок полуострова Озерный уже принадлежал корякским племенам. Пред южными отрогами, на реке Какеичь, и устроились на ночлег в селении оседлых коряков. Прибыли туда с запозданием на сутки, и еще трое суток лютая пурга держала в Какеиче. Вынужденную остановку скрасило шаманское представление.

За два дня до приезда гостей жителям привалила удача. Охотники добыли на прижимных льдинах несколько нерп и сивуча. Вволю попиршествовали. Теперь, по обычаю, полагалось отметить счастливый промысел.

Вечером при свете костра в юрту принесли большое деревянное блюдо с челюстями нерпы и сивуча. Челюсти перевязаны сладкой травой и тоншичем. Обряд, как и другие камчадальские празднества, походил на забавную игру. В ней не участвовали ни боги, ни черти. Только люди и звери — равноправные дети природы.

Женщины начинили комья толкуши узелками из сладкой травы. Кушанье это обозначало нерп. Ими загрузили игрушечный берестяной батик.

Камень и галька изображали морской берег с прибойными валами. Два охотника проволокли по россыпи каменьев посудины с «нерпами». Пусть нерпы узнают, какое угощение ждет их подле берега, пусть ближе подходят, заплывают в гости! Черпачок с толкушей выставили и на крышу юрты, чтоб из дальней морской дали видно было.

— *Лигнульх! Лигнульх! Лигнульх! Лигнульх!* — прокричали охотники.

Зрители наблюдали молча. Никто не знал, что значит *«лигнульх»*. Так кричали издревле, так делали сотни и тысячи лет назад — всегда.

Охотники обратились к ветрам:

— *Кунеушит алулаик!*

«Ветры, подгоняйте к нам льды с добычей, прижимайте к берегу льдины с тюленями и сивучами!»

Челюсти нерп и сивуча сложили в мешок. Охотники поочередно подходили с угощением, представлялись, заводили разговор:

— Меня зовут Якаак, запомните, нерпы. Почему вас так мало пришло к нам? Приходите чаще и в большем числе!

— Нерпы и сивуч, я — Ляктеле. Видите, как хорошо вас встречают здесь? Приходите еще!

— Имя мое Велля. Не забывайте мое имя, нерпы! Не забывай Веллю, сивуч! Я провожаю вас с добрыми напутствиями и гостинцами. Я буду опять ждать вас!

Мешок поднесли к лестнице. Почтенный старик добавил к гостинцам толкуши.

— Нерпы и сивуч, передайте от нас привет и подарок нашим друзьям и родным, тем, кто остался в море. Храброму Айге, быстроногому Уммеве, зоркому Кыяугынгену! Поклонитесь красавице Юнмачь, ловкой Экым, нежной Вагал! Не позабудьте и маленького Гайчале, он тоже исчез в морских волнах, с вами живет.

Мешок и берестяной батик вынесли наверх и сбросили с юрты. Чтоб гостям было светло и легко найти дорогу к морю, в батике лежал уголек. Огонь надлежало вернуть обратно, но свора голодных собак с рычанием набросилась на кости и толкушу, не выхватить уже было.

Проводив дорогих морских гостей, хозяева и сами поели. Травяные узелки выколупывали из толкушных комьев и бросали в огонь.

— Приходите к нам чаще, нерпы. Скучно без вас!

На этом представление закончилось. Коряги в костре догорели, лишь под серым пеплом еще посверкивали золотые точки. Вскоре и они исчезли.

Пурга изнемогла, но полностью не угомонилась. Было ветрено и мглисто. Собаки увязали в глубоких сугробах, запутывались в ременной упряжке, начинали выть. Каюры торили дорогу, каждые двадцать — тридцать минут караван останавливался. Люди и животные выбивались из сил. И все же к вечеру дотащились до Укинского острожка.

Низменная, заболоченная долина в устье Уки и Начики незаметно для глаз переходила в заснеженную ледяную равнину. Казалось, не море, не океан простирается от берега, а белая пустыня. Лежащий на северо-востоке Карагинский остров терялся в мутной темени. Даже близкая Начикинская гора Озерного полуострова не была видна.

Изможденные путники, насытившись горячей похлебкой, тотчас завалились спать. Крашенинникова знобило, не помогала от холода и баранья телогрейка, подаренная Сашей Мурзинцовым.

— Карымляча просить надо, — неуверенно предложил тойон Корич.

Он сам видел, как в Нижнем Камчатском остроге студенталь при всех высмеял Карымляча. С тех пор русские не зовут его, когда захворают, но здесь, в Укинске, кроме шамана, нет лекарей. И ни один охотник не пройдет мимо большого круглого камня, что лежит перед юртой Карымляча. Обязательно поделится добычей, положит у священного валуна рыбину или кусок мяса, пучок сладкой травы или тоншича.

— Карымляча, однако, просить надо, — повторил тойон.

— Н-нет, — отказался Крашенинников.

Тойон подсел к костру, подбросил дрова в огонь. Долго и задумчиво попыхивал трубочкой. Черные глаза на продолговатом округлом лице неотрывно смотрели на огненные языки. На голове, обритой к лету наголо, уже отросли жесткие черные волосы, свисали на морщинистый лоб. Коротенькая бородка и кустики бровей всегда оставались редкими.

Крашенинников все-таки уснул. Поднялся почти здоровым, но слабость в теле ощущалась.

— Не хочешь Карымляча просить, — сказал тойон, от всей души желая помочь гостю, — иди к Океречу. Янтель-камень у него есть. Он Окерача от неизлечимой болезни спас и на охоте удачу приносит.

— Вот это интересно, — сразу согласился Крашенинников.

— Учтите, — предупредил Спиридон Перебякин, — талисман каменный на время не дают, купить надо. Янтель-камень только хозяину служит.

— Очень бы хорошо получить такую диковину, но продаст ли?

— Не поску́питесь на табачок, не устоит Океречь!

Тот и рядиться не стал. Потерся носом о каменное личико куколки, обряженной в расшитую бисером кухляночку, поцеловал и отдал.

— Бери. В охоте поможет, от всех болезней вылечит!

— Ну, а как сам опять захвораешь? — спросил Крашенинников.

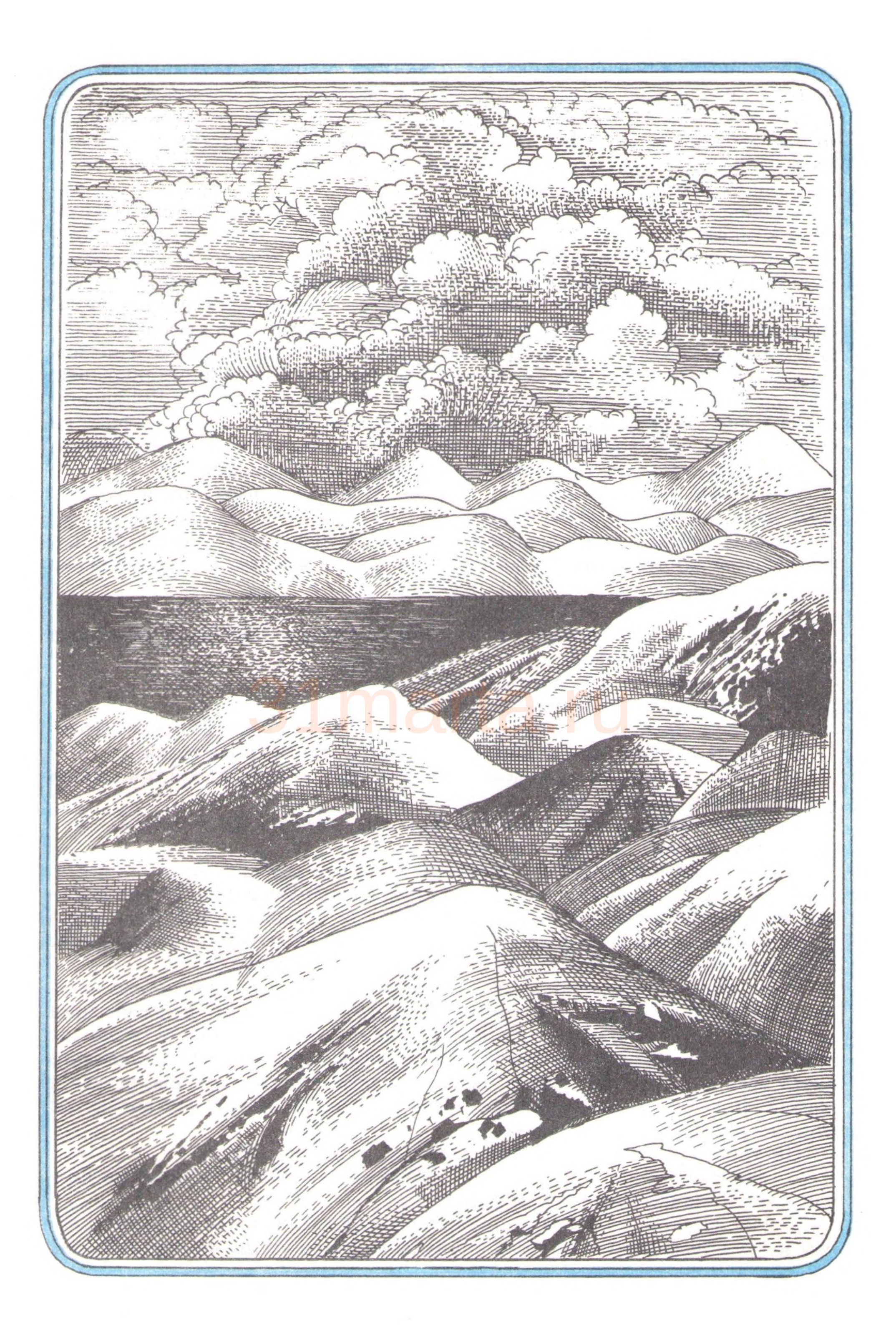
— Океречь не будет болеть, — убежденно ответил коряк.

— Другую себе янтель-камень подберет. — Для Перебякина приобретение студента не имело никакой ценности. Другое дело — табак! — За пять золотников у оленных коряков можно выменять новую кухлянку, какая в русских острогах идет по пяти рублей. Сами убедитесь, ежели встретим кочевников.

Ни в устье и верховье Караги, ни на Лесной реке не видели корякских стойбищ. Все оленные коряки, объединившись, ушли против чукчей.

Карага и Лесная, разделенные Срединным хребтом, текли от него на восток и на запад. Карага — к Восточному морю, Лесная — к Пенжинскому. Небольшой горный перешеек в узкой части Камчатки сохранял за ней статус полуострова.

С высоты Парапольского дола виднелись сходящие на нет в северной



тундре горные кряжи, синий океан с дымчатым лиловым силуэтом Карагинского острова, изрезанные барракосами заледенелые вершины на юге.

Трудно оторвать взгляд от величественного простора, но из-за горизонта уже надвигалась темная туча, предвещая скорое ненастье. И в самом деле, едва успели спуститься с перевала, как посыпал снег, мир сузился до расстояния вытянутой руки.

6 февраля прибыли в острожек на реке Тигиль. Многолюдным поселением командовал тойон Пейвев, легкий, подвижный вопреки почтенному возрасту. Он единственный здесь имел оленей. Уже только это придавало Пейвеву важность, возвеличивало над остальными. Тойон жил не в земляной юрте, а в настоящей корякской яранге, покрытой новыми шкурами. Посреди яранги пылал костер. Дым не успевал выходить из верхнего отверстия и клубился до самого пола. Крашенинников и получаса не выдержал, выбрался на свежий воздух и долго никак не мог откашляться. Его окружила целая толпа, каждый старался помочь. Если бы Крашенинников и знал корякский, все равно ничего бы не понял: в общем крике ни одного слова не разобрать. Пейвев восстановил порядок. Зычный, неожиданный для старца голос тойона заставил всех умолкнуть.

— Я знаю, как тебе помочь, — сказал Пейвев. — Твою грудь терзают злые духи, надежный куяк нужен.

То ли Перебякин успел замолвить словечко, то ли сам Пейвев подметил, что русский заинтересовался висевшим в яранге куяком, но предложение было сделано.

— Бери! Табак давай, фунт.

— Шибко много захотел, тойон, — возмутился Перебякин и снизил цену до пяти золотников.

Пейвев громко и зло рассмеялся:

— За глупую собаку меня считаешь?!

Назревал скандал. Собака — крайнее ругательство и оскорбление.

— Разве я сказал такое, Пейвев? — сразу отступил Спиридон.

— Пять золотников за такой замечательный куяк! Смотри: он совсем новый! — еще сильнее возвысил голос тойон.

Крашенинников молча выложил из сумы четверть фунта шара.

— Все, больше не дам. Не могу.

Пейвев еще покуражился, покричал порядка ради, и торг состоялся.

Назавтра распрощались добрыми друзьями. Пейвев и несколько молодых коряков проводили маленький караван до Красной сопки. Она резко выделялась на белоснежном фоне охряно-красной железистой окраской. Плоская вершина служила маяком для едущих с востока.

Сейчас путь лежал с запада на юго-восток. Дорога шла по долине Тигили, именуемой коряками Мырымрат. Низкие, заболоченные долы местами зауживались островерхими холмами и скалистыми щеками. В разрезах песчаные конгломераты перемежались слоями бурого, почти кирпичного цвета угля. Он, очевидно, образовался из окаменевших стволов, ветвей и корней. В незапамятные времена здесь плескались океанские волны, на берегах росли могучие деревья.

На третий день пути увидели длинный, с версту, обрыв.

— Яр этот Кейтель называем, — сказал Перебякин. — Летом из него пар идет и запах безмерно тяжелый.

Сейчас не было ни запаха, ни пара. Двадцатисаженный в самом высоком месте обрыв тоже содержал кирпичного цвета уголь, но верхний слой

составлял беловатый камень с явными признаками извести. Крашенинников велел остановиться и взял образцы пород.

Последний ночной привал устроили в острожке Камаки.

— Почитай, дома уже, — с облегчением вздохнул Перебякин.

— А я намерен тебя опять взять с собою, — сказал Крашенинников. — Поедешь, Спиридон?

— Прикажут, отчего ж не поехать, — охотно согласился толмач. — Дадите недельку на отдых, и ладно.

Так и вышло: через три недели после возвращения в Нижний отправились в Верхний острог. Крашенинников все откладывал отъезд, надеялся, что все-таки удастся встретиться с коряками-кочевниками, но так и не дождался вестей о появлении их в близлежащих северных местах. И очень было досадно, когда в Верхнем Камчатском остроге узнал: коряки оленные прикочевали на Подкагырную реку. А был уже март, затевать новую северную поездку не резон, можно потом надолго застрять в Нижнем: зимние дороги кончатся, летние не начнутся.

— Придется тебе, Спиридон, к корякам сгонять, — сказал Крашенинников. — Дам тебе табаку, постарайся купить для императорской кунсткамеры разного корякского платья. Бери самое лучшее. И не вздумай в пути обид или налогов ясашным иноземцам чинить!

— Да нежели я посмею, Степан Петрович! — сделал оскорбленный вид Перебякин. — А съездить, отчего ж, можно, коль приказано.

— Вот и договорились. С радостью бы поехал сам, но в Большерецк поспешать надо. Полгода там не был уже.

— И к чему вы себе избу поставили, коль и не живете дома?

Напоминание о собственной избе было приятным и грустным. При содействии казака Тимофея Рыжова, у которого Крашенинников поначалу снимал угол, осенью прошлого года выстроен был рубленый дом с маленькой горницей, сенями и амбаром при них. Дом покрыли древесной черепицей, корьем, оконца высветлили пластинчатой слюдой. Три фунта слюды пришлось взять из казенных запасов, все остальные расходы — за свой кошт. Оставшейся от заветной сотни денежной суммы не хватило, двоим работникам пришлось уплатить красными лисицами. Меха дал Рыжов, теперь за Крашенинниковым числился долг почти в четыре рубля. И другие кредиторы ждут. Как и чем отдавать — уму непостижимо.

— Ночку-то хочь одну поспали в своем доме?

— Две. А в долгах как в шелках...

— Не мое это дело, — сказал Перебякин, — только Игнат и без ваших затрат поставил бы избу. Когда и о своей выгоде подумать не грех.

— Для меня, Спиридон, единственная выгода — служение науке.

— Наукою сыт-обут не будешь...

— Я и не служу ей из корысти, — спокойно ответил Крашенинников. — И она не в моем услужении. Наука людям нужна, державе. В конечном счете — всему человечеству.

— Тут бы свое семейство в порядке и сытности держать, не до всесветных забот, — хмуро сказал Перебякин.

«Вправе ли я осуждать его? — мысленно произнес Крашенинников. — У него пятеро детей, а казачьего жалованья и на самого не хватает...»

— Оставим этот разговор, Спиридон. Получишь от меня письменную инструкцию, какие вещи покупать. Изустно же еще раз повторю: не смей беззаконий чинить! Не только в опасении строгого наказания по указам

ее императорского величества, но и мою честь студента Академии наук не порочь. От моего ведь имени поедешь.

— Не опорочу, Степан Петрович, — заверил Перебякин и даже перекрестился. — Богом клянусь. Вас по всей Камчатке за справедливость уважают, за честность.

— Честью своей, это верно, дорожу свято.

— Честь, она, однако, кормит плохо, — грустно пошутил Перебякин.

— А мы теперь с хлебом! Из Якутска муки привезли.

ИЗ РАПОРТА СТУДЕНТА СТЕПАНА КРАШЕНИННИКОВА

Благородным господам профессорам.
Десятый репорт.

... нижайше доношу, что в небытность мою в Большерецке отдано служивому Осипу Аргунову чрез якуцкого сына боярского Петра Борисова десять сум ржаной муки, а в каждой суме муки по полтретья пуда... токмо сумы плохие и без печати, а сказывал он, Борисов, что сумы на означенный провиант выданы из Якуцка новые и с добрыми ремнями и привезены им, Борисовым, в Охоцк за печатью Якуцкого города, но провиант из оных сум издержан от охоцкого командира господина Скорнякова-Писарева на жалованье служивым, а при походе судна на Камчатку выданы... иные сумы с провиантом...

А денежного ее императорского величества жалованья не получал, понеже в здешние остроги... указу не прислано... и я от того ныне терплю немалую нужду и пался в долги.

... Анбар казенной, на которого верху хотел я зделать башню под гиэтометр, построен, токмо ныне дверей прорубить некому, понеже плотники угнаны на Авачю для строения светлиц к прибытию господина капитана командора Беринга.

Мая 27 дня посадил я немного редьки и свеклы у квартеры моей перед окнами, а в огороде снег еще не стаял.

... А осенью, как снег падет, поеду я по Пенжинскому берегу в коряки, ежели оные близко прикочуют.

Студент Степан Крашенинников.
В Большерецком остроге. Июня 7 дня, 1740 году.

Концовка рапорта вышла сухой, независимой, но переделывать не было никакого желания. Профессоры прислали муку, только муку. Впервые за два с половиной года. Согласно указу, двадцать пять пудов на двенадцать месяцев для одного человека. А их было двое, Крашенинников и Аргунов, и неизвестно, когда и привезут ли еще провиант.



ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

ТЯЖЕЛЫЕ ВРЕМЕНА



В августе 1737 года, когда Крашенинников еще маялся в ожидании «Фортуны» в Охотском порту, профессоры оставили Якутск. Отправив студента «наперед себя» на Камчатку, сами поехали в противоположную сторону. В декабре, уже из Иркутска, Миллер подал прошение об увольнении по состоянию здоровья от дальнейшего пребывания в Сибири. Следом, в мае 1738-го, попросил разрешения возвратиться в Петербург и Гмелин.

Ответ из столицы нашел профессоров уже в Енисейске.

— Свободен! — ликовал Миллер. — Свободен!

Гмелин был в отчаянье. Ему предписывалось ускорить отъезд на Камчатку. Одна мысль о том приводила в содрогание. Опять возвращаться в Якутск. От него еще тысяча верст ужасной тяжелейшей дороги до Охотска, потом — море. Студент Крашенинников, судя по его рапорту, чудом остался жив, когда разбилась «Фортуна». Они вообще могли не дойти до земли...

Несколько лет назад шли из Удинска в Иркутск. Пересекли Байкал, плыли вдоль гористого красивого берега. В тихой воде скользили, не отставая от парусного дощаника, белые облака. Вдруг задул свирепый култук, поднял волны, по всему озеру разбежались отары белых барашков. Пришлось убрать парус, грести к берегу, но и там было опасно. Три версты судно тащили по-бурлацки до укромной Соболевой бухты. Бросили якорь, привязались к причальным сваям.

Ветер оборвал швартовы, лопнул якорный канат. Дощаник едва не унесло в бушующий простор...

Суровый юго-западный култук штормил двое суток. Что ж говорить об открытом море! И что ждет т а м, за морем? Сведения, которые собрал и обобщил Миллер в своей работе «Описание Камчатки», не сулят ничего хорошего. Дикий край, дикие порядки.

— Если я и не утону в море, то найду свою могилу на Камчатке, — мрачно сказал Гмелин. В больших, навыкате глазах с припухшими веками была тоска. В последнее время нервы профессора сдали.

— Не отчаивайся. — Миллер приглушил бурное проявление радости. — Не все еще потеряно. Мы сегодня же, сейчас напишем новые ходатайства. Я буду горячо просить за тебя. Давай еще раз, спокойно, прочтем указ. Опыт работы с документами научил меня не только анализировать и обобщать, но и находить подсказки для решения насущных проблем. Итак, что нам предписывает сенатский указ? Цитирую. М-м... Вот! «...обретающегося в Камчатской экспедиции профессора Миллера от камчатской поездки, за показанною его болезнию, уволить и для излечения быть ему в Санкт-Петербурге». Так! Читаем дальше. М-м... Опять обо мне. «...едучи чрез те места, где он еще не был... натуральной истории исследования чинить». Так, значит, обратный маршрут надо изменить. Далее. «А для производства к окончанию в оной экспедиции обсервации быть прежде отправленным в экспедицию профессору Гмелину...»

Гмелин что-то страдальчески пробормотал.

— Не стони! — властно прикрикнул Миллер. — М-м... Где я остановился? «... профессору Гмелину, адъюнкту Стеллеру; да к ним в помощь отправить ныне адъюнкта и Фишера»... Иоганн Эбергард Фишер? Ректор академической гимназии?

— Все называют его «господин школьный учитель», — напомнил Гмелин.

Многодетному магистру Фишеру платили триста рублей в год. На прибавку рассчитывать не было никаких оснований. И тут — счастливый шанс: отправиться на пять лет в Сибирь в звании адъюнкта с окладом в 660 рублей, а по возвращении — производство в профессора. И Фишер первым вызвался заменить Миллера. Зимой 1739 года новоиспеченный адъюнкт с семейством в полном составе выехал из Петербурга.

— Мне этот школьный учитель еще доставит хлопот, — вздохнул Гмелин. — У него несноснейший характер.

— Все-таки он прилично знает латынь, — только и мог сказать Миллер. — Но кто такой Стеллер? И где он сейчас?

— Представления не имею.

Профессоры и не могли ничего знать о Георге Вильгельме Стеллере. Он прибыл в Петербург через год после отъезда Камчатской экспедиции, приплыл из Данцига, сопровождая больных и раненых солдат русской армии. Как лекаря же взял его к себе в дом тогдашний архиепископ Феофан Прокопович. Он и хлопотал за него перед Академией наук.

7 февраля 1737 года Стеллера приняли адъюнктом натуральной истории при Камчатской экспедиции. Он действительно хорошо знал ботанику и другие отделы натуральной истории, что проявилось уже при составлении им, причем с большим прилежанием, каталога академических гербариев.

В августе того же года Стеллер выехал через Москву в Сибирь. Тяжелая горячка задержала его на несколько месяцев в Томске.

— Стеллер? М-м... — задумался Миллер. — Нет, имя ничего мне не говорит. Не Стеллер, а Штеллер, наверное. Фамилия чисто немецкая. Читаем дальше. М-м... Что? Что такое?! Мне велят передать все материалы адъюнкту Фишеру?

Миллер в бешенстве отшвырнул бумагу.

— Отдать этому учителишке! Все тридцать моих рукописных книг!

— Успокойся, тебе нельзя. Сердце... — попытался утихомирить друга Гмелин.

— К черту сердце! Они хотят меня ограбить, отнять плоды каторжных сибирских трудов! И кому? Фишер и строчки русского текста не поймет, он и объясниться без толмача не в состоянии!

— Прошу тебя...

— Молчать!

— Герр профессор... — Нос Гмелина слабо дернулся.

Миллер опомнился.

— Извини... — Вяло опустился в кресло, замассировал грудь.

Гмелин накапал валерианы. Миллер выпил лекарство, поморщился и опять заговорил твердым, деловым голосом:

— Я немедленно напишу возражение барону Корфу.

— Ты собирался написать обо мне...

— Да, конечно. И сейчас же. Мы вдвоем уедем отсюда! Пусть Фишер и Стеллер потрудятся вместо нас. И мы совершенно упустили де-ла-Кроера!

Печальное лицо Гмелина озарила ироническая улыбка.

— Ему и в Иркутске привольно. Боярский сын Медведев отдал вместе с племянницей солидное приданое.

— Женитьба — личное дело. Иркутская провинциальная канцелярия донесла в сенат о махинациях профессора!

— Вероятно, взамен научных донесений. Сам он ни строчки не выслал в Петербург.

Академический советник Шумахер уже направил Людовику Делилю де ла Кроеру гневное и жесткое предупреждение: «Берегитесь, милостивый государь, чтобы и Академия не начала против вас судебного преследования, потому что вы совсем пренебрегаете ею. Позволительно ли это не писать в Академию в продолжении шести лет? Где ваши наблюдения? Поверьте, что сумею заставить вас дать отчет в ваших работах».

Письмо еще было в пути. Но профессор Людовик Делиль де-ла-Кроер и без него отлично знал, что над ним висит угроза разоблачения и наказа-

ния. Под видом служивых людей профессор содержал при себе торговцев и промышленников, с которыми завел деловую дружбу еще в Томске. Оборотистые томичи скупали и беспошлинно продавали запретные меха, воровски обменивали казенный табак из экспедиционных запасов на мягкую рухлядь. Коммерческие дела шли превосходно, и Людовик целиком полагался на свою везучесть, всесильное время и астрономические расстояния. На крайний случай можно было забраться еще дальше, на Камчатку...

В промерзшее оконце кто-то постучал. Нетерпеливо, требовательно. Стучал человек нездешний. В Енисейске навряд ли кто осмелился бы ломиться средь ночи в профессорскую избу.

Миллер еще сидел за столом, стук оторвал его от дела.

За синим стеклом в махровых белых узорах ничего не различить. Только слышно загнанное похрапывание лошадей. Не всякий путник решится на ночной перегон в трескучий январский мороз, дождался бы утра в каком-либо селении. Стук повторился.

— Касьян, — позвал Миллер, — узнай, кто там! Быстро!

— Иду, ваше высокбрр... — сонно отозвался слуга.

— Не пускать! Узнать только!

Через минуту, не обращая внимания на громкие протесты Касьяна, в горницу вошел заиндевевший человек в тулупе.

— Что такое? Кто, почему?! — возмутился Миллер.

Незнакомец сбросил на пол рукавицы, откинул воротник, снял шапку и тоже бросил ее прямо на пол. На красном от мороза лице снежно кустились брови и ресницы. Слежавшиеся в беспорядке темные волосы выдавали простолюдина. Благородные господа носили парики.

Миллера охватило бешенство.

— Как смеешь?! Вон!

Человек оскорбленно вскинул голову и назвался по-немецки:

— Я адъюнкт императорской Академии наук Георг Вильгельм Стеллер.

БОЛЕЗНЬ

С утра, как обычно, висел густой туман. Мельчайшие бусинки влаги унизали стволы и ветви, мутными каплями стекали с крыш. За слюдяными оконцами была молочная непроглядность.

Горница за ночь выхолодилась, изо рта шел пар. Крашенинников натянул на ноги меховые торбасы, надел баранью телогрейку.

Он принес из сеней охапку корявых дровишек и затопил печь. Сырая береза долго не хотела гореть, но в конце концов не устояла перед огнем.

Сидя на корточках у открытой дверки, Крашенинников грел озябшие руки. «Господи, — думал он, — есть ли где в свете место, где больше туманов, нежели на Камчатке? От них и нетающих снегов на сопках и летом мокро и холодно».

Горница понемногу наполнялась теплом, по запотевшей слюде червячками сползали водяные струйки. Поставив на плиту котелок с ночевалым, вчерашним кипрейным чаем, Крашенинников опять залез под меховое одеяло.

Вместе с теплом пошли и добрые мысли об удивительной Камчатской земле.

Недостатков, конечно же, в избытке. Неспокойные погоды, частые трясения земли, наводнения, бесхлебный и не скотный край.

Однако какой здесь чистый и здоровый воздух, какие хрустальные воды. Нет беспокойства от летней жары и трескучих морозов, не бывает сильного грома и ливневых дождей. И старики не припомнят, чтоб кого молнией поразило.

Не водятся на Камчатке ядовитые гады. Вообще змей, даже лягушек нет. Пауки — редкость. Правда, комарье и мошка в теплую пору житья не дают, так летом все промышляют рыбу у моря, а там студено и ветрено, мало летучей нечисти. От чего и есть великая опасность и неспокойство — от горящих гор и жестоких, неописуемых по силе ветров и бурь. А разве в Сибири не бывают суровые метели, разве на одной Камчатке извергают высокие горы огонь и пепел?

Что до хлеба и скота, овощей огородных — все в руках человека. По всей Камчатке травы столь высоки и сочны — трижды в лето сено косить можно, на всю зиму запасать для скотины корма. Яровые хлеба, хотя и не повсеместно, но хорошо родятся, дают весьма добрый урожай и всякие овощи.

Достанет и леса на дрова и постройки, только рачительно к нему относиться надо, не жечь попусту, не изводить. Кроме всего прочего вреда выжигание лесов ведет к оскудению соболя. Сколько его было на Лене, выкурили в самые вершины реки.

Мягкая рухлядь — главное богатство Камчатки. А рыба! Подобного изобилия и легкого промысла лососевых нигде не сыскать. Тюленьи кожи, меха оленей, китовый и нерпичий жир, несметные стаи птиц — всего вдоволь людям. И для торговли предостаточно, а пристаней, где судам стоять, на Пенжинском и Восточном морях немало. Только Авачинская губа чего стоит! В рассуждении пространства, глубины, натурального укрепления и прикрытия от всех ветров, трудно сыскать подобную ей на свете. Придет время, когда не по долгу, не принуждением будут селиться здесь россияне, за благо сочтут жить на Камчатке.

Мечты о будущем привели Крашенинникова в веселое расположение, кликнул шутливо пищику:

— Эй, Осип, поднимись!

Аргунов, укрывшись с головой медвежьей шкурой, спал непробудно. Крашенинников рассмеялся.

— Ну и лежебока, ну медведь. «Мишка, вставай!» — крикнул по-охотничьи.

Бурый мохнатый горб зашевелился. Показались руки с рыжими от несмываемых чернил пальцами, выпросталась взлохмаченная голова.

— А? Что? — помаргивая, забормотал Аргунов. — Я сейчас...

На его обязанности лежало топить печку и готовкой заниматься.

— Сделано уже, что надо. Чаевничать будем.

Как же хорошо просыпаться в своей избе, садиться за свой, пусть и неказистый стол, пить свой чай.

— Мы теперь, что бояре в собственной светлице, а, Осип? — Крашенинникова не покидало прекрасное настроение.

— Нагрянут господа профессоры, отберут, — старательно жуя юколу, произнес с набитым ртом Аргунов.

— Неисправимо унылый ты человек. Для профессоров теперь в Верхнем остроге хоромы выстроены, есть где жить. И в Нижнем место сыщется.

— А тут, в Большерецке?

— Ну... — Крашенинников замялся. — Найдут для профессоров казенное жилье. Наш-то дом на мой кошт возвели.

Аргунов не отозвался, смачно прихлебывал кипяток из кружки.

— Что молчишь, Осип? Сказать нечего?

— Оттого и молчу, Степан Петрович. И вам супротив профессоров сказать будет нечего, когда они тут разместятся.

— Не будем упреждать события, — с легкостью произнес Крашенинников. — Что горевать наперед. Тут и с нынешними делами сложно управиться.

Аргунов понял, о чем речь. Вместо бедового и знающего толмача Лепихина приказная изба выделила неграмотного новокрещенного камчадала, который и говорить по-русски худо умел. На все требования заменить толмача подьячий отвечал, что не может того сделать без Шергина или правителя. Шергин же, как сборщик, находился в отъезде, а Колесов, новый приказчик Большерецка и командир над всеми камчатскими острогами, уехал с ревизией в Нижний.

Власти вернулись в самом конце июля и сразу ударились в пьянство, не вылезали из кабака. Компанию с ними водил Онуфриев.

Игнат вконец ошалел от награбленных богатств, вел праздную и беспутную жизнь. Недавняя встреча с ним произвела на Крашенинникова гнетущее и мерзкое впечатление.

— Наше вам нижайшее, — фиглярничая раскланялся Онуфриев. Был он в роскошном одеянии, но выглядел крайне неряшливо. Платье засалено, в винных пятнах, нос и щеки багровые, глаза мутные, осоловелые, руки дрожат. — Проздравляю новоявленного домовладельца! Зря, однако, от предложения моего отказались, господин студент. Не в избушке, в царских хоромах бы нежились. У Игната Онуфриева на все денег хватит! Чо хош, ха-ха, кого хош купить могу.

Вдруг из глаз его брызнули пьяные слезы.

— С тобою одним не заладилось. Кого и люблю безо всякой выгоды, так тебя, дражайший Степан Петрович, а ты!.. Брезгуешь, знаться не желаешь. — Спохватился, утер лицо рукавом. — Извиняюсь, господин студент, тыкать себе позволил. Так не от превосходства и зазнайства, от одной любови и уважения. Простите великодушно! — И он упал на колени.

— Что ты, встань немедля!

— До гроба стоять буду, ежли не простите.

— Прощаю, прощаю, встань, — растерялся Крашенинников.

— Позвольте ручку! — не унялся пьяный.

— Довольно, Игнат, довольно.

— Брезгуешь! — завопил Онуфриев. — С Игнатом Фомичом сам всекамчатский командир в одном застолье!

Крашенинников отстранил его и пошел прочь.

На другой день Тимофей Рыжов, видевший отвратную сцену, доброжелательно посоветовал:

— Очень уж вы гнушаетесь Игнатом, Степан Петрович. Во вред себе делаете. Купец с самим Колесовым и Шергиным в друзьях-приятелях, а богатств накопил — половина моего амбара его мягкою рухлядью набита. Попивает, правда, так кто без вина обходится? Разве у кого не на что или нутро не принимает.

— Ну мне, к примеру, не на что и времени нет, так что ж?

— Не обижайтесь, Степан Петрович. Я ведь от доброго к вам расположения...

— Эх, Тимофей, — горько сказал Крашенинников, — от доброго расположения ты и сам погибель Онуфриеву торопишь. Не за «спасибо» наливаешь, не за «спасибо» добро его в своей кладовой держишь.

— Задаром, Степан Петрович, — хитро прищурившись и оглаживая бороду, ответил Рыжов, — одне глупцы и ангелы добро творят. Однако ж замечу, что на вашей избе невелик был навар...

— Извини, ради бога, Тимофей, — отступил Крашенинников, — не хотел обидеть тебя. Напротив, сердечно благодарен за помощь. Мне бы самому не совладать со строительством.

— Ладно, чего уж. Свои, можно сказать, люди. Онуфриев же вон как развернулся. Не беда, коль и мне малая малость перепадет. И мне жить надо. Ефросинья опять на сносях.

— Четвертого ждете? — заулыбался Крашенинников. Одно упоминание о детях радовало душу.

Рыжов тронул кончики казацких усов.

— Пятого!

В илистом устье Начиловой реки издавна добывали жемчуг. Не в каждой раковине попадались драгоценные горошины, но, бывало, в одной таились пять, а то и девять штук. Мелкие, правда, как дробинки, лишь одна-две — покрупнее.

Поездка заняла всего три дня, но Крашенинников так вымок и простыл на холодных ветрах, что воротился и занедужил. Опять начался кашель и загрудинные боли. Две недели Степан Петрович упорно не признавал себя больным, работал вопреки всему. Потом все-таки слег. Жар, голова раскалывалась, из груди вырывался болезненный хрип, терзала сухость в горле.

В Большерецке не было ни лекаря, ни подлекаря. Аргунов, как мог, ухаживал за больным, старался облегчить страдания.

Крашенинникову с каждым днем становилось хуже и хуже. Он стал впадать в беспамятство, бредил, задыхался от кашля.

Михайло Лепихин высказал мнение, что надо обратиться к иноземческому знахарю.

— Степан Петрович не признает шаманства, — возразил Аргунов.

— Я и не предлагаю шаманов. Травы целебные достать бы.

— А как яд подсунут?

— К верным людям ехать надо.

Они разговаривали приглушенными голосами, хотя больного и не могли потревожить. Он метался, снедаемый горячечным огнем, хрипел. Вдруг совсем явственно позвал несколько раз подряд тойона Каликина острожка.

— Вот, кому доверить можно, — уверенно сказал Аргунов. — К Василию, к Апаче ехать надо.

Имя Апачи вырвалось у Крашенинникова в бреду. Виделась ему жуткая картина. Будто стоит, привязанный к березе в огненном кольце; жар нестерпимый, горький дым разъедает глаза, забивает грудь. Но не за себя страшно, за Кениллю. Несчастная жертва стоит у другого дерева, корчится, а Гришка-Кешлея выхватывает из костра пылающие головни и бросает их в нежное лицо. Поодаль сидит на корточках Апача-Василий, шепчет что-то про себя, ничего не видит.

«Апача! Василий! — из всех сил призвал на помощь Степан. — Апача!»

Красные языки заслонили тойона, Кениллю, весь мир. Черная мгла поглотила Крашенинникова. Очнулся глубокой ночью, размежил веки и тотчас опять увидел Кениллю.

Она старалась влить ему в рот пахучий отвар и что-то говорила нежно, точно горлица ворковала:

— Какова, какова... Тыхкушхушк, студенталь...

Крашенинников попытался вспомнить ительменские слова: *«Какова»* — «живой», но что значит *«тыхкушхушк»*?

— Пей, Степан Петрович. Полегчает. Тойон занеможил, скорбен, племянницу прислал с лекарствами.

— Слава богу, очнулись! Какой уж день без памяти...

В медном зареве жирника высветились Аргунов и Лепихин. И прекрасное лицо с необычайно блестящими глазами, чудные брови, стрельчатая и «галочкой», пушок и родинка над верхней губой. «Боже, как же она прекрасна!»

— Кенилля... — Пергаментные губы растрескались до крови.

— Какова, какова, студенталь, — дрожащим, наполненным любовью и состраданием голосом пропела она.

Он сделал несколько трудных глотков. Из одного сосудца, из другого, из третьего.

Кенилля поила его отварами каменного папоротника, зверобоя, кипрейным суслом. Кормила мороженой брусникой, ягодка за ягодкой. От болей в груди, от сухости в горле, от муторной тяжести в голове.

— *Кима ителахся,* — вспомнил он ительменские слова. «Я живу». И опять провалился в бредовый кошмар.

... В бане было невыносимо горячо и влажно. Степан обливался потом, тонул в соленой воде, захлебывался. Где-то близко, за тополиными бревнами стен, на волнистой поверхности моря, в лазурном поднебесье были люди. Он слышал их, чувствовал, но — ни вдохнуть, ни крикнуть. А люди не видели его в черной толще. Надо было вынырнуть, выбраться на воздух и простор.

Он отчаянно работал руками, ногами, изворачивался всем телом. Молодая плоть противилась смерти, боролась за жизнь. Обидно, нелепо в неполных двадцать девять лет погибнуть от воды и жара! Помогите же кто-нибудь, спасите! Кенилля, Осип!...

— Мы здесь, — успокоил Аргунов. — Пропотели вы, нитки сухой нету. Сейчас переоденем.

— Извини-прости, Степан Петрович, поверну тебя, вот так, так.

Голоса, голоса, мужские и женский, дошли до него, а смысл не пробился к сознанию. Но сильные и нежные руки дотянулись, вытащили его из гибельной бездны.

Он часто и жадно вдыхал сухой воздух, пока не закружилась голова; обмяк и устало, спокойно вытянулся на меховой постели.

— Уснул, — шепотом известил Аргунов.

Кенилля сказала что-то на своем языке. Лепихин перевел:

— Теперь тихо надо. Долго спать будет, выздоравливать.

Кенилля начала одеваться для улицы. Натянула поверх нижнего платья из оленьей замши меховую парку с подзорами и окладами из бобрового пуха, обулась в высокие, по колени, торбасы.

— Куда она собралась? Насовсем уходит? — забеспокоился Аргунов.

— Вернется. Корень один найти надо. Шибко силы прибавляет.

— Когда, когда вернется? — Аргунов боялся отпускать ее. Вдруг больному опять хуже сделается.

— *Дангу*.

— Сегодня.

— Когда — сегодня? Ночь уже!

Кенилля догадалась о чем разговор, объяснила. Подле острога такая трава не растет, за ней далеко идти нужно, к Утиному озеру. Но она обязательно сегодня вернется. Ночь кончается, солнце скоро покажется, вот-вот начнется день. Сегодня же и принесет чудодейственный корень.

— Проснется, говорит, Степан Петрович, дать ему из того вон сосудца полчашечки.

— Какой? Они у нас разные. Уточни, Михайло.

Кенилля поставила рядом с лекарствами маленькую пиалу с кобальтовым рисунком.

— Э! — поразился Лепихин. — Знакомая вещица! Степан Петрович еще выменять хотел, да из-за нее, из-за Кенилли, и не вышло. Та самая вещица, с птицей морянкой. О-а-алулы-ы, о-а-а-алулеу!

— Тише ты. Спроси, когда поточнее ждать?

— К вечеру, говорит. Раньше не обернуться.

Она не пришла ни вечером, ни назавтра утром, ни на третий день.

— Обманщица, — злился и досадовал Аргунов. — Хорошо, что снадобья свои не унесла, лечить бы нечем.

— Снег лежит, не нашла, — спокойно предположил Лепихин. — В острожек к себе идти пришлось. Вернется!

Она не вернулась. Будто в воду канула.

С каждым днем Крашенинникову становилось лучше. Он уже ходил по избе, даже пытался работать, но быстро уставал и опять ложился. Был он задумчив и печален. Поначалу, когда в себя пришел, все искал кого-то глазами, но молча, без расспросов.

Аргунов и Лепихин не подавали виду, что понимают, кого Крашенинников ищет. Они и японскую чашечку надежно припрятали.

— А то сразу догадается, в волнение придет.

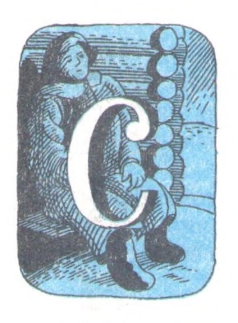
— Точно, — согласился Лепихин. — Пускай думает, что привиделось ему в горячке.

Миновала неделя. О Кенилле никаких вестей. Что с девушкой стряслось, куда подевалась? Но тут другая весть прилетела в Большерецк, мигом взбудоражила весь острог: «Корабль! Галиот «Охоцк» приплыл! У Чекавки якоря бросил!»

— Осип, — равнодушно сказал Крашенинников, — спустись к морю, разведай, может, от профессоров передача какая пришла.

На приезд самих профессоров надежды уже не было.

ГОРЕСТИ И ОБИДЫ



Снег, обильно выпавший в середине сентября, в двадцатых числах почти повсеместно растаял. После холодной недели опять стало тепло, безветренно, солнечно.

Крашенинников, впервые после болезни, покинул избу, грелся на солнышке, сидя на тумбе из китового позвонка. Но и сидеть было еще трудно, привалился спиной к бревенчатой стене дома.

Какое счастье, что болезнь свалила с ног в своем доме. Полная независимость, покой. Лечись, выздоравливай, набирайся сил. Через месяц, самое позднее, надо ехать на север, в страну коряков.

По обманчивому зимнему первопутку уже отправились ясашные сборщики. Как стало известно от Рыжова, он время от времени проведывал своего бывшего постояльца, неделю назад подался к оленным корякам и Онуфриев с тремя казаками и торговым человеком, вновь прибывшим на Камчатку в июне.

— Игнатий Фомич, — рассказывал Рыжов, — обменял меха и шкуры, которые еще оставались, на выгодный здесь товар у морской команды с «Архангела Михаила». Говорил, в последний раз обернется с выгодой и — все. В Иркутск свой возвратно поедет.

Мнение Крашенинникова было известно Рыжову: задержится тут Игнат еще на год, не только многоценную мягкую рухлядь, а и портки в кабаке спустит, нищим сделается, пропадет.

— И я про то ему твержу, — заверил Рыжов. — Уноси ноги, Игнатий Фомич, пока не стряслась... эта... Как вы давеча по-латыни выразились, Степан Петрович?

— Finalis. Заключение, конец.

— Вот-вот, уноси, твержу, ноги и добро, пока финалис не грянул!

Крашенинников поинтересовался, кого Онуфриев взял в проводники.

— Так этого, Гришку-Кешлею, камчадала разбойного. Он и вожем и толмачом служить нанялся.

— Разве Гришка в остроге? — нахмурился Крашенинников.

— Был, а чего бы нет. Мало какие у них, камчадалов, дела и междоусобицы. Пускай сами промеж себя разбираются. А что, Степан Петрович?

— Ничего, так спросил. Просто так, — убеждая себя, произнес вслух Крашенинников и вздохнул. Его преследовала мысль, что Кенилля не пригрезилась в горячечном сне, а приходила к нему на самом деле...

Солнце перевалило пик зенита и медленно покатилось вниз к Пенжинскому морю. Воздух посвежел, и Крашенинников вернулся в избу.

...Кто-то рывком сдернул меховое одеяло, схватил за плечи, чмокнул от избытка радости в щеку, закричал:

— Степка! Степан! Друг мой бесценный!

Затряс, навалился. Крашенинников с трудом высвободился из горячих объятий и узнал, к безмерному счастью, Алексея Горланова.

— Лешка...

— Он самый, Степушка! Мой стародавний друг, однокашник по Москве, верный товарищ в сибирских странствиях, брат-студент!

— Лешка. Лешка Горланов! Наконец-то... — По бледным, запавшим щекам Крашенинникова потекли слезы. — Приехали...

— Приехали! Профессор де-ла-Кроер, Стеллер адъюнкт. И художник Беркан с нами!

— А-а... другие?

— Миллер и Гмелин? Мы в Енисейске с ними распрощались. Миллер в Петербург едет, разрешение получил. И Гмелин того же ждет. Остальные, наши... — Голос Алексея упал. — Кто как... Васька Третьяков совсем захудал, попивает, тупеет, забыл что знал. Яхонтов...

— Что — Яхонтов? — сразу почуял беду Крашенинников.

— Не стало Ильи Петровича, Степа... В Енисейске... — горестно махнул рукой и отвернулся.

— Что ж мы стоим? Голодный, поди, чаю сейчас вскипятим. А ты пока другие новости выкладывай. Какой год в полном неведенье, один здесь.

— Теперь веселее будет! Сообща поработаем. От француза, правда, толку ждать нечего. В Сибири студенты за него трудились, у него свои заботы. А Стеллер мужик работящий, неистовый. И знающий. Характер, правда, отвратный. Заносчивый, скандальный. Но повторю: человек просвещенный. Учености от него не отнимешь.

— Это главное, Леша, — сказал Крашенинников. — А кто он, откуда?

— Узнаешь еще, скоро прибудут. Как же я рад, что вижу тебя! Сильно ты постарел, Степа. Бледный, желтый.

— Болею... на поправку уже пошло. Сколько ж мы не виделись?

— С августа тридцать седьмого, а ныне сороковой на исходе. Ох, и наговоримся, пока наши господа не прибыли!

Они приехали на другой день, в сопровождении Аргунова и небольшой свиты. Багаж адъюнкта был на удивление скромен, зато профессорские вещи заняли половину избы.

Де-ла-Кроер оглядел критически жилище Крашенинникова и Аргунова, ничуть не расстроился:

— Что ж, бывало и хуже. Только надо навести порядок, убрать все лишнее. Алекс, — сделал замечание Горланову, — я полагал, что ты и сам, до моего появления, позаботишься об этом.

Горланов, сцепив зубы, молчал.

— Ты слышишь меня, Алекс?

— Слышу, — выдавил Горланов. — Но хозяин избы болен.

— Хозяин теперь я, господин профессор Людовик Делиль де-ла-Кроер. Всем понятно?

— Он на свои деньги строился.

— Деньги не проблема, не так ли, адъюнкт?

Стеллер сверкнул глазами, но сдержался от колкости.

— Я сам по себе, профессор. Пойду искать пристанище.

Ничего не оставалось делать и Крашенинникову с Аргуновым, переселились в недостроенный амбар. Пройдошин прорубил дверь и одно оконце. В крыше проделали дыру, как в юрте для выхода гари и дыма.

Пришел с визитом Тимофей Рыжов.

— Вона где устроились! А я на постой принял адъютанта вашего.

— Адъюнкта, — улыбнулся Крашенинников, но улыбка вышла не веселой.

— Ну да, я и говорю. Чудной какой-то! В черной избе пожелал обретаться. И столоваться отказался, сам стряпает. На все про все у него один сосуд для питья и одна посудина, из которой и ест и в которой готовит кушанья. А стряпает — смех берет! Все разом закладывает: рыбу, мясо, зе-

лень всякую. А одет! Такому всяк сапог впору. Зато профессор — уф, какой разнаряженный! Сроду такого барина не зрел.

— Я в команду адъюнкта Стеллера зачислен, Тимофей.

— Однако ж профессор над всеми вами начальник. Так я понимаю?

— Так-то так, да не совсем. Они по отдельности задания имеют.

Рыжов уловил в голосе Крашенинникова обиду, вежливо перевел разговор на другое:

— Про что это у вас книжка? Не по-нашему, видать, писано.

— Светоний, древний философ.

— А-а... И про что пишет?

Крашенинников процитировал по памяти:

— «Хороший пастух снимает с овец шерсть, а не шкуру».

— Ишь как складно! Да, слыхали новость ужасную? Из Утиного озерца девку мертвую вытащили, камчадалку. Кто — не признать, распухла вся, но ясно, что от своих же смерть приняла: из лука убили и стрела, без сомненья, с отравой была, омегом натерта.

Аргунов задрожал осиновым листом.

— У озера? — спросил тонким испуганным голосом.

— Ну да, в Утином озере... Ты что, Осип? Белее снега сделался...

Степан оцепенел. Значит, не пригрезилось тогда, значит, она...

— Осип, — медленно выговаривая каждое слово, сказал, глядя пищику прямо в глаза, Крашенинников. — Осип, говори, все как было.

Аргунов прошел на негнущихся ногах в темный угол, вернулся с маленькой пиалой, разрисованной синим кобальтом. Крашенинников взял ее обеими руками, прижал к груди.

Рыжов тайно подал знак Аргунову, и они бесшумно покинули избу.

ИЗ РАПОРТА СТУДЕНТА СТЕПАНА КРАШЕНИННИКОВА ОТ 9 НОЯБРЯ 1740 ГОДА

Благородным господам профессорам Академии наук.
Одиннадцатый репорт.

Сентября 20 дня прибыли в большерецкое устье на галиоте «Охоцке» господин профессор Де-ла-Кроер и господин адъюнкт Штеллер, а сентября 27 числа они в Большерецкой острог приехали...

Господин профессор Де-ла-Кроер по прибытии своем в Большерецкий острог стал в моей избе, которую я своим коштом строил, и за оную по его требованию выданы мне из казны деньги, причем и казенной анбар, строенный для поставления гиэтометра, под себя занял...

Октября 3 дня по требованию господина адъюнкта Штеллера получил я ее императорского величества денежного жалованья на два года, а имянно за прошлой 1739 и на сей 1740 годы. Провианта мне ныне не привезено, потому что велено по силе ее императорского величества указу академической свите на своем коште провиант ставить, в чем мне будет немалая нужда, понеже купить негде, а и покупать по здешней цене нашего жалованья на один только хлеб достанет...

Октября 27 дня получил я ордер от господина адъюнкта Штеллера, чтоб мне быть у него в комманде и объявить ему при репорте все чиненные мною на Камчатке обсервации и при том какие при мне имеются казенные книги, материалы и служивых сколько при мне имеется. И против означенного ордера октября 28 дня отдал я ему господину адъюнкту при репорте мои обсервации и служивых людей и пищика Аргунова...

Ныне я по представлению моему отправляюсь от господина адъюнкта Штеллера в коряки для описания оного народа и надеюсь сего месяца 25 числа отсюда выехать.

ИЗМЕНА



начала вилась поземка и не очень чтоб сильная, но собаки упрямились, на каждой остановке норовили закопаться в сугробы.

— Извини-прости, Степан Петрович, — повысив голос, сказал Лепихин, — только еще раз говорю: отложить выезд надо, вернуться восвояси!

— Нет...

— Степан...

— Нет!

— Ну как знаете. — Михайло обиженно замолчал. «Нет так нет».

Он отстал от нарты, на которой ехал Крашенинников, сел на свою. Погрузневшие сани сразу замедлили бег упряжки.

— Тах-тах! — Лепихин чувствительно огрел вожака. — Тах-тах!

Мохнатый пегий кобель взвыл от боли и незаслуженной обиды, на ходу грызанул серого заднего напарника. Оштал Лепихина прошелся и по серой спине, иначе так и станут друг на дружке злость срывать.

— Тах-тах! — строго, но уже без ожесточения прикрикнул Лепихин. «В конце концов собачки тут ни при чем. Кто ж в такую погоду в дорогу пускается! По всем приметам жестокой пурге быть. Предупреждал Степана Петровича, уговаривал. Нет и нет!..

Понять его можно. Залили человеку сала под шкуру, разобидели. Мусье профессор из собственного дома вытурил, а потом и амбар отнял. Не успел на Камчатке объявиться, как сразу в коммерцию ударился, товары ему, вишь, держать негде. И вынужден Степан Петрович опять угол у Тимофея Рыжова снимать. Эх, жизнь! Никакой тебе справедливости... А тут еще и горе горькое навалилось — Кенилля...

Не иначе как злодейство это дело рук Гришки-Кешлеи. Потому и подрядился к Онуфриеву в северную поездку... А ветер усиливается!»

Уже не поземка, настоящая вьюга обрушилась на землю. Снежные вихри клубились, слепили. Мутная пелена закрыла горизонт, занавесила желтое солнце. Хорошо еще, в спину дуло, с дьявольским воем толкало вперед.

«Теперь обратного пути нет, — думал Крашенинников. — Не одолеть встречных зарядов. И вперед ехать... Вся надежда на собак. Должны дорогу найти, вывезти к жилищу. Только не останавливаться. Заметет, погребет под сугробом. Или — пусть?..»

Сделалось совсем темно, будто мглистая ночь опустилась. Пурга с каждой минутой становилась злей и опасней. Уже никто не сидел на санях, помогали упряжкам. Толкали, вытаскивали нарты, проваливаясь по колени, задыхаясь в снежной кутерьме. Всю ночь пробивались сквозь белый хаос. К утру еле живые люди и собаки достигли острожка на Утке-реке.

Пурга бесчинствовала еще двое суток.

— Господи, когда уже солнце выглянет? — вслух пожаловался Крашенинников.

— А когда ворон Вэлвимтилын расхохочется, — отозвался неунывающий Михайло Лепихин.

— Какой ворон?

— Вэлвимтилын. У коряков про него множество басен разных.

— Вот и расскажи, все не зря время потрачено будет.

— Не страдай ты об времени, Степан Петрович. Отдых никому не вредит. Отлеживайся, не совсем ведь от хвори избавился.

— Ладно, не о том разговор начали, — дружелюбно ответил Крашенинников. — Говори басню, Михайло. Коряцкая?

— Ага, однако и у других камчадалов похожие имеются. Ну вот, проглотил ворон Вэлвимтилын солнце, лежит себе, отдыхает. Как мы с вами. А пурга разыгралась, не останавливается. Ворону ничего, а другим худо. Надо что-то делать, вызволить солнце надо. Вот Эмэмкуй... Кто он, что — сказать не скажу, не знаю. А имя точно — Эмэмкуй. Посылает он, Эмэмкуй, старшую дочь к ворону Вэлвимтилыну. Позови, дескать, в гости. Съездила, ни с чем воротилась. Ворон и с лежанки не встал, слова не вымолвил. «М-м-м», — и только.

Отправил к ворону Эмэмкуй младшую дочь, красавицу Инианавыт. Села она на нарту, поехала. У входа в ярангу женщина сидит. Увидала красавицу, сразу догадалась, кто это. Кинулась к ворону: «Вставай! Сама Инианавыт к тебе пожаловала!»

А небо непроглядное, пурга еще шибче пуржит.

«М-м-м», — сонно мычит ворон...

— Это ворон-то мычит? — подозрительно спросил казак из охранения.

— Ну, не мычит, бормочет бессвязно. Рот же ему нельзя открыть, не хочет солнце выпускать. Бестолковый ты какой-то, Егор, простой басни не понимаешь! Так вот. «М-м-м», — промычал ворон, а женщина не уступает. «Вставай, Вэлвимтилын! Красавица Инианавыт здесь!» Тут ворон мигом поднялся, из яранги вышел. А как увидал распрекрасную дочь Эмэмкуя, так и захохотал от радости во все горло: «Па-га-га!» Солнце и выпорхнуло на волю. Небо сразу прояснилось, кончилась пурга. Тут и басне конец!

— Какой же конец? А с Ини... с красавицей-то что стало?

— Дотошный ты человек, Егор, все-то тебе вызнать надо, до косточки разобрать. А еще лучше, чтоб по полочкам пред тобою разложили, чтоб и мозгами шевелить не надо было. Не знаю я, чем судьба Инианавыт завершилась. Сам себе вообрази, дорисуй басню, как душе угодно! — отчитал казака Лепихин и, довольный собою, взглянул на Крашенинникова.

Он сидел опечаленный, грустный. «Дернуло же меня за язык такое рассказывать, —мысленно отругал себя Лепихин. — Конечно же, Степан Петрович опять об своем горе задумался. Спасла красавица Кенилля ему жизнь, а своею поплатилась».

— Извини-прости, Степан Петрович, — виновато произнес Лепихин.

— Что, Михайло? — не расслышал Крашенинников.

— Извини-прости, говорю. Не к месту басня получилась.

— Ничего, ничего, Михайло. Жизнь не остановишь.

Пади Оглукоминского хребта завалило снегом. Очередное землетрясение спустило с гор лавины. Еще и теперь временами слышался подземный гром, будто горы проглотили молнии, как ворон Вэлвимтилын — солнце.

Следы извержения Толбачинской горелой сопки не изгладились в Мишурином острожке. От него до самой горы, окутанной сверху донизу густым облаком дыма, все было засыпано черным пеплом. Ни пройти, ни проехать. Сутки ждали снегопада, и в Нижний Камчатский острог прибыли лишь 30 декабря, в канун нового, 1741 года.

О местонахождении оленных коряков никто в остроге не знал. Ясашные сборщики, а с ними и толмач Спиридон Перебякин, уже почти месяц не подавали о себе никаких вестей. В остроге начали беспокоиться за судьбу людей, и всекамчатский командир Колосов удержал Крашенинникова от поездки, лишь разрешил послать на Курагу толмача Лепихина с двумя охранителями. 5 января они отправились на север, а спустя восемь дней...

Страшное известие мгновенно облетело весь Нижний острог. Тревожно загудел церковный колокол.

— Измена, измена!

Предупредительный выстрел пушки поднял в небо тучу птиц.

На площади внутри острога собрались при полном вооружении казаки и охотники. Промышленных и посадских людей караул не пропустил через башенные ворота.

Взобравшись на бочку, Спиридон Перебякин, исхудавший до неузнаваемости, в изодранной кухлянке, заросший щетиной до черных глазных полукружий, сиплым, срывающимся голосом рассказывал о случившейся страшной измене.

У Пенжинского моря, на Утколоке-реке ясашные иноземцы убили сборщика-матроса да бывших при нем служивого и двух новокрещенных ительменов. Перебякина, по счастью, не было в тот час, его отправили на Тигил за перевозочными санками. Возвращаясь, уже на подъезде к стойбищу, он услыхал выстрел. Кто и зачем стрелял — не понять. На всякий случай Перебякин остановил обоз, а сам, крадучись, пробрался кустами совсем близко. То, что он увидел, привело в ужас.

— Они взоткнули матросскую голову на кол и шаманили над нею!

— А-ах! — в один голос простонала толпа.

— Не помню, как назад выбрался, братцы... — Перебякин замотал головой, закрыл шапкой лицо.

Вернувшись к обозу, он собрал всю волю, чтоб не выдать себя, и объявил, что надобность в стольких нартах отпала, можно ехать обратно, домой. А сам, едва повеселевшие каюры скрылись за поворотом, погнал упряжку на восток. Это спасло его во второй раз. На пути к ближнему, Верхне-Камчатскому, острогу непременно перехватили бы.

— Измена! Измена! — вопила толпа. Жажда мести затмила страх и растерянность.

Крашенинников наконец пробился к Перебякину.

— Спиридон, а Михайлу Лепихина не встречал? Что с ним?

— Не знаю, н-не знаю... — выкричавшись, излив переполнявшие его ужас и страдания, Перебякин уже не держался на ногах.

— Да, да-да, конечно... Что это я, господи. Река Курага на другой стороне, в Восточное море впадает. Но Лепихина надо вернуть, сейчас же.

Командир острога велел отрядить гонца с приказом о немедленном возвращении в Нижний. Ордер Лепихину написал Крашенинников.

Пришли новые известия о заговорщиках. Обоз, который отпустил Перебякин, все-таки захватили. Жестокая участь постигла и купеческую партию Игната Онуфриева.

А Лепихина все не было и не было. Крашенинников так и не дождался его. Надо было спешить обратно. Адъюнкт письменно установил предельный срок: «Быть в Большерецком остроге марта 8 дня 1741 года».

Точно в назначенное время Крашенинников доложил о своем прибытии. Почти следом примчался Лепихин, живой и здоровый. А в конце марта

пришел в Большерецк карательный отряд прапорщика Левашова и привез с собою захваченных в бою изменников. Среди них был и закованный в цепи Гришка-Кешлея.

Крашенинников собрался с духом и посетил казенку, где сидел злодей и коварный изменщик.

Гришка-Кешлея встретил студента с отрешенным видом. Он знал, что его ждет, свыкся с мыслью о скорой смерти. Казнь предстояла над телом. Душа Гришки-Кешлеи давно омертвела. Крашенинников долго и молча смотрел на него, потом спросил одними губами:

— Зачем ты убил Кениллю?

На избитом и пораненном лице камчадала не появилось ни раскаяния, ни злорадного торжества. Ровным, негромким голосом ответил:

— Убежала от меня. К тебе. Теперь — ничья.

Крашенинников задохнулся от гнева, закричал:

— А купцов почему сгубил?

— Сам не убивал. Коряки.

— Но ты же их в руки злодеев отдал!

Гришка-Кешлея чуть повел разбитой бровью и отвернулся. Больше от него не удалось ни слова вытянуть.

Подробности расправы над купцами стали известны от прапорщика Левашова.

Трагедия свершилась на Подкагырной реке. Тойон Иняла и корякский же есаул Тунтун-Хат сразу задумали убийство, но не торопились исполнить свое кровавое намерение. Притворились друзьями, каждый день приходили в гости, и не одни, с соплеменниками, прямо-таки объедали русских. Не выставить угощение — нажить лютых врагов, отделаться от бессовестных нахлебников — невозможно, не уехать из-за пурги, а она бушевала восемь дней. Небогатые запасы провианта быстро кончились. Заверения толмача Гришки-Кешлеи, что теперь хозяева будут кормить-поить русских, не оправдались. Хуже того: ни за деньги, ни в обмен еду не давали. Онуфриев с напарниками оголодали, с трудом дождались санного пути.

Хозяева опять прикинулись друзьями, вызвались провожать гостей. На первом же становище всех русских и побили. Ночью, когда на карауле был Гришка-Кешлея. Он с первого дня вступил в тайный сговор с убийцами.



31marta.ru

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

ФИНАЛ



сподволь и робко приближалась весна.

На солнечных угорах проклюнулись бледно-зеленые стрелки черемши. Жена Рыжова с детьми ушли нащипать первой травки.

Тимофей возился в амбаре, перекладывал меховые шкурки, свои, благоприобретенные, и те, увы, немногие, что достались в наследство от Игнатия Онуфриева.

«Жалко его, — рассуждал сам с собою Рыжов, — но при всем при том не лучшая участь ждала Игнатия Фомича. Иркутский купец Лямин возбудил против своего приказчика дело, уже и бумага от властей сюда пришла. Заковали бы Онуфриева в железа и как вора, ограбившего своего хозяина, препроводили в иркутскую тюрьму. А там известно, что бы сделали. Лучше уж сразу, в одночасье лечь в землю, нежели заживо на каторге гнить...

Да-а, ох ты ж! — Рыжов длинно, задумчиво выругался. — Да-а, а соболя-то сильно потрачены, в негодность обратились. Вот уж беда так беда!»

Крашенинников был один в избе, отписывался за последнюю и не очень удачную поездку. Кто ж мог подумать, что мирная тишина на Камчатке вдруг опять нарушится изменой и кровопролитием!

На душе было тоскливо. Перо неохотно выводило слова и строчки. Писать приходилось теперь много и по всякому делу, а помощника, Осипа Аргунова, целиком занял адъюнкт.

Чудаковатый он, если не сказать большее. В одном подворье, а туда-сюда бумаги идут. Из курной избы в горницу Осип почти каждодневно приносит ордера, инструкции, уведомления, возвращается из горницы в курную избу с расписками, донесениями, рапортами. И все же, грех не признать: без настырного требования Стеллера и громкого скандала, учиненного им дьяку приказной избы Шергину, не выдали бы и четь копейки жалованья. Слава богу, с прежними долгами расплатиться удалось.

Вспомнилось, к месту, что так и не выяснил, кому отдать деньги за присланные из Енисейска и переданные через капитан-командора Беринга вещи. Профессоры отправили две фанзы на рубашки да три шелковых нашейных платка. Все рублей в двадцать пять обошлось. Кому их вручить?

Крашенинников отложил в сторону рапорт и начал письмо профессорам. За этим и застал его адъюнкт.

Стеллер был как всегда без парика, в сюртуке, застегнутом невпопад, небритый, нечесаный — плевал он на свою внешность, а заодно и на все нормы приличного поведения. Зато себя в обиду не давал, всячески защищался от малейшего покушения на собственное достоинство.

Стеллер вошел внезапно и бесцеремонно. Еще не ответив на приветствие, зорко нацелил глаза на свежие чернильные строчки.

— Профессорам письмо?

— Выражаю соболезнование, что сердце не позволило господину профессору прибыть на Камчатку.

Стеллер презрительно фыркнул:

— Миллер и не собирался ехать! Я это сразу понял. Он и меня стращал, но тем именно и подстегнул мое решение. Трудности закаляют волю, угрозы воспитывают мужество, а дикие края только и могут утолить жажду научных открытий!

Голос у Стеллера был высокий, резкий, неприятный, но говорил он о близком Крашенинникову.

— Сердце, видите ли, не позволяет! У него сердце, как у быка! Миллер всех нас переживет!

Нескладная фигура адъюнкта раскачивалась, тряслась при каждом слове, точно выкрики нарушали равновесие тощего мускулистого тела на длинных ногах-ходулях.

— И будет потом расхваливать нас, до небес возносить. Дабы сильнее выпятить самого себя. Если безвестные студенты и я, адъюнкт Георг Вильгельм Стеллер, и добились похвальных результатов, то исключительно благодаря наставлениям и инструкциям профессора Миллера, которыми он снабжал нас, а мы строго и прилежно выполняли их!

Оборвал саркастические прогнозы и без всякого перехода заговорил о деле, ради чего и пришел:

— Итак, мы отправляемся в Америку. С морской экспедицией, но, хвала господу богу, на разных судах. Я — с Берингом на «Петре», де-ла-Кроер — с Чириковым на «Павле». Кстати, имена этих святых апостолов даны не только пакетботам, но и гавани в губе Авача. Завтра же я туда и выезжаю. Аргунов, художник Беркан и другие остаются здесь. Вам, согласно ордеру от десятого марта, надлежит собираться в Иркутск. Но прежде будете сопровождать в Авачу де-ла-Кроера. Он сам того пожелал.

— Хорошо, ваше благородие.

— Хорошего мало, но что поделаешь! Профессор не может без пышной свиты... Итак, главное об Иркутске, денежное жалованье, провиант, всякие инструменты — все эти вопросы четко определены в нашей совместной инструкции. Личные послания и вещи для передачи жене де-ла-Кроера он сам вручит. — Стеллер зло фыркнул: — Не знаю, однако, все ли поместится в трюме.

Лицо его вдруг стало страдальческим, обиженным. Походил молча по скрипучему полу, остановился у окна, заговорил, не оборачиваясь к собеседнику:

— Проверьте в Иркутске, сколько вычитают из моего жалованья для выдачи в Петербурге госпоже Бригите Елене Стеллер.

Крашенинников впервые узнал, что у адъюнкта есть жена.

— Что вы так смотрите на меня? Да, да-да-да, я женат. Будь она проклята, эта женитьба! Ни на копейку больше не позволю отрывать от моего жалованья! И не вздумайте отправить мои пожитки в Петербург, этой!.. — Раздернул на шее платок, прокашлялся. — Прошу и приказываю мои вещи отослать в Москву. Адрес здесь, на бумажке...

Стеллер явно жалел, что выдал свою боль и обиду. Пусть бы над ним, Георгом Вильгельмом, посмеивались где-то там, за десять тысяч верст отсюда. Здесь ни одна душа не должна знать о его несчастье и позоре.

Он познакомился с Бригитой Еленой в доме Феофана Прокоповича. Архиепископ благоволил к доктору Мессершмидту, помогал ему, симпатизировал жене доктора Бригите Елене. Красивая, жизнерадостная, она и Стеллеру очень нравилась. Такая женщина могла не только скрасить долгое путешествие, но и сделать его совсем счастливым.

В 1735-м доктор скончался, оставил красавицу одну... И Стеллер сделал глупый шаг.

Он обвенчался с молодой вдовой за месяц до отъезда в Москву и далее — в Сибирь. Но прекрасная Елена обманула его, предала. Куда лучше жить в свое полное удовольствие в столице! Стеллер метал громы и молнии, только уже было поздно, даже начать бракоразводный процесс не успел.

— Крашенинников, настоятельно прошу вас никому ничего не говорить. О моей жене. Что я женат...

Аскетичное, жесткое лицо Стеллера было в этот момент умоляющим. Но тут же вернулись к адъюнкту обычная самоуверенность и бодрость.

— Должен сказать, Крашенинников: мне нравится ваш характер! Я уже смог оценить ваши знания и самоотверженную преданность науке. Встретимся после наших путешествий — и!..

Глаза его горели неистовым пламенем. Он смеялся, тряс над головой крепкими костлявыми кулаками.

И Крашенинникову уже начинал нравиться Стеллер. И было даже немного жалко расставаться с ним, хотя и ненадолго, как им думалось, на время.

Провожать морскую экспедицию Крашенинников поехал в Гавань святых апостолов Петра и Павла.

Очень уж длинное имя придумал капитан-командор Беринг для корабельной гавани и маленького поселения рядом с нею. Куда проще, короче звучало — «Петропавловск». Так и стали называть гавань и новый, четвертый на Камчатке острог. Впрочем, приставка «острог» не прижилась и не могла прижиться, ибо никакого привычного частокола не было, да и возводить его было ни к чему. Природа сама позаботилась об ограждении.

Треугольную гавань обступали крутые склоны Никольской горы и Шестаковской сопки, от внешнего рейда и Авачинской губы отделяла, оставив узкий проход, щебеночная коса.

На косе выстроились в тесный ряд, будто шлемоносцы на лошадях, длинноногие балаганы. Служебные амбары, казармы солдат и матросов, дома для офицеров Камчатской экспедиции раскиданы были по верхнему прибережью гавани, неширокому, местами обрывистому, так что отдельные избы уже вскарабкались на скальные террасы Шестаковской сопки. Добротные, основательные строения Петропавловска, великолепные в сравнении с другими камчатскими острогами, венчала высокая и вместительная церковь с большим крестом и шаром на колокольне.

В ясном лазоревом небе золотилось апрельское солнце. Хотя на верхних ярусах Шестаковской сопки и лесных горбах Никольской горы еще лежал снег, окрест гавани зима истаяла.

В тихой, посверкивающей зеркальными зайчиками воде отдыхали и кормились стаи перелетных птиц, вернувшихся из южных стран. У каменных причалов грузились корабли, пакетботы «Святой Петр» и «Святой Павел». Подготовка к дальнему, до Америки, плаванию шла днем и ночью.

Крашенинников с завистью смотрел на двухмачтовые корабли. Скоро к трепетному крылатому звуку капитанских вымпелов прибавятся победные хлопки андреевских флагов, ветер странствий наполнит энергией движения прямые паруса.

Невысокий, сытого вида мужичок в добротном теплом кафтане, то ли учетчик, то ли смотритель, ретиво следил за погрузкой, часто покрикивал высоким бабьим голосом:

— Осторожно! Не урони! Куда покатил?! Свалишь!

Крашенинников прислушался, всмотрелся. «Никак тот самый паникер с «Фортуны»? Как же его... Желтухин. Да-да, он».

Желтухин и сам обратил внимание на постороннего, хотел было отогнать, но признал.

— Степан Петрович, господин студент! Вот встреча! Все-то слухи про вас слушал, а свидеться — никак.

— Где обретались эти годы? — спросил из вежливости Крашенинников.

— А все при складах, при хранилищах экспедиционного добра. Вот, в дальний путь корабли снаряжаю. — Он широким, горделивым жестом повел вдоль череды грузчиков и вдруг, оборвав разговор, сорвался с места: — Куда?! Осторожно, осторожненько! Загубишь!

По гибким сходням бесконечной вереницей тянулась цепочка людей с тяжестями на плечах. Несли мешки с ржаной мукой, сухарями, крупами, катили бочки с соленой олениной, пресной водой, с птичьими яйцами в рыбьем жиру. По дощатому мостику перетаскивали на корабль тюки, ящики, корзины с ядрами и пороховые бочки, обшитые шкурами.

Команды, надсадное дыхание, ругань. За шумом и гомоном не слышали печального звона кандальных цепей и монотонного призыва конвоира: «Сторонись... Сторонись...»

Грузчики неохотно подзадержались у трапа, пропустили на борт арестованного, обросшего желтой, соломенной бородой еще совсем молодого человека. То был разжалованный из лейтенантов в матросы Овцын.

Почти следом прибыл к берегу сам капитан-командор в сопровождении штурмана. Беринг проводил грустным взглядом Овцына и мягко, просительным тоном сказал штурману:

— Свен, прикажите освободить от железа Дмитрия Леонтьевича.

В лазурных скандинавских глазах Ваксeля не отразилось никаких чувств. Коротко, с юности отработанным взмахом лейтенант отдал честь и легко взбежал на корабль.

— Желаю здравствовать, ваше высокоблагородие! — с искренней радостью поздоровался Крашенинников.

Беринг приветливо подал крупную мягкую руку. Весь он был крупнотелым, рыхлым, с брюшком и двойным подбородком, нависшим над белым офицерским шарфом.

— Желаете идти в море? — угадал состояние Крашенинникова Витус Ионассенович.

— Очень!

Беринг безотрадно улыбнулся. Горячий порыв студента можно понять. В тридцать лет душа жаждет приключений. Но в шестьдесят... Капитан-командор тяжко вздохнул. Не в его, Беринга, годы пускаться в океанское плавание, а отступать нельзя. Присяга и долг превыше личного хотения. И дело чести довести до конца великое дело, начатое шестнадцать лет назад, исполнить последнюю волю Петра Великого. Плавание к Американскому континенту — заключительный акт Второй Камчатской экспедиции.

— Стало быть, очень? — серьезно переспросил Беринг.

— Очень, господин капитан-командор!

— Ну-у, — протянул, выпятив губы, Беринг, — ежели ваш патрон уступит место... Я с удовольствием возьму в свою команду вас, а не его, Стеллера. Вздорный господин. И чрезмерно высокого о себе мнения. Попытайтесь, поговорите. Мой скромный голос для господина Стеллера не указ.

Быстрым шагом вернулся лейтенант Ваксель.

— Иван Иванович, — сдержанно негодуя обратился к Берингу. Швед называл датчанина его русским именем и отчеством. — Ревизор противится приказу. Говорит, пока судно не вышло в открытое море, снимать с преступника оковы воспрещается.

Беринг побагровел, щеки затряслись, нервно запрыгало пятнышко усов.

— Кто здесь командует? Я или надсмотрщик?

В темных глазах вспыхнул гнев, но сразу и погас.

— Благодарю, Свен. Я сам ему скажу. — И капитан-командор валкой походкой старого моряка пошел к трапу.

Крашенинников смотрел вслед тучной фигуре в черном плаще, пока она не скрылась в кормовой надстройке «Святого Петра».

Стеллер был счастлив предстоящим путешествием. Отговаривать его, как советовал Беринг, и думать было немыслимо. Корабли отплывали 4 июня 1741 года. Навстречу неизвестности, смерти и бессмертию.

Крашенинников не провожал их, был в то время уже на другой стороне Камчатки, ждал выхода в Пенжинское море. Известия о печальной участи последней экспедиции Беринга он узнает не скоро...

... Туман в первый же день разъединил пакетботы «Святой Петр» и «Святой Павел». Тот и другой достигли американских берегов порознь, но в Петропавловскую гавань вернулся только «Святой Павел». С частью команды; многие умерли в пути от неимоверных лишений и трудов, погибли от цинги. Профессора Людовика Делиля де-ла-Кроера снесли на берег уже мертвым.

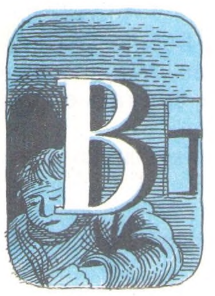
На следующий год Чириков отправился на поиски командора. Алексей Ильич весьма точно вычислил возможное место катастрофы «Святого Петра», но сплошная облачность и туман скрыли от впередсмотрящего Командорские острова. Их еще не было ни на одной географической карте, названия такого не знали.

«Святой Петр» разбился на кошке 28 ноября 1741 года. Люди не сразу поняли, что очутились на необитаемом острове, думали — это Камчатка. Но не пали духом, братски взялись за дело. Руководил ими штурман Свен Ваксель, заменив вскоре умершего Витуса Ионассеновича Беринга. Имя его дали вновь открытому острову, звание — группе островов.

Из остатков пакетбота построили парусно-весельное суденышко и, наперекор всем смертям, добрались до материковой земли. Не все. Сорок шесть из семидесяти семи.

Весть о трагической судьбе «Святого Петра» не скоро дошла до столицы. Год и еще год через всю Россию, от Балтики до Тихого океана скакали фельдъегеря с засургученными пакетами на имя капитан-командора Беринга. А он спал вечным сном на своем острове под крестом из дубового корабельного бруса.

ПРОЩАНИЕ



Возвратившись в Большерецк, Крашенинников тотчас начал собираться в дорогу. Первым делом надлежало рассчитаться с казенным имуществом. И не потому, что поездка в Иркутск могла затянуться на неопределенное время. Специальным ордером адъюнкт Стеллер приказал передать под роспись все книги, инструменты и материалы. От перочинных ножичков до сыромятных сум из-под муки, доставленных в минувшем году.

За четыре года работы многое извелось, пришло в негодность, но кое-что и прибавилось.

— Получил в Якутске дюжину карандашей, а ныне в два раза больше! — удивился Крашенинников.

Аргунов составлял реестр, проворчал:

— На себя покупали, оттого и лишние.

— Ладно, не брюзжи, Осип. Что есть, то и пиши. С книгами вот расставаться жалко. — Он огладил каждый томик, задержал в руках «Историю Александра Великого» Квинта Курция.

Жизнь и деяния македонского царя-полководца увлекли Степана Петровича. В мае, прикованный к постели, болезнь терзала его десять дней, начал переводить книгу с латыни на русский. Крашенинников находил много общего между Александром и Петром. Оба с юных лет стали государственными мужами, глубоко образованные и просвещенные для своего времени люди. Великие, гениальные во всем: в доброте и суровости, терпении и необузданном гневе...

— Степа, — сказал виновато Горланов, — я бы оставил тебе Курциуса, но ты же знаешь, какой он, Стеллер.

— Да, конечно. — Крашенинников с сожалением отложил книгу. — Что у нас далее, Осип?

— Напарья. — Аргунов толкнул ногой большой бурав с коловоротом; инструмент откатился на середину комнаты.

— Не балуй, Осип. Пиши: «Два напарья, принятые мною от морской команды. Два заступа. Два топора. Двадцать пар сыромятных шкур». Записал? «Один фунт пятнадцать золотников свинцу. Тринадцать...»

Крашенинников поперхнулся, схватился за грудь. Затрясся от глубинного кашля. Аргунов кинулся к полке с лекарствами, отлил из зеленого штофа травяной декот в маленькую пиалу и, спеша, споткнулся о напарью.

Японская посудинка вылетела из рук, с глухим звоном откатилась к двери.

Аргунов испуганно вытаращил глаза. Внутри у него все похолодело. Степан Петрович дороже всего ценил эту вещицу, память о Кенилле. Только из безручковой чашечки микстуру пил...

«Дай!» — нетерпеливым жестом потребовал Крашенинников. Кашель не давал ему говорить.

Слава богу, что пиала ударилась сперва об кожаную суму. Аргунов быстро осмотрел посудинку и облегченно вздохнул:

— Цела-а...

Крашенинников дрожащей рукой взял пиалу и прижал ее, как талисман, к груди.

— Извините, Степан Петрович...

— Экий ты косорукий, Осип, — через время сказал Крашенинников. Кашель отстал от него, словно пиала Кенилли и впрямь обладала чудодейственной силой. А лицо было влажным, и на впалых щеках горели пятна нехорошего румянца.

Потом, когда Аргунов и Горланов ушли с вещами, он придвинул светильник и обнаружил на ободке пиалы закругленный скол.

Наступил час укладывать и свои пожитки. Крашенинников отказывался от помощи, но его и слушать не стали.

— Лежи, Степушка, набирайся сил на дорогу.

— Извини-прости, Степан Петрович. — Лепихин предупреждающе выставил ладонь. — Без тебя управимся.

— Да я и сам...

— Сам, сам, все сам! — напустился вдруг Аргунов. Крашенинников впервые видел его таким за все четыре года. — Все, что сами наробили, другие отняли, не постыдились чужие труды себе в пользу взять!

— Ты что, Осип?

— Верно говорит, — вмешался Горланов. — Профессор ни клочка

своих записок не отдал Фишеру. Снабдил инструкцией — и с богом, собственным горбом науку добывай!

— Ладно вам душу травить, — хмуро произнес Крашенинников.

Вскоре Горланов ушел в приказную избу выправлять дорожные документы. Лепихину надо было выяснить, как обстоит дело с батами для плавания к морю. Аргунов нарочно задержался.

— Ваше благородие, Степан Петрович, господин и товарищ мой всемилостивейший, — заговорил неожиданно со слезами в голосе. — Возьмите меня с собою! Христом богом молю. Душою и телом служить буду!

— Осип, дорогой мой Осип, — растроганно и печально сказал Крашенинников. — Разве у меня сомнения есть насчет тебя? Хотел, пытался и без твоей просьбы. Отказал Стеллер. Быть может, и уговорил бы, да профессор своего солдата, Зеленцова, нарядил. А более одного человека брать отсюда не дозволено. Ничего, Осип. — Он притянул к себе пищика. — Ничего, вернусь, придумаем что-нибудь, опять вместе трудиться будем.

Аргунов расплакался, точно дитя.

— Не вернетесь, нет... Я знаю... Никогда нам не встретиться, никогда!

Согласно приказу капитан-командора галиот «Охоцк» должен был выйти в море 1 июня, но выход откладывался из-за неблагоприятного ветра день ото дня. Провожающие один за другим возвращались в Большерецк. Последним уехал из Чекавки Лепихин.

— Извини-прости, Степан Петрович, по Насте своей соскучился...

Из поездки в северные края Михайло вернулся с молодой женой, ительменской девушкой из Чаапынганского острожка. Той самой Нингул, которой восхищался на Лунном празднике: «Ну и деваха! Ну ягодка!» Теперь ее звали по-христиански Анастасией.

— Сына, казака обещает принести. Ученого человека из него сделаю, чтоб, как ты, студентом стал. А что! В Большерецке теперь по велению Беринга школа открывается, казачьих и камчадальских детей обучать будут.

— Знаю, Михайло. Все знаю. Езжай, будьте счастливы! А мне так и не очень отсюда хочется...

— Ну да? — недоверчиво протянул Лепихин.

— Правду говорю.

Ему и в самом деле грустно становилось от предстоящей разлуки с Камчаткой. Выход в море затянулся. Коротая дни, Крашенинников бродил по окрестностям Чекавки, впервые просто так, для собственного удовольствия любовался морем, землей, небом. И — удивительно — будто вновь постигал величественную и несравненную красоту природы. Все сильнее влюблялся в неспокойное, изменчивое, грохочущее пенными валами прибоя Пенжинское море, в радужное многоцветье долины, в широкий простор речной воды с кипенью лососевых косяков и глазастыми шарами нерпичих голов, в синие, лиловые, фиолетовые вершины холмов и гор, даже в хмурое небо с редким и скупым прояснением.

Камчатка. Сколько он вынес на ней лишений, опасностей, сколько вложил труда в изучение и научное описание этой земли. Сколько отдал ей сил и здоровья. Но не будь этих трудных годов, разве открыл бы он для себя и людей новый, сказочный мир? Камчатка, быть может, главное, что выпало на его жизнь, его тяжкий и счастливый жребий. И здесь вошла в его сердце Кенилля...

Июня 12 дня в 2 часа пополудни галиот «Охоцк» поднял паруса и вышел в море. Дул попутный юго-восточный ветер. Низкая облачность быстро закрыла горизонт, но Крашенинников долго не уходил с палубы.

Все две недели плавания погода не баловала людей. Дождило, сильные ветры сменялись штилем. Но 25 июня день был ясным, солнечным, и в Охотск пришли под всеми парусами. Сигнальная пушка у казачьей караульной сторожки известила жителей о прибытии с Камчатки галиота.

Крашенинников задержался в Охотском порту всего на пять дней. И снова в путь. На лошадях, по рекам, санными трактами. Якутск, Витимск, Устькутский острог, Верхнеленск.

6 ноября он уже был в губернском городе Иркутске.

*ИЗ ПИСЬМА МИЛЛЕРУ
ОТ 13 НОЯБРЯ 1741 ГОДА*

Благородной и почтенной господин профессор.

Милостивейший государь мой.

О пути моем и возвращении с Камчатки... в моем репорте пространно донесено, а здесь объявляю вашему благородию, что я, будучи в Якуцке, женился, взяв за себя родную племянницу жены маеора и якуцкого воеводы господина Павлуцкого, а дочь тобольского дворянина Ивана Цибульского, именем Степаниду.

...Милостивый государь, не оставьте меня в забвении и сотворите со мною милость во всем, что в мою пользу быть за благо рассудите.

*ИЗ РАПОРТА ГМЕЛИНУ И МИЛЛЕРУ
ОТ 15 ФЕВРАЛЯ 1742 ГОДА*

Благородным господам профессорам Академии наук.

Репорт

Прошедшего генваря 10 дня 1742 году получил я от вашего благородия ордер, по силе которого велено мне о всем, что от господина профессора де-ла-Кроера и адъюнкта Штеллера приказано, предлагать канцелярии и требовать, чтоб конечно о удовольствовании их ее императорского величества жалованьем исполнение учинено было по прежним указам, а мне б ехать немедленно к вашему благородию со всеми при мне находящимися обсервациями и собранными натуральными и прочими вещами...

И хотя я имею крайнее радение вскоре быть при вашем благородии, однакож с немалою жалостию принужден прежде съездить в Якуцк, понеже остались там за моею печатью казенных вещей немалое число...

В октябре Крашенинников с молодой женой прибыли в Верхотурье, там студент и встретился наконец со своими профессорами.

— Мой бог, пять лет не виделись! — ахал Гмелин. Большие, навыкате глаза с припухлыми веками, мягкий женственный рот, даже нос «уточкой» выражали неподдельную радость.

— Пять лет, три месяца и пять дней, — педантично уточнил Миллер. — Мы отправили студента Крашенинникова из Якутска пятого августа тридцать седьмого года.

— Одного, мой бог, одного!

Миллер выразительно глянул на Гмелина.

— Не одного, а вдвоем, с пищиком... м-м, как его?

— Аргунов, Осип Аргунов, — подсказал Крашенинников.

— Да, с ним, однако сие не имеет значения. Едва ли не все испытания, милая Степанида Ивановна, — теперь Миллер обращался уже к жене Крашенинникова, — все, что должно было отправить на Камчатке, достались одному только вашему супругу.

— И он с честью вышел победителем! Молодчина, ах какой ты молодчина, Степан! — опять к неудовольствию Миллера восхитился Гмелин.

Но тут вошла в горницу пухленькая симпатичная голубоглазая женщина, и всеобщее внимание перешло на нее, госпожу Миллер.

Профессор вступил в брак здесь, в Верхотурье. Вдова немецкого хирурга ухаживала за постояльцем-профессором, когда тот захворал.

— О, если бы не мой добрый ангел, — представляя супругу, сказал Миллер, — болезнь доконала бы меня.

Цветущий вид его никак не вязался с обликом человека, страдающего сердечным недугом. Возвращаясь из гостей, Степанида призналась мужу:

— Знаешь, Степушка, профессор твой не похож на болящего.

— Внешность бывает обманчива, — неопределенно произнес в ответ Крашенинников.

Жена отстранила его, бойко уперлась руками в крутые бедра, вскинула кверху розовое личико с большими карими глазами и задорным, вздернутым носиком.

— Это и я для тебя обманка?

— Да что ты, Стешенька! Счастье мое! — Он схватил ее в обнимку, поцеловал в смеющиеся губы.

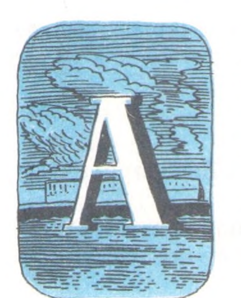
— Степа, Степ... — засмущалась она. — Люди вокруг...

— А-а, струсила, — он расхохотался, — а говорила: «Никого не боюсь!»

— Правда, что не боюсь. С тобою — хоть на край света, Степушка.

— Так мы оттуда и едем! Теперь в столице жить будем. — И опять кинулся целовать.

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ



кадемическая свита приехала в Северную Пальмиру, как высокопарно называли новую российскую столицу, в морозный февральский вечер 1743 года. Десять лет Крашенинников был в дальней экспедиции, не узнал город.

Зимний дворец на набережной Невы, перестроенный при Анне Иоанновне, переделывался теперь все тем же архитектором Расстрелли, но уже на вкус Елизаветы Петровны. Трижды сменились за это время венценосцы на русском престоле.

Новая царица обожала музыку и всяческие развлечения. На Стрелке Васильевского острова постоянно высился помост для праздничных представлений. Там же находился и рынок, где торговали и заморскими товарами. Их подвозили из близких портовых складов Галерной гавани. На мачтах кораблей развевались все флаги Европы.

Крашенинников пошел из академии домой не сразу. Приближалась масленица, надо было загодя купить вкусного к блинам на веселую неделю. Стеша должна была скоро родить, в ее положении боязно толкаться на шумном торжище, да и лучше, дешевле не в самый канун праздника на рынок идти. «Сам, Степушка, знаешь, какие цены объявят, втридорога драть станут. Не зря говорят: масленица объедуха, деньгам приберуха».

С деньгами было не густо, начальство не торопилось с выплатой жалованья.

Рыночная площадь с помостом «Театриума» ограничивалась с двух сторон речными берегами, а с двух других — плотной шеренгой длиннющего здания Двенадцати коллегий и «Америкой», торговыми сараями на отмели оконечности Стрелки.

Шум, крик, теснота. «Нет-нет, нельзя сюда Стеше ходить», — подумал Крашенинников, и тут его кто-то большой, могучий двинул плечом, с ног едва не сбил.

«Экий невежа!» — беззлобно отметил Крашенинников. Не вступать же в перебранку. В такой толпе и давке чего не случится.

— Не сердись, ради бога! — прозвучало скорее весело, нежели виновато.

— Ладно уж... — Крашенинников и глаз не поднял.

— Погоди спину показывать. Не признаешь?

Перед Крашенинниковым стоял, улыбаясь, рослый, богатырски широкий в плечах человек. Шуба нараспашку, шапка сдвинута назад вместе с париком, высокий лоб открыт до ранней лысины, голубые глаза на полном лице сияют.

— Михайло!

— Он самый, Михайло Ломоносов. Я-то тебя сразу высмотрел.

Друзья крепко обнялись, посыпались вопросы. Вдруг совсем близко громыхнул пушечный выстрел. По условному знаку академической обсерватории Петропавловская крепость возвестила о наступлении полдня. Ломоносов поспешно вытащил серебряную луковицу, отщелкнул крышку и сверил стрелки часов с пушечным сигналом.

— Двенадцать, в точности! Разумно придумал астроном Делиль, доброе новшество ввел. Вот против таких истинных ученых ничего не скажу худого. Колени преклоню перед Эйлером, да не только пред ним. Но какое ж засилье ложных академиков! Э, да что это мы на плацу раскричались? Айда в астерию! Там и квас ядреный, и пиво голландское — все имеется. Вот так встреча! Вернулся, стало быть, с Камчатки? А я год-полтора как из Германии приехал. Учился в Марбурге, Фрейберге, по Голландии странствовал. Как же хорошо, что мы опять вместе!

— Михайло, дорогой! Не раз, не два вспоминал я тебя на Камчатке. Жалел, что рядом нет. Как бы нам вместе работалось!

— А мы и здесь совместно потрудимся! И... — Ломоносов повернулся лицом к зданию академии, погрозил кулаком. — И подеремся! Ух, как руки чешутся! Тебя ведь тоже бог силушкой не обделил. Помню, как ты в Москве грузчиком подрабатывал. Да мы ж и познакомились в торговом дворе. Зимою, в тридцать первом!

В Спасских школах, как в обиходе называли Славяно-греко-латинскую академию, обучение и содержание учеников производилось на казенный

кошт. В нижних и средних классах ученики получали по три копейки на день, в старших — четыре. Крутись на тридцать — сорок алтын в месяц: ешь, пей, одевайся, обувайся, снабжай себя бумагой и карандашами. На дневное пропитание оставалось не больше двух денежек, а что купишь за одну копейку? Хлеб да квас, и то на раз. Потому и подрабатывали где и как могли.

Дрова кололи, подметали дворы, таскали воду из колодцев, нанимались грузчиками, пасли гусей на прудах и речках, составляли за неграмотных письма — никакой работой не гнушались.

Дополнительная трудовая полушка, четь копейки — целое состояние, пирожок с требухой...

Многие, увлекшись приработками, запускали учение. Степан Крашенинников дорожил временем для наук, ходил на ближайшее торжище ранним утром, чуть свет, чтоб вернуться к началу занятий.

Заиконоспасский монастырь, где помещалась школа, стоял на Никольской улице, в Китай-городе, огороженном каменной стеной с бойницами. Там и происходила главная торговля, преимущественно — оптовая. С разных концов России прибывали в Китай-город обозы со всяческим товаром. Местные московские купцы чохом скупали рыбу и мясо, живую птицу и меха, поделки кузнецов и горшечников, северные разные шкатулки с резьбой и южные фрукты, чтобы потом, с наваром, распродать в розницу. Тут-то и требовались сильные плечи и руки для перегрузок и выгрузок.

Однажды, уже семиклассником, в начале нового, 1731 года Степан, как обычно, затемно еще пришел на торговую площадь. Самые расторопные и ушлые приказчики старались обделать свои дела, пока не настал день и приезжие из дремучих далей не разобрались в московских ценах, не узнали что почем.

Тускло светили фонари с конопляными горелками, новшество, приуроченное в прошлом году к приезду в Москву для коронации Анны Иоанновны. В сухом морозном воздухе громко всхрапывали заиндевевшие кони, крахмально поскрипывал снег под ногами ночных сторожей.

Степан сразу пошел к месту, отведенному для рыбных товаров. Уже вблизи больших саней-розвальней услышал горький сдавленный плач. Степан обошел нагруженные мороженой треской сани и увидел человека в нагольном тулупе. Больше никого рядом не было.

— Ты что? — спросил участливо Степан. — Беда случилась?

Человек всхлипнул в последний раз и неприязненно буркнул:

— Сами обойдемся. Иди куда шел.

— Да ты не ершись, — мирно сказал Степан. — Москва задиристых не любит и слезам не верит. Издалека прибыл?

Человек в тулупе неохотно ответил:

— Архангельские мы, с Куростровова на Двине.

— Большой путь проделал, — с уважением произнес Крашенинников.

Помор шмыгнул носом, сдержанно подтвердил:

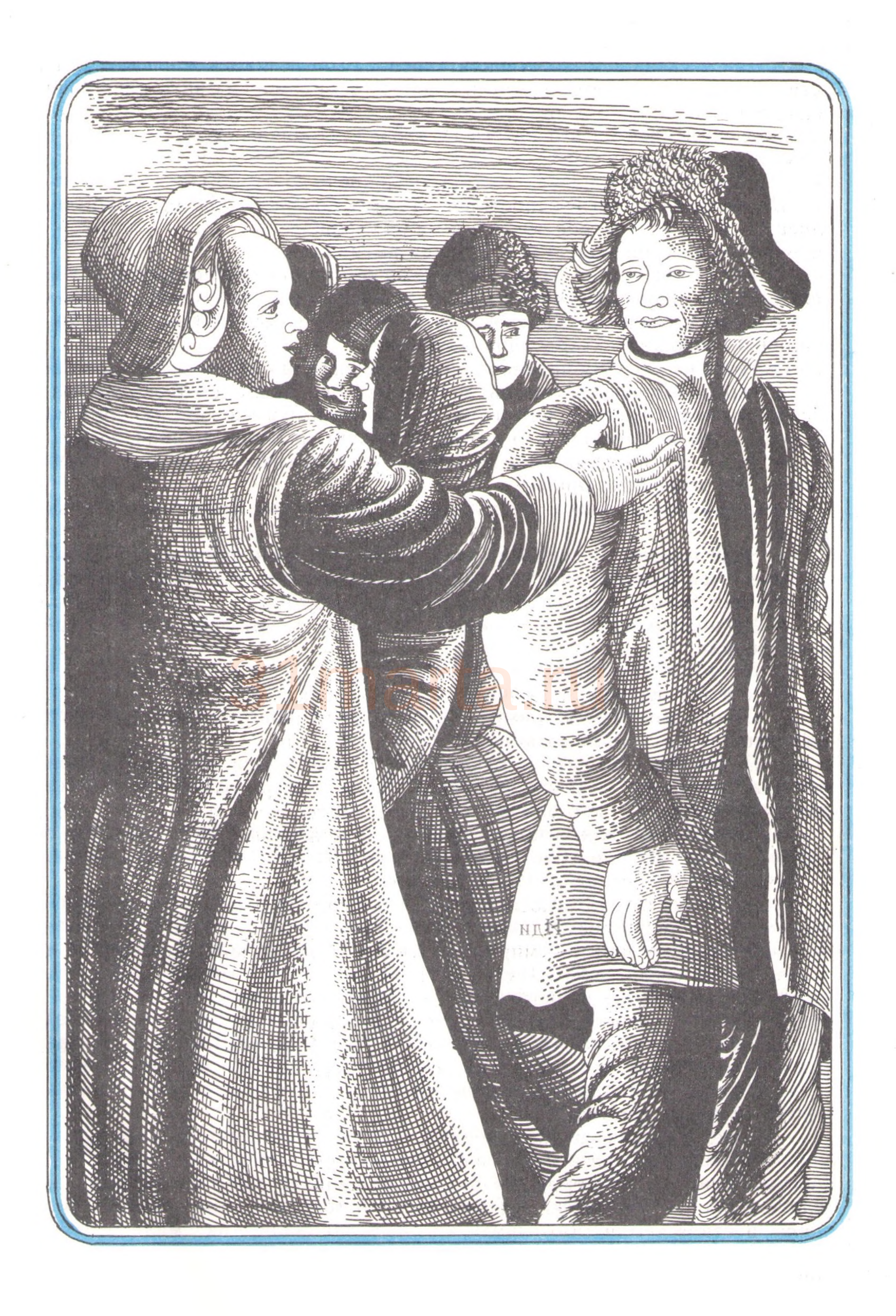
— Не малый.

Разговор не налаживался, но почему-то не хотелось уходить.

— Послали тебя или сам вызвался?

— Тебе зачем знать? — не поддался северянин.

— А мне про все интересно. В книге «Земноводного круга краткое описание» о ваших краях очень бедно написано. Что-де к северу есть мерзлое море, а какая земля там, знать не можно.



— Так и сказано? — оживился парень. Был он широк в плечах, круглолиц и слегка курнос. — Это про наше-то Беломорье знать ничего не можно?

Крашенинников на это ничего не сказал, вторично спросил:

— Так что случилось?

— Ничего не случилось, — открылся парень. — Прибыли вчера в темень, приказчик и другие озаботились о своем ночлеге, а про меня забыли. Проснулся на мороженой треске, ну и затосковал.

— Какая же нужда тебя в Москву выгнала?

— А это пока секрет. Только не нужда торговая или от бедности. Отец мой знатный промышленник на Двине, да и сам я с малолетства, «зуйком» еще приучен рыбачить и морского зверя бить. Мы, Ломоносовы, всему Беломорью известны! — горделиво закончил.

Теперь уже он, Ломоносов, оценивающе оглядел незнакомца. Заячий треух с выскублинами, короткий, не по росту уже, зипун длиннополого нескладного полукафтанья, шитого из грубого бурого сукна. Не нищий и на вора не похож. Впрочем, кто знает, какие тут, в Белокаменной, люди...

— А ты что потемну промеж обозов шатаешься? — Спросил напрямик: — На чужое заришься?

Крашенинников молча шагнул прочь. Ломоносов придержал его за рукав.

— Экий гордец! Сразу спину показываешь. Пойми, впервые я в Москве, ничего не рассмотрел еще, не видел, а у нас говорят, что тут сброда полно, обведут вокруг пальца, а то и разбоем обчистят.

— Не знаю, меня ни разу не обворовывали, — отчужденно сказал Крашенинников.

— Да чем с тебя поживиться можно!

Не хорошо прозвучало, обидно.

— Омниа мэа мэкум порто, — с вызовом и достоинством произнес Крашенинников и опять намерился уйти.

— Да ты никак на латыни изъяснился? — с почтительным изумлением спросил Ломоносов. — И что сие значит? Ну не сердись, ради бога! «Омниа мэа мэкум порто» — что значит, как понимать?

— Отменная у тебя память, с одного раза выучил. «Все свое ношу с собою», то есть истинное богатство человека в его внутреннем содержании.

Михайло горячо пожал Степану руку.

— Ох, верно как! Вот и я отцу доказывал: «Учиться хочу, познать законы земли и неба, совершенствовать себя в разных искусствах!» А он: «Разве я против? Ничего на учение твое не жалел. Грамоту знаешь, на счетах и в уме любые числа складываешь. Никуда от себя не отпущу. Прокляну, ежели против моей воли поступишь!» — Он открыто и весело посмеялся. — Меня и женить пытались! А я ото всех увернулся, как колобок, да и покатил на своих двоих и попутках в Москву! А ты откуда латынь знаешь? Мне она вот как нужна, без нее же ни одной ученой книжки не прочитаешь!

— Это так, — подтвердил Крашенинников. — Не зная латинского, ни в какую науку не проникнуть.

— И учитель мой, дьячок, твердил: «Для приобретения большего знания и учености требуется знать язык латинский, а сему можно научиться в Москве, Киеве или Петербурге». Я и сбежал тайком в Москву! Ночью. — Опять вдруг пригорюнился. — Пробудился. А вокруг непроглядная темень, мороз, пустынно. Тоска нахлынула, аж слезы закапали. Как у мальца. Тебе

сколько годов? Да мы однолетки! И мне двадцатый пошел. — Спросил ревниво: — Где в учении был?

— Учусь еще, в Спасской школе.

— А отец твой кто? — Ломоносов насторожился. Голос, выражение ясных глаз и округлого лица — все в нем играло живостью и готовностью к немедленным переменам.

— Солдат. Петра Великого солдат, — со скромной гордостью сказал Крашенинников.

Ломоносов отступил на шаг.

— И в Спасских школах учишься? Врешь ты все! По недавнему указу всех крестьянских и солдатских детей от учения отрешили. Про это и в Холмогорах известно. Или тебе лишь неведомо?

— Ведомо, а вот учусь. Потому как уже в средний класс перешел, когда Синод указ тот издал. Из младших, верно, всех изгнали. Ты что приуныл, Михайло? Твой же отец человек богатый и знатный.

Ломоносов тяжко вздохнул:

— Богат, знатен во всем Беломорье, токмо звание у него крестьянское. В паспорте моем тоже сословие указано... А я не покажу его! Дворянина, скажу, холмогорского сын, а?

Крашенинников не успел ответить. Увлекшись разговором, не заметили, что рассвело и появились люди.

— Кто тут холмогорский?

Михайло вздрогнул от неожиданности и медленно-медленно обернулся.

— Ты холмогорский? — повторил свой вопрос городского вида человек. — Здравствуй, земляк. Я — Пятухин Василий Леонтьевич, а ты чей будешь?

— Михайло Василия сын Ломоносов, — с достоинством ответил парень.

— Василья Дорофеевича?! Как же не знать! — радостно-почтительно заговорил Пятухин. — Вот так встреча! Давай прямо ко мне, отведу угол для жилья, столицу покажу, с женой моей, с дочкой познакомлю.

Крашенинников молча, кивком попрощался. Помощь его уже была не нужна.

— Свидимся еще! — крикнул вдогонку Михайло.

Они увиделись две недели спустя. Упрямый помор уже побывал в Сухаревой башне, но в Цифирной школе, по его словам, «науки показалось мало», и он подал прошение в Спасские школы.

— И как? — осторожно спросил Крашенинников.

— Приняли, Степан! — Шепнул на ухо: — Паспорт, разумеется, я «посеял», сказал, что выкрали его у меня. — И засмеялся, счастливый и довольный.

Встречались не часто. Ломоносов яростно овладевал науками, наверстывал упущенные годы. Упорство и недюжинные способности делали чудеса: уже через полгода перевели его во второй класс, еще через столько — в третий. Когда Крашенинников уезжал в Петербург, Ломоносов с блеском заканчивал «синтаксиму», четвертый класс.

Правда, незадолго до этого Ломоносов и сам чуть не попрощался со Спасскими школами. Не будь в то время в Москве архиепископа Феофана Прокоповича, выгнали бы Михайлу.

Архиепископ, выдающийся ученый, всеевропейской известности личность, достиг вершины могущества при царе Петре, но не забывал соб-

ственного бедного, нищенского прошлого. Он-то и взял под защиту крестьянского сына, который поразил всех успехами в науках, но самочинно назвал себя дворянином.

«Не бойся ничего, — с глазу на глаз сказал архиепископ Ломоносову, — хотя со звоном в большой московский соборный колокол стали тебя публиковать самозванцем — я твой защитник!»

Прокопович был в то время уже не в прежней силе, но его еще боялись. Один вид внушал страх и уважение. Седая раздвоенная борода, высоченный лоб, брови вразлет, взгляд человека острейшего ума и всесокрушающей воли, голос владыки и проповедника.

— А где он ныне, что с ним? — спросил Крашенинников. Они сидели в трактире для простолюдинов, беседовали, прикладывались к глиняным кружкам с колючим квасом.

— Нету уже моего спасителя, Степан. Осьмой год, как почил в бозе, царство ему небесное. — Ломоносов вздохнул, но не перекрестился. — Так где ты устроился? Совсем рядышком живем, оказывается! Мне отвели две комнаты в Боновском доме, где и Сигезбек с бесчисленным семейством своим обретается.

— Какой Сигезбек? — Крашенинников не слышал этого имени.

— А который академическим огородом ведает. Амман-то, зять Шумахера, помер. Вместо него и поставили Сигезбека. Его без ходатайства лейб-медика царицы и близко к академии не подпустили бы! Единственно чем прославился, так глупой попыткой ниспровергнуть учение Линнея.

— Карла Линнея весь ученый мир признал.

— Ученый! Сигезбек такой же ученый, как я лютеранин, хотя на немке женат. Я ведь еще в Марбурге женился, токмо скрывал это по всяким причинам. Нашумел в одном германском городишке, ну и переждал, пока та история заглохнет.

— А верно, что Шумахер под караулом домашним сидит? — спросил Крашенинников.

— Давно! Следственная комиссия дело его разбирает. Большие новшества скоро грянут! — Ломоносов с такой силой потряс кулаками, что в сюртуке звякнула медь. — Слыхал, как брякнуло? Пять рублей из книжной лавки выдали. В счет прошлогоднего жалованья милостиво пожаловали. — Вдруг засмеялся: — Хорошо, не сегодня прошение подал, а то и полушки не дали бы!

— Почему же?

— А меня сегодня из Конференции исключили, — беззаботно объяснил Ломоносов. — Оскорбил-де просвещенных иноземцев русской богоматерью. — Он опять засмеялся: — Надо бы еще на латыни их покрыть! Что скис, закручинился, Степан? Мы свое еще возьмем! И будет, будет у меня химическая лаборатория! По первому разу отказано, во второй, третий раз требовать буду! Пойдешь ко мне?

— Я в химии не знаток, Михайло.

— Так станешь им! Как говорил нам в Москве, на торжестве академии, незабвенный архиепископ Феофан? «Прямым учением просвещенный человек никогда сытости не имеет в познании своем...

— ... но не перестанет никогда учиться, хотя он Мафусаилов век пережил!» — закончил Крашенинников.

— Вот! А нам с тобою по тридцать два, далеко до библейского старца!

...Морозное февральское солнце уже зависло над гаванью, запуталось, как рыбина, в корабельных снастях. Друзья шли, обнявшись, по набережной.

— «Эх-да, батюшка пошел да, венок...» — Голос Ломоносова сорвался, дрогнул: — Батюшка-то мой помер, Степан, помер... — И опять запел: — «Эх-да, горе то горе мое да, гореваньице!...» Не поется. Ты о чем задумался?

— Стеша заждалась, тревожится. Ей это вредно сейчас.

— Да-а, скоро и моя Лизавета прибудет, деньги уже на дорогу выслал. Как-никак, а я все ж — господин адъюнкт. Степа! Клянусь: я и тебя в академию приведу! Веришь?

— Верю, Михайло, — не стал огорчать друга Крашенинников.

— Нет, Степан, ты верь! И-эх, какие дивные дела творить будем! Мы еще всему свету покажем себя. Восстани и ходи, Россия! Отряси сомнения и страхи, восстани и ходи, возвышайся!

ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ...



рошло двенадцать лет. Многое случилось за эти годы, многое произошло и изменилось в жизни самого Степана Петровича Крашенинникова.

Еще в сентябре 1743 года был издан декрет с повелением императрицы о прекращении научно-исследовательских мероприятий Второй Камчатской экспедиции.

Миллер засел за сибирскую историю, Гмелин целиком отдался работе над книгой о флоре Сибири, а студента Крашенинникова назначили помощником к Сигезбеку в ботанический сад на Аптекарском острове. Невежественного и скандального Сигезбека в конце концов все-таки отрешили от академии и поставили на его место адъюнкта Крашенинникова. Производство его в адъюнкты было объявлено в том же указе, что и Ломоносова — в профессора.

Летом 1749 года в академии прошло чрезвычайное собрание. Рассматривалась диссертация Миллера «О начале и происхождении имени российского народа». Секретарем был Крашенинников. Он и Ломоносов резко и справедливо выступили против утверждения о том, что русский народ и русское государство основали скандинавы.

Диссертацию отвергли. Миллер пришел в бешенство, стучал палкой по столу, бесчестил оппонентов, оскорбил Крашенинникова: «Он был у меня под батожьем!» Теплова обозвал клеветником и лжецом.

Это Теплова, да еще в присутствии президента Академии наук графа Разумовского! Адъюнкт и асессор академической канцелярии Григорий Николаевич Теплов в годы учения графа за границей был его любезным ментором. Кирилл Григорьевич Разумовский не очень утруждал себя делами академии, целиком полагаясь на Теплова и Шумахера, который сумел выпутаться из скандальной истории и опять обрел власть.

Тут-то Миллеру и припомнили все. И что на Камчатку не поехал, «претворя болезнь», и что Гмелина уговорил уехать из России, и, ясное дело, злополучную диссертацию. Миллера на несколько месяцев разжаловали в адъюнкты и освободили от ректорства над академическим университетом и гимназией при ней.

Высокие, почетные и хлопотные должности эти перешли к Крашенинникову. Он уже был профессором «по кафедре истории натуральной и ботанике». В Указе от 11 апреля 1750 года говорилось: «... понеже адъюнкт Степан Крашенинников, служа при Академии честно и беспорочно, чрез долгое время отправлял все положенные на него должности со всякою верностью и радением и был в путешествии камчатском один из российских ученых людей, которое отправил с немалым успехом к пользе императорской Академии наук и к чести своей».

Над камчатскими материалами трудиться было некогда. И донимала болезнь легких.

Мечта написать книгу о Камчатке все же не могла и не оставляла Степана Петровича. Десять лет жизни, двадцать семь тысяч пятьсот километров опасных и трудных дорог, важные для современников и бесценные для грядущих поколений научные сведения и личные свидетельства о Камчатке не должны были пропасть. Только никого это не волновало, пока в Германии не вышли записки Гмелина о путешествии по Сибири, а во Франции — карта астронома Делиля по результатам секретной экспедиции Беринга.

Грянувший в Европе гром заставил перекреститься академическое начальство в России. Книгу о Камчатке поручили написать, и «как наискорее», профессору Степану Крашенинникову.

Сложные, насыщенные были эти двенадцать лет...

Зима 1755 года выдалась суровой. Крутые морозы не ослабевали до конца февраля, но холодные ночи укорачивались, а дни прибавлялись. В полдневные часы заледенелые следы от санных полозьев подтаивали, увлажнялись, будто и в самом деле, в полном согласии с народной поговоркой, Власий проливал маслица на дороги.

Крашенинников лежал в своем тесном кабинете. Изжелта-бледное лицо на высоких подушках, как осенний лист на снежном сугробе.

Из передней донесся дребезжащий звук бронзового колокольчика.. Частый, нетерпеливый. «Михайло», — догадался Крашенинников.

Сюртук на Ломоносове как всегда распахнут, парик на затылке.

— Слыхал новость? Миллер доношение на меня графу подал! За вчерашнеее. Я отрешен от профессорских собраний, осужден!

— Не в первый раз...

— И не в последний! А все равно не отступимся, брат. Исправлять надо академию. Вся учебная работа развалена, ничего не делается для подготовки русских ученых. В последние семь лет ни един школьник в достойные студенты не доучился! Это ж факт, и ничего они против сказать не сумели, потому и схватились за некие мои слова, потому и сбежали с заседания конференции Теплов и Шумахер, видел, как они спелись с Миллером!

— Миллер до сих пор не простил меня, — сказал Крашенинников и жестко, непримиримо добавил: — Но и я ничего не забыл.

— И не забывай, Степан, хотя дело это и давнее уже.

Ломоносов опять воспламенился:

— Запомнится им вчерашнее заседание! Хорошо ты, Степа, речь держал, достойно! Спасибо, поддержал меня, хворый, а пришел все-таки. Нет, мы свое возьмем! Недаром вчера, февраля двадцать третьего, был прохоров день. Как в народе говорят: «До Прохора старуха охала: «Ох, студено!» Пришел Прохор да Влас: «Никак скоро весна у нас». Грянет, скоро грянет и на нашей академической улице весна!

Крашенинников хотел ответить, но жестокий кашель затряс его исхудавшее тело.

— Прости, друг, — смешался Ломоносов. — Уморил. И вчера не след было тащить тебя в академию...

Вбежала Степанида, торопливо налила в маленькую японскую пиалу лекарство.

— Выпей, родной.

Он выпил, закрыл в изнеможении глаза. Лицо, руки, все тело покрылось липкой испариной. Ломоносов хотел уйти, Крашенинников удержал его жестом.

За неплотно прикрытой дверью беззаботно щебетали голоса девочек. Потом жалобно заплакал девятимесячный Васенька.

Жена вопросительно посмотрела на больного мужа.

— Иди, Стеша... — тихо произнес он. Слабая улыбка высветила ямочки на запавших щеках. — Сын зовет, требует.

Они остались вдвоем, Степан и Михайло.

— Привезти тебе лекаря?

— Не надо. Уже не надо... Просьба у меня, Михайло...

— Что угодно сделаю!

— О малом хочу просить... — Крашенинников показал глазами на фаянсовую чашечку с синими листьями и птицей. — С собою взять хочу...

— Ты что, Степ, о чем думаешь? — Ломоносов попытался придать словам и голосу дружеское недоумение, с каким обычно разговаривают со смертельно больным, пытаясь подбодрить, успокоить, но никакое притворство не удавалось Михайле Васильевичу.

— Исполню твою волю. — И отошел к окну, загородился широкой спиной. Спросил погодя: — Что еще могу? Как с описанием Камчатки?

— Сегодня приносили последний лист из типографии... Все сделал, а книгу... Книгу не увижу. И предисловие, видно, не успею дописать... Голова ясная, рука не слушается...

— Ты отдохни, отдохни. Я пойду, не буду мешать.

— Да... Спать хочется...

Ломоносов вышел из дома и тут же, припав к заиндевелой кирпичной стене, разрыдался.

А Крашенинников и вправду уснул. И привиделась ему камчатская весна с неистовым солнцем. Загорелые, как индейцы, люди ходят в берестяных наглазниках, и он в такой же березовой маске, но белизна и сверкание снега несносны, жар и через узенькие щели проникает в глаза и в грудь, сжигает тело.

«Жарковато, господин студент?» — мстительно, издевательски спросил дьяк Шергин. И объявился каким-то образом на Камчатке монах-учитель.

Жидкая бороденка, засаленный колпак на запутанных, давно не мытых патлах. «Не лез бы в тайны тайные господа нашего, не совался бы!»

От мучителей и нестерпимого жара не было спасения. Крашенинников вспомнил о глубоком колодце в монастырском дворе. Там глубоко, прохладно и звездочка светит...

Он проснулся среди ночи. Было темно и тихо. На синих окнах искрились морозные узоры. В одном месте стекло вытаяло, и лунный свет проник в кабинет, заиграл в золотом тиснении книжных корешков. Крашенинников с удовлетворением подумал, что правильно сделал, включив в опись своей библиотеки только сто пятьдесят два тома, преимущественно написанных латинским языком. Русские книги, в их числе и свой перевод «Истории Александра Великого», останутся в семье, детям.

«В крайних обстоятельствах и продать можно... Господи, не оставь без твоей милости и сострадания детей. Шестеро их, один другого меньше... Бедные дети мои, бедная моя Стешенька. Токмо жизнь стала налаживаться. Первые два года в Петербурге находились в такой нищете, что дневного пропитания почти не имели, а надо было еще лечиться. Медикаменты из аптеки в долг не отпускают...»

Оконные стекла сделались бледно-сиреневыми. Близился рассвет.

В памяти отчетливо всплыла картина утренней зари в Петропавловске. Он еще потемну поднялся на каменистую вершину Шестаковской пади, откуда видны были и вулканы, окружавшие Авачинскую губу, и сама губа с бухтами и мысами, и узкая полоса Восточного моря до горизонта. Оттуда, из-за горизонта, выплавлялся оранжевый солнечный диск. Медленно, величаво сперва, затем все быстрее, победительно разгоняя черную бархатную темень, зажигая пурпуром ледяные вершины вулканов, разливая вокруг тепло и золотой цвет.

Такая чистая заря случалась не каждый день. Но тогда Крашенинникову повезло. Выслушав его рассказ, Стеллер возмутился, что не был поставлен в известность заранее: «Я и сам бы поднялся на гору. Настоящий ученый все должен видеть собственными глазами!» Оправдываясь, Крашенинников сказал: «Еще насмотритесь, господин адъюнкт, в открытом море».

Георг Вильгельм Стеллер мужественно перенес все испытания, ни на день не прерывал научные занятия. Он сделал важные и удивительные открытия и дал бы науке еще больше, но умер при неясных обстоятельствах в Тюмени 12 октября 1746 года. Рукописное наследие адъюнкта доставил в Петербург Алексей Горланов.

Слава богу, не пропали его труды. Крашенинников привел их в порядок, частично, в малой доле, даже использовал в своей книге «Описание земли Камчатки». Со ссылками, конечно, по совести, не как покойный адъюнкт. Тот лишь в одном месте и мимоходом помянул безымянно «двух студентов».

Какое счастье, что удалось рассказать людям о Камчатке! Книга завершена, завершен главный труд всей жизни. И сама жизнь. Конец пути...

На замерзших окнах появились золотые звездочки. Необыкновенно блестящие, как глаза Кенилли...

Осторожно пробуя голос, затенькала синичка.

Крашенинников вздрогнул, потянулся на хрустальные звуки, хотел подняться, но лишь выгнулся всем телом; грудь расширилась от глубокого

вдоха, и тяжелый плотный воздух заполнил ее до предела. Степан Петрович судорожно схватился за горло, пытаясь освободиться, позвать на помощь жену.

А синичка за окном распелась вовсю:

— Студенталь, студенталь!

Наконец удалось избавиться от удушья. Он выдохнул в последний раз:

— И-и-ду-у...

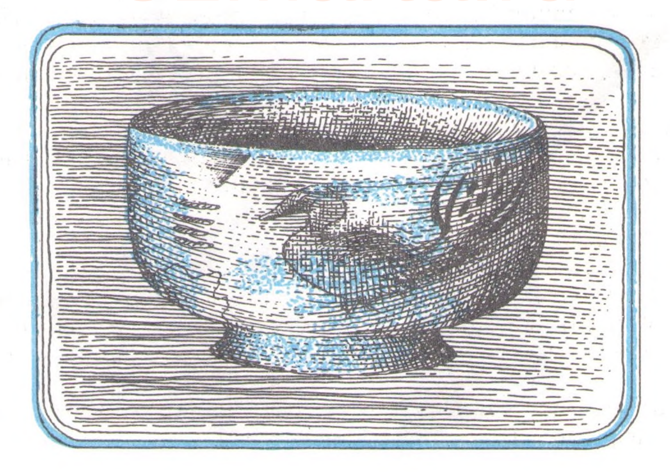
Степан Петрович Крашенинников умер в седьмом часу утра 25 февраля 1755 года.

Он лежал в гробу, одетый в форменный сюртук зеленого сукна с бронзовыми пуговицами. Пуговицы были не из дорогого цельного металла, а деревянные, с накладками. На многих бронза совсем стерлась.

Руки, сложенные на груди, держали бедняцкий бронзовый крестик.

В головах, справа, незаметно стояла маленькая фаянсовая пиала. Белая, с кобальтовым рисунком: листья и птица, похожая на морянку.

«О-а-алулы-ы, о-а-а-алулею!»





ДОПОЛНЕНИЕ И ПОСЛЕСЛОВИЕ АВТОРА

Он был из числа тех, кои ни знатною природою ни фортуны благодеянием не предпочтены, но сами собою, своими качествами и службою, произошли в люди, кои ничего не заимствуют от своих предков и сами достойны называться начальниками своего благополучия.

Г.-Ф. МИЛЛЕР

Из предисловия к книге С. П. Крашенинникова «Описание Земли Камчатки». Спб., 1756 г.

Когда-то, еще на Камчатке, Стеллер сказал Крашенинникову: «Миллер всех нас переживет!» Мрачное пророчество адъюнкта оправдалось.

Георг Вильгельм Стеллер скончался в тридцать семь лет.

Иоганн Георг Гмелин сочинил знаменитое трехтомное описание «Флора Сибири» и не менее знаменитое, но скандальное «Reise durch Sibirien» («Путешествие по Сибири» не перевели на русский). Материалы для четвертого и пятого томов фундаментального труда по ботанике передала в Академию вдова Гмелина. Он умер в родном Тюбингене в возрасте сорока шести лет.

Степан Петрович Крашенинников прожил сорок три года три месяца и двадцать пять дней. (31.10.1711 — 25.02.1755).

Его похоронили на Василеостровском кладбище, у церкви Благовещения, тихо и скромно. Степанида Ивановна Крашенинникова вынуждена была просить вспомоществование, оставшись с «шестью малолетними сиротами... в таком состоянии, что и тело его (мужа) погрести нечем».

Вдове выдали годовое жалованье и сто рублей на похороны. В постановлении об этом указали: «...а за то, что ей вдове будет годовое жалованье, отобрать у ней в Академию после оного мужа его собственные книги и манускрипты и хранить в конференц-архиве».

Кладбище, где предали земле бренное тело ученого, закрыли еще в шестидесятые годы тогдашнего, восемнадцатого века. Очень уж топко, сыро там, сколько ни подсыпай... Место погребения затерялось на два столетия.

В октябре 1963 года на территории бывшей Благовещенской церкви прокладывали траншею. Ковш экскаватора выгребал производственный мусор, утопшую давным-давно булыжную вымостку, подстилку из битого кирпича и щебня, всякий хлам и песок.

Вдруг стальные зубья ткнулись в обломанную еще в давнее время каменную плиту. Сохранилась лишь часть надгробной надписи:

НА СЕМ МЕСТЕ ПОГРЕБЕН
АКАДЕМИИ НАУК ПРОФЕССОР
СТЕПАН ПЕТРОВ СЫН КРАШЕНИННИКОВ
КОТОРЫЙ... ПОКАЗАВ...

Работу остановили, вызвали ученых-специалистов.

Кроме скорбных останков в истлевшем деревянном гробу нашли куски ткани зеленого цвета, пуговицы, бронзовый крестик, а в головах, справа, — фаянсовую пиалу восточного или азиатского происхождения. Белую, с синим рисунком.

Раскоп вел научный сотрудник Музея этнографии А. Д. Грач. В свидетельствовании принял участие заведующий лаборатории пластической антропологической реконструкции Института этнографии Академии наук СССР доктор исторических наук и скульптор М. М. Ге-

расимов. Он определил рост (177—178 см) давно ушедшего из жизни Степана Петровича Крашенинникова, что был он сильным, тренированным человеком, отметил «на черепе... некоторые образования (пластиночки на лобной кости)», связанные «с заболеванием... туберкулезом», дал предварительный словесный портрет: «Нос был массивный, горбатый... Небольшой, энергично очерченный... рот красивого рисунка с чуть заметным выступанием вперед нижней губы. В общем, лицо было высокое, с сильными, энергичными чертами».

Бюст, «документальный портрет» С. П. Крашенинникова ученый-скульптор не успел закончить. Дело завершили под руководством ученицы и преемницы Герасимова кандидата биологических наук Г. В. Лебединской. Она и подарила автору этой книги фотографию, которая публикуется впервые и помещена на предыдущей странице.

Герард Фридрих Миллер, претерпев взлеты и падения, позор разжалования и славу историографа, умер в Москве в почтенном, семидесятивосьмилетнем возрасте.

В своей пространной биографии «Описание моих служб» он самодовольно подчеркнул в одном из пятидесяти девяти параграфов: *«Описание Камчатки господина Крашенинникова одолжен свет единственно моим и покойного доктора Гмелина наставлениям и предписаниям. При издании сей книги в 1755 г. недоставало у ней предисловия и потребных для изъяснения ландкарт. Предисловие сочинено мною, а ландкарты приказал я заимствовать из генеральной карты о Сибири»*.

В общем, первым научным и всесторонним исследованием Камчатки и классического труда о ней мир обязан не Крашенинникову, а господам профессорам.

Предисловие Миллера задержало выпуск книги. «Описание земли Камчатки» увидело свет во второй половине 1756 года. Мир сразу оценил работу Крашенинникова. Ее перевели на английский, немецкий, французский и голландский языки. В Германии и Франции книга издавалась дважды. Не раз выходила она потом и в России: в 1789 и в 1818—1819 годах. В начале прошлого века ее выпустили в двух томах, под номерами 1 и 2 в серии «Полное собрание ученых путешествий по России».

В числе первых из двенадцати наиболее достойных представителей Академии наук XVIII столетия, вслед за Эйлером и Ломоносовым, был назван Крашенинников.

«Описание земли Камчатки» изучал и конспектировал перед роковой дуэлью Пушкин. Горький включил ее в курс истории русской литературы для школы рабочих на Капри. Яркая и документально точная книга Крашенинникова была настольной у многих путешественников и ученых, исследовавших Камчатку. Была она и в каюте великого мореплавателя Джеймса Кука в его третьей экспедиции.

В 1847 году журнал «Современник» начал печатать роман «Три страны света» Николая Некрасова и Н. Станицкой (А. Я. Панаевой, гражданской жены Н. А. Некрасова). Источником, основой подробных описаний быта жителей Камчатки, чукчей, алеутов, охоты на морского зверя в Беринговом море была книга «Описание земли Камчатки».

Книга С. П. Крашенинникова и поныне лучшая и наиболее полная об удивительном полуострове. В работе Т. М. Диковой «Археология Южной Камчатки в связи с проблемой расселения айнов», изданной в 1933 году, автор с благодарностью пишет: «Все имеющиеся историко-археологические и этнографические исследования по Южной Камчатке в основном опираются на фундаментальный труд С. П. Крашенинникова... Несмотря на то что С. П. Крашенинниковым не велись археологические работы, его вполне можно назвать пионером изучения тех народов, о которых ныне мы можем узнать только по археологическим памятникам».

Это касается не только Лопатки. Всего Камчатского полуострова, многих районов Сибири.

Именем выдающегося ученого и путешественника, одного из первых русских академиков, названы на Камчатке и близ нее вулкан, остров, бухта, мыс. Есть «мыс Крашенинникова» и на Новой Земле, есть «квасцы Крашенинникова», растение «*Krascheninnikowia*».

Не оборвался на Степане Петровиче и его род. Потомки ученого внесли свою лепту в науку России, пошли по его стопам.

Федор Николаевич Крашенинников был учеником Тимирязева, физиологом и анатомом растений, профессором Московского государственного университета; Ипполит Михайлович Крашенинников — ботаником, географом, заведующим сектором Ботанического института Академии наук СССР; профессор и писатель Николай Александрович Крашенинников посвятил себя Башкирскому краю. Н. А. Крашенинникову установлен памятник в Уфе.

Степану Петровичу Крашенинникову не возвели монументов. Ни бронзовых, ни гранитных, ни чугунных, ни мраморных — никаких. Могилу и ту затеряли на столетия, случайно обнаружили. И понадобилось еще двадцать пять лет для перезахоронения. Бренные останки предали земле в Некрополе XVIII века Александро-Невской Лавры.

ПОЯСНИТЕЛЬНЫЙ СЛОВАРИК

Аманат — заложник.

Батоги — толстые прутья для телесных наказаний.

Бот — одномачтовое плоскодонное судно.

Дети боярские (сын боярский) — низший разряд служилых людей.
Дьяк — письмоводитель, правитель канцелярии.

Заказчик — помощник приказчика, ведал острогом и сбором ясака. Их называли и приказчиками, в обиходе.

Капрал — сержант.
Клеть — неотапливаемая изба.
Крашенина — лощеный холст, обычно синего цвета.

Ордер — письменный приказ.

Пакетбот — пассажирское судно средних размеров.
Подьячий — приказный служитель, писец.
Приказчик — должностное лицо, управляющий (всей Камчаткой).
Промемория — письменные обращения между равными по рангу.

Сара́на — лилейное растение.
Си́вуч — вид ушастых тюленей.
Сладкая трава — растение, подобное борщевику.

Толмач — переводчик.
Тоншичь — болотная трава, подобна осоке.
Торбаза — обувь из нерпичьей шкуры или камусов — шкурок с оленьих ног.

Фузея — огнестрельное оружие, ружье.
Юкагиры — народ, живущий на северо-востоке Азии.
Юкола — вяленая рыба.

Шикша — ягода вороника.

Япанча (епанча) — широкий долгополый плащ.

НЕКОТОРЫЕ ИЗМЕНИВШИЕСЯ ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ НАЗВАНИЯ

Большерецк — Усть-Большерецк.
Верхний Камчатский Острог — Мильково.
Кихчик — Соболево.
Мишурин острожек — Кирганик.
Нижний Камчатский острог — Усть-Камчатск.
Паратун острожек — Паратунка.
Петропавловская гавань — Петропавловск-Камчатский

ОГЛАВЛЕНИЕ

ДЛЯ СРЕДНЕГО И СТАРШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

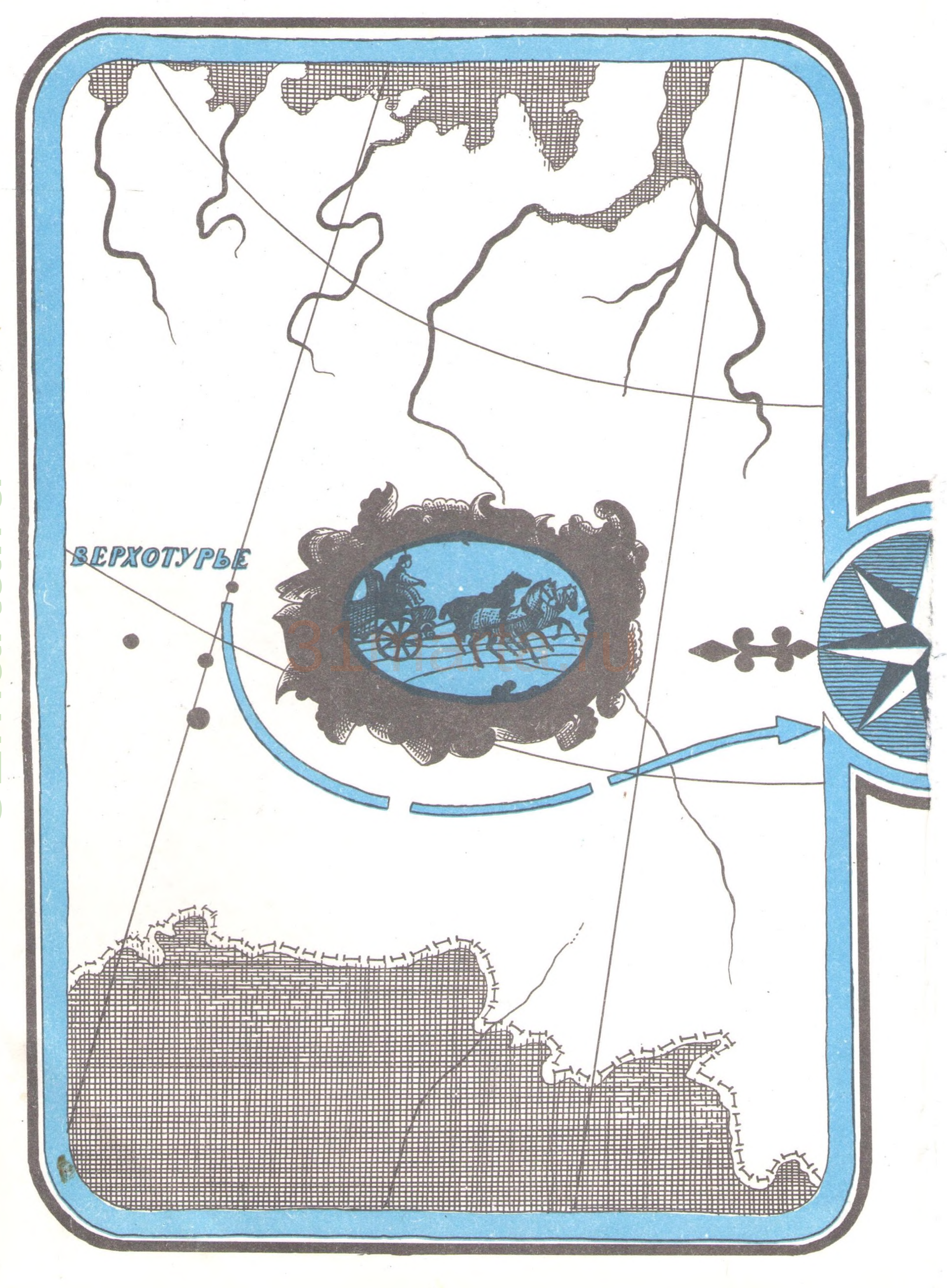
Миксон Илья Львович

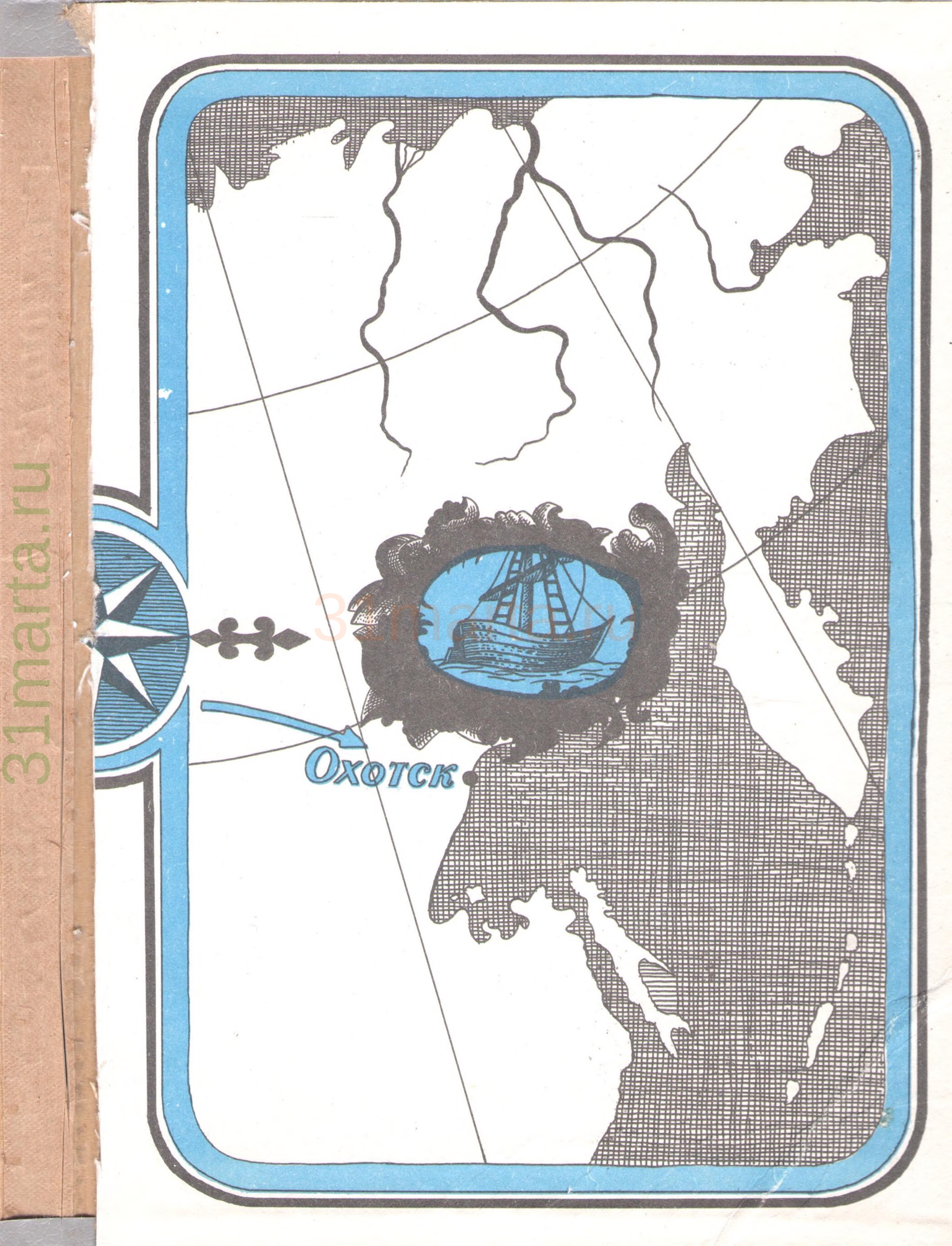
ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ...

Ответственный редактор О. В. Кустова.
Художественный редактор В. П. Дроздов.
Технические редакторы О. Е. Иванова и Т. С. Тихомирова.
Корректор Н. Н. Жукова.

ИБ 10622 Литературно-художественное издание

Сдано в набор 11.06.87. Подписано к печати 04.10.88. М-25690. Формат $70\times100^1/_{16}$. Бумага офсетная № 1. Шрифт литературный. Печать офсетная. Усл. печ. л. 16,9. Усл. кр.-отт. 34,45. Уч.-изд. л. 17,0. Тираж 100 000 экз. Заказ № 236. Цена 1 р. 10 к. Ленинградское отделение ордена Трудового Красного Знамени и Дружбы народов издательства «Детская литература» Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 191187, Ленинград, наб. Кутузова, 6. Фабрика «Детская книга» № 2 Росглавполиграфпрома Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 193036, Ленинград, 2-я Советская, 7.


ВЕРХОТУРЬЕ


Охотск

1 р. 10 к.



ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»